

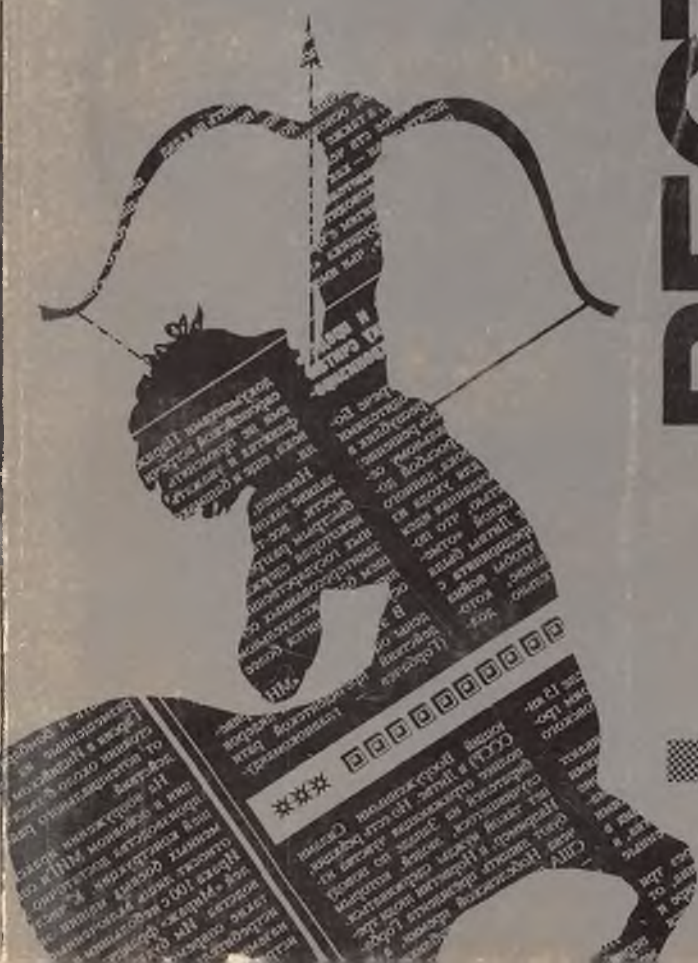
Вест

НОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ВЕСТ НИК

7

ISSN 0868-4936



ВЕСТНИК НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

№ 7



Ассоциация
«Новая литература»
Санкт-Петербург, 1994

Редакция журнала «Вестник новой литературы» выражает признательность Международному фонду «Культурная инициатива» (Санкт-Петербург) за выделение гранта, позволившего выпустить этот номер.

«Вестник новой литературы» – независимый литературный журнал.
Выходит с 1990 года.

Учредитель издания – Ассоциация «Новая литература».

Регистрационное свидетельство № 1346.

Адрес редакции: 198005, Санкт-Петербург, а/я 237, «АНЛ»;

тел. редакции: (812) 110 47 25, факс 110 47 23.

Михаил Берг – главный редактор

Михаил Шейнкер – зам. главного редактора

Татьяна Березина – ответственный секретарь

Редакционная коллегия:

Виктор Ерофеев

Виктор Кривулин

Евгений Попов

Дмитрий Пригов

Александр Сидоров

Елена Шварц

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Зигмунд ХАНСЕЛК
Ивор СЕВЕРИН

МОМЕМУРЫ*

(Перевод и примечания Михаила Берга)

Москва и москвичи

*«Москва!.. Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось».*

А. С. Пушкин

Я приехал в Москву** спустя целую жизнь и был изумлен произошедшими здесь переменами. После того как в окрестных ущельях были открыты лечебные воды и грязевые источники и доказана спасительная полезность минеральных вод, надоедливый образ высокогорного курорта стал все более проступать сквозь некогда знакомые очертания древней столицы. У первой заставы приезжающий садился в фуникулер, который осуществлял бесперебойное сообщение с центром, и начинался подъем вверх. Земля отрывалась от ног, как лист в отрывном блокноте, скрипели блоки, прогибалась канатная дорога — внизу расстилался вид на долины, красные маковые и маисовые поля, плантации лимонов и хлопка, дебри виноградника; на живописном треугольнике лощины, прорезанном журчащим арыком, возделывала свой сад чета трудолюбивых горцев; вон женщина в чадре несет на голове глиняный кувшин; усталый ослик, привязанный к ореховому дереву, дремлет в фиолетовой кружевной тени; иногда из гнезда, скрытого в роении пятен изумрудной зелени с коричневой подпалиной кустов, среди утесов и круч, с треском и хрустом крыльев срывается и

* Продолжение, начало в №№ 5 и 6

** Готовя эту главу, мы опять прибегли к помощи профессора Зильберштейна, который, дабы привить своему тексту черты правдоподобия и стилистического разнообразия, характерные для Ральфа Олборна, обработал не только записки будущего лауреата, но также попавшие в поле притяжения исследуемой темы родственные ей по смыслу заметки очевидцев, письма, воспоминания и другие документы (прим. И.С. и З.Х.)

плавно парил над пропастью гордый орел, становясь на время единственным спутником медленнодвигающегося в фуникулере приезжего.

Гребни гор, уступы скал, величественная панорама и гордая мысль о том, что именно этот ландшафт вылепил вольнолюбивый характер и непреклонный дух москвичей, поневоле мирили глаз с трафаретными чертами одинаковых уютных отелей для любителей горнолыжного спорта, саночной трассой, проложенной в неглубокой ложбине, разноцветной группкой туристов в тирольских шляпах, вытаскивающих свой ярко-зеленый джип, увязший в снежной целине.

Вот отвесная пропасть, замирает дух, пальцы поневоле судорожно вцепляются в поручни сидения, угрожающе поскрипывают пристяжные ремни, фуникулер плывет, как птица; можно закрыть глаза и представить, как внизу оголенным кинжалом поблескивает горная речка с холодной кастальской влагой; приветливый мальчуган в драной феске, запрокинув голову, машет руками, а затем возвращается к своему утомительному труду: пытается сдвинуть с места упрямого ишака, барабана сверкающими желтыми пятками по его потертым бокам; и незаметно пейзаж переходит в бескрайнюю пустыню, песчаные барханы, контуры мечетей и минаретов проступают сквозь жемчужную дымку горизонта, живописный караван верблюдов медленно ползет по необозримому простарнству желто-золотого песка, от его жара — пыльность и открытость нрава здешних обитателей, простодушная бесхитростность и радушие, характерное для этих детей природы.

Не только простой люд здесь доброжелателен и гостеприимен, хлебосольны и интеллигентные москвичи. Их жизнь (описанная мной в статье, опубликованной в журнале «National Geographic», по заданию которого я и приехал в Москву) принципиально отличается как от колониальной, так и от питерской (я приехал в Москву проездом из Петербурга) большей устойчивостью и основательностью, любовью к природе, живописностью своих приусадебных участков и очаровательностью женщин. Жены москвичей округлы и мудры (среднестатистическая петербургская жена писателя, как я успел заметить, — худая, даже костлявая и нервная особа), приветливы и милы; семьи отличаются крепостью, нравы более здоровые, интимная жизнь более упорядочена и не так хаотична, как в бывшей северной столице; дом — моя крепость, эта древняя русская поговорка завоевала сердца многих москвичей.

Прав незабвенный Фаз Кадер, говоря, что брезгливость — единственный источник цивилизации. Что делать, но достоинства действительно продолжение наших недостатков, и не будь русский человек так брезглив, как бы удалось ему за столь короткое время воссоздать вокруг себя аккуратный, пряничный и добропорядочный мир своих предков.

Действительно, московские интеллигентные дома богаты, уютны, полны комфортабельных вещей, еда регулярна и обильна, квартиры просторны (это особенно бросалось в глаза после колониальных трущоб и питерских коммунальных нор), распорядок дня расписан по минутам. Сложность сообщения и расстояния, разбросанность по разным ущельям, долинам, холмам и горам, заставляет даже представителей богемы жить своим семейным кругом, встречаясь изредка, по праздникам или уикэндам, специально для этого выезжая в центр. Да и богемы, в настоящем смысле этого слова, в Москве нет. Самые оппозиционные художники и поэты, как я убедился, вполне респектабельные люди, ходят в должность, обладают положением, это уважаемые граждане, которые всему знают свое место. Москвичам почти незнакомо слово *samizdat*, которым мне прожужжали уши за неделю пребывания в Питере, здесь нет подпольных журналов, и все более или менее заслуживающее внимания тут же получает типографское воплощение и общественный резонанс. Если питерская богема — это как бы одна большая деревня, где каждый знает каждого в лицо, то московская культурная жизнь состоит из непересекающихся кругов, которым в достаточной степени нет дела друг до друга, а влияние и известность в своем кругу отнюдь не гарантирует известности в другом. Поскольку нонконформисты здесь не вытеснены на обочину социальной жизни (традиционные петербургские работы подпольных литераторов и художников — сторож и кочегар), они более тесно связаны с официальным искусством и его представителями, и куда меньше, чем их колониальные собратья, отличаются от него по языку и нравам. Отчасти это объясняется теми привилегиями, которыми обладает каждая столица, а кроме того, как сказал Дрейк Беннигсен: “чем ближе к солнцу, тем не только теплее, но и яснее”. Официальные журналы и издательства здесь обладают куда большей, чем в провинции, свободой, и для начинающих авторов не так очевидна пропасть между официальной и неофициальной литературой, и они не торопятся встать на сторону оппозиции.

Различие, многообразие и борьба за влияние разных кругов обеспечивает их противоборство, создающее неожиданные конъюнктуры, — доброжелатели того или иного круга (что опять же было вызвано недеклассированностью оппозиционных писателей) могли занимать достаточно высокое положение в официальной иерархии и споспешествовать своему кругу.

На круги была разбита не только нонконформистская среда, но и артисты, обласканные властями. Этим можно было пользоваться. Сношения с границей были также облегчены. Альпийские горнолыжники увозили под пухлыми свитерами объемистые рукописи; договоры,

заключенные на свежем воздухе, скреплялись здоровым московским морозцем. Издать книгу за “бугром”, то есть за отделяющим Москву от Европы горным хребтом, было легче, чем — по непереводимому московскому выражению — “*passat na dva palza*”. Власти к московским нонконформистам относились весьма снисходительно. Не до того. Они спешно заделывали брешь в “бугре”, тайно прорубленную аль пистами-диссидентами, ибо сквозь нее, воспользовавшись суматохой и замешательством, успело пробраться большое число контрабандистов-скалолазов, в основном космополитов, которые явно незаконным способом увозили с собой принадлежащие государству золотые головы, голосовые связки, сердце и другие органы, ухитряясь проглатывать их, пропускать через носоглотку или другим путем засовывать внутрь. Это был валютный товар и государственная проблема, по сравнению с которой богема была полевыми цветочками, что обильно росли по долинам и по взгорьям, конечно, не очень крутым, но живописным.

В Петербурге из-за неудачного географического местоположения на болоте и равнине не было такого громоотвода, каким для Москвы являлись скалолазы, альпинисты и контрабандисты, что отвлекали на себя внимание, создавая живительную тень, под сенью которой быстро разросся оазис оппозиционной культуры. Здесь был чистый горный воздух, люди дышали полной грудью, были доброжелательны и не так эгоцентричны, как в проклятой Богом Северной Венеции. При общении москвичи излучали истинно московскую теплоту, как бы отдавая то, что они получали, находясь куда ближе к солнцу.

Это согревающее сердце тепло я ощутил во время самого первого своего чтения в Москве, устроенного в модном салоне одного московского писателя, жена которого была знаменитой московской актрисой одного популярного некогда, а теперь несколько потускневшего театра. Опять, по сути дела, невозможный ни для колонии, ни для Петербурга альянс сурового и непреклонного неофициального писателя и изнеженной, купающейся в волнах официальной славы актрисы. Пока я читал в просторной, со вкусом обставленной гостиной со множеством интересных вещей и фотографий, развешенных на стенах (портреты запрещенных и полузапрещенных писателей, опальных поэтов и бардов, уютные семейные снимки в овальных и круглых рамках орехового дерева; конечно, самая изысканная библиотека, трудно представляемая даже в мыслях для живущего в колонии простого смертного), — она, эта актриса, спала за плотно, как коленки молодой девицы, сведенными дверями своей спальни, и мне с ней так и не удалось познакомиться. Я всегда очень точно ощущал ту акустику, которую обретало то, что я говорил или читал; восприятие собеседника было для меня раковиной,

которую я подносил к уху, тут же понимая, какой именно футляр приготовлен для моих слов (что, кстати, не раз спасало меня от необходимости метать бисер и говорить в пустоту). Не знаю, в какой мере это простое свойство присуще другим, но тот же г-н Прайхоф, самый длинный разговор с которым начался однажды возле его мастерской, когда мы усаживались на фуникулер, а затем продолжался во время длинного пути по канатной дороге и закончился ужином у него дома, утверждал, что никогда не слышит, как воспринимаются его слова, ибо совершенный в этом отношении глухарь; для меня же молчание обладало самым красноречивым языком — его анаграммы я разгадывал вслепую.

Должен признаться, что начал я читать с небольшим раздражением против моих слушателей. Меня попросили прочесть что-нибудь небольшой, только возникшей группе патриотически настроенных писателей, о которых незадолго до отъезда я услышал по западному радио, как о самых ярых сторонниках воссоздания великой России от моря и до моря. Месяц назад они выпустили в свет свой альманах, где были статьи и о нашей колонии, и по московскому обычаю устроили пресс-конференцию для иностранных журналистов. Когда меня приглашали, я представлял себе обширное собрание, свет и цвет московского интеллигентного общества (подобно тому, как за неделю до этого произошло в Петербурге), но, придя в назначенный час, нашел всего несколько скучающих субъектов, совершенно мне незнакомых и неясных по внешнему облику. Отказаться было неудобно, и я решил прочесть сорокастраничное эссе, составленное из отдельных отрывков, полагая, что, только почую неудачу, начну безбожно сокращать и отделаюсь стремительным блицем. Первые страниц пять я прочел в гнетущем недоуменном молчании, которое недвусмысленно намекало, что, либо я разучился расшифровывать простейшие коды чужих впечатлений, либо этим московским олухам не нравится то, что я читаю. Я уже собрался было безжалостными ножницами внутреннего цензора кромсать свой текст, чтобы поскорее выползти наружу, как неожиданно в пространстве начались какие-то перестановки, отрокировались белые и черные, что-то побежало налево, что-то наперерез, тыл перестроился, фланги стремительно поменялись местами, а затем набухшее пространство приподнесло мне драгоценный приз в виде первого вздоха облегчения или тихого смешка. А еще через три страницы надо мной наконец замкнулся чуткий купол цельного восприятия: каждый оборот, который я интонировал уже по свойски, воспринимался именно так, как воспринимал бы я сам, будь я на месте моих слушателей, только усиливался, точно изображение в выпуклом зеркале. Любое слово

мягко облекалось соответствующим ему эхом, словно одевалось белой юбочкой дыхания при разговоре на морозе. Песочные часы ситуации перевернулись. Прекрасное ощущение воли, трудно с чем-либо сравнимой свободой: я был именно таким, каков есть на самом деле, и ощущал чудесный напор, заставлявший существовать в мощном напряжении, которое соседствовало с блаженным, разлитым по душе покоем.

Умение слушать — тонкое, благородное искусство, как считает Дик Тимотти, присущее только истинным аристократам. А по словам Сэма Селигера, у этого искусства женственные черты, «ибо оно сродни той самозабвенной самоотдаче, когда душа превращается в чувствительную пленку, чутко и тактично резонирующую в такт». В Петербурге, насколько я смог убедиться во время нескольких устроенных для меня чтений (интерес к колониальным делам был огромный), публика, как, впрочем, и у нас, на острове, не умела и не любила слушать. Эхо, даже если оно получалось громоздким, все равно было корявым и неровным, ибо каждый слушатель ощущал косточку в душе, не мог даже на секунду отделаться от своего закомплексованного “я”, как бы боясь распахнуться, открыться (так на холоде здесь застегиваются на все пуговицы, укутывая шею шарфом). Думаю, немалую роль играли и климатические условия: строгая суровость климата, сырость плохо высушенных болот, повышенная влажность, морские соленые ветра, постоянный страх наводнений и цунами, которым с неуместным черным юмором давались женские имена, наконец, унылая плоскость пространства, окутанная туманом, приводили к привычке охранять себя, сдерживать свои проявления, не распахиваться каждому встречному и поперечному из-за страха потерять свое лицо или ударить им в грязь. Розовощекие москвичи, привыкшие, напротив, к чистому горному воздуху и здоровому образу жизни, были настолько довольны и уверены в себе, что не боялись быть открытыми и щедрыми, свободно предоставляли свою душу для доброжелательных восприятий постороннего голоса, без страха вносили свою лепту в постройку архитектурно-строительного пространства, способного создавать неискажающее эхо.

Потом я читал в Москве много раз и для самой разношерстной публики и всегда, несмотря на разницу интеллектуальных физиономий каждого собрания, ощущал прежде всего щедрость и бескорыстие слушателей, не озабоченных собственным восприятием; на лицах прочитывалось не отражение лихорадочных поисков слов для весьма сомнительных парадоксов, которыми данный слушатель должен был отгородиться и заявить о своем построенном отношении, а выдававшее истинных ценителей искусства и, конечно, патриотов выражение самоотреченности. И все-таки никогда я не сливался настолько полно

со своими слушателями, как это произошло во время моего первого чтения на квартире сурового, с политическим нажимом писателя Жана Трика. Я был Протеем, превратившимся в каждого из моих слушателей, продублировав себя многократно и расположив свои отпечатки в живописном беспорядке вокруг центра, из которого струилась лента моего голоса: трое на тахте, кто-то в небрежной позе справа, слева, сбоку, чтобы слышать самого себя отчетливей. Я сотворил своих слушателей и дирижировал их вниманием, слыша и упиваясь насыщенным молчанием полнее, чем той первой порцией похвал, которой вознаградили меня во время краткого перерыва за десять минут до конца в предвкушении остальной порции, полагавшейся мне, как драгоценный концерт после внушительной прелюдии. Маскируя сдерживаемое удовольствие, я принимал золотые плоды даров в предчувствии их ретроспективного роста и разглядывал огромную черно-белую афишу, висевшую на стене, где была изображена хозяйка дома в принесшей ей заслуженную известность более десяти лет назад роли Электры. Худая, даже костлявая женщина в черном трико. Актриса, которую я в следующий раз увидел в белом коротком купальном халате, надетом на голое тело: аристократически некрасивое выразительное лицо, плохо пропеченное залихватским фотокулинарум. Потом я продолжил. Возможно, кто-то из моих слушателей лишь подделывался под общий восторг, а кто-то просто отдавал долг вежливости, то вот сидевший напротив меня толстяк, изредка причмокивающий губами, после чего я на него строго поглядывал, смаковал последние десять страниц почти с физиологическим удовлетворением на своем лице булочника-любителя. Я смаковал вместе с ним это наслаждение, комбинируя его с оттенком мстительного чувства, но как и кому я мстил, пусть останется пока тайной. Я прекрасно знал, что моя работа хороша, хотя и не думал никого убеждать в этом, но когда меня начали уговаривать, что это маленький шедевр, не стал протестовать, но и не согласился, симулируя столь свойственное мне безразличие и спокойствие, в данном случае наигранное.

Я приехал в Москву не просто так, а по поручению нескольких колониальных писателей (в том числе Вико Кальвино), чтобы познакомиться с вполне определенным литературным кругом и договориться о совместном издании альманаха, который представлял бы, по нашему мнению, лучшие силы как метрополии, так и колонии. В результате серии прочесывающих арестов (московские власти, тайно поддерживая сепаратистские настроения в колонии, публично отреклись от тех, кто забегал слишком вперед, компрометируя их в глазах международной общественности) этой затее так и не суждено было осуществиться, и

поэтому я расскажу о ней подробней, надеясь, что никого этим не дезавуирую.

Не секрет, что литература по обе стороны от московского хребта, и здесь и там, находилась в руках, далеких от литературы, это были кучера, которым только бы запрягать, а что не запрячь, не допускалось на их убогие пастбища. Западных издателей интересовала только патриархальная Россия или Россия экзотическая — этим честным бизнесменам, коммерчески точным и корректным, было понятно, что банальному западному читателю импонируют только литературные штампы (эта ситуация отражена в известной московской поговорке «Чужой человек, а приятно» (*рус*). Наиболее приемлемым по литературным вкусам было американское издательство «Кук и сыновья», вставшее на ноги после того, как его глава мистер Кук, бывший негодичант и путешественник, имевший несомненно среди своих предков и русские корни, приобрел права на издание и переиздание собрания сочинений Вильяма Кобака, написанных им в пору еще колониального периода. Почти наверняка мистер Кук рассчитывал прорваться в арьергарде ярых сторонников новой России на бестранзитный русский книжный рынок и при модé на все русское сказочно разбогатеть, завалив его и жадных западных читателей миллионными тиражами русских авторов, далеких от политики, но близких литературе (пока, по словам Била Корнези, «лакомый ореол запретного плода не успеет набить им оскомину»). Однако круто закрученный радиус последующих событий, тихо закрывший наивную книгу прекрасных мечтаний, отсек издателя от хищно лелеемых замыслов и заставил вместо современной литературы переключиться на маленькие и безопасные тиражи классиков, географических атласов и карт, лишь иногда разбавляя свой банальный коктейль тем или иным современным гением. Это обещало, пусть не жирные, барыши, но, по крайней мере, не унылое банкротство. Однако его издательство «Кук и сыновья» в Аризоне до сих пор считается самым престижным для русских авторов не только благодаря его чистому литературному вкусу, но и потому, что ни одного автора, изданного Куком, не выслали в колонию.

Издательства «Жатва», «Параллели» и «Liber Press», выпустившие за предыдущие полвека немало антиколониальных бестселлеров, были неотличимо схожи, разве что «Liber» более стыдлива и консервативна, не пропуская такие хрестоматийно схематичные слова, как «apple»* и описаний процесса, представителем которого этот московский жаргонизм является. Однако то лучшее, что создавалось в творческих пульсациях последнего десятилетия в обеих столицах, было фатально далеко от

* Такой оригинальный синоним нашел переводчик для широко употребительного в интеллигентских московских кругах еще одного непереводаемого слова «ebla» (*прим. ред.*)

вкусов заправляющих русскими эмигрантскими журналами бывших московских писателей и их колониальных близнецов. Пользуясь перекрашенным знаменем, эту новую волну можно было бы назвать декадентской литературой; в некоторых обзорах я встречал траченное молюе название «чистое искусство»; у иных рецензентов проскакивало унылое понятие «рефлексирующее искусство»; один критик в обзорной статье использовал термин «самоценная литература». Находились такие, которые упорно связывали лучшие достижения оппозиционных авторов с кислой колониальной традицией, и привычными руками тасовались атласные игральные карты: дама пик — ножницы между знаниями и нравственностью; туз, на всякий случай, пропускаем и, со шлепком, семерка трэф — вытеснение за скобки рассудочного привкуса в искусстве.

Когда мы с Вико Кальвино обсуждали варианты названия составляемого альманаха (и, одновременно, хулиганскую возможность манифестировать задним числом рождение школы), неожиданно возникла идея, что между выбранными нами авторами есть какая-то странная, чуть ли не генетическая взаимосвязь. «Не кажется ли вам, — сказал тогда Кальвино, — что вкусов у человечества не больше, чем рас? Не в том смысле, что каждая раса имеет свой собственный вкус, но расовое несовпадение и своеобразие напоминает ту разницу и несовпадение самодостаточных вкусовых пристрастий, которыми обладают люди, не взирая на их происхождение, национальность и место проживания? Давайте плясать от этого. Мне кажется, что настоящий журнал или альманах чем-то похож на монастырь или своеобразное запоминающее устройство, в котором хранится коллективная память о всех этапах созревания того или иного вкусового пристрастия. Безо всяких амбиций — ни один вкус не лучше другого, он есть лишь выражение способа ориентации в жизненном пространстве. Я бы назвал наш альманах “Экологическая литература” (или сокращенно — “Элита”) — с одной стороны, точно, с другой, в меру задиристо».

Мне, однако, попытка собрать всех в дом со столь сложной кровлей и стрельчатыми окнами казалась, если не претенциозной, то, по крайней мере, спорной, если не сказать, насильственной. Однако обсуждение возможного манифеста происходило уже позднее, когда более или менее определился состав, и все лунки оказались занятыми.

Первыми московскими авторами, с которыми я познакомился, была уже упомянутая выше группа писателей, образовавших «Московский литературный клуб» и выпустившая в свет задорный альманах под названием «Колониальная ночь» (впоследствии вышедший в том же издательстве «Кук и сыновья»). Все было сделано с московским размахом и в московской манере, чтобы привлечь внимание к положению

русских писателей в колонии. Один вариант предназначался строгой московской цензуре (хотя ее строгость была относительной по сравнению с колониальными порядками); другой — Таможенной управе; третий для получения рецензии был отправлен нашему славному Давиду Багратиону; четвертый — милой певунье Бэллочке Таманской; пятый — *на всякий пожарный случай (рус.)* (еще одно московское выражение, смысл которого, вероятно, связан с теми столь некогда частыми московскими пожарами, уничтожавшими не только, по традиции, деревянную архитектуру Москвы, но и частные деревянные строения ее обитателей вместе с хранящимися там рукописями (*прим. ред.*); шестой начал бродячую жизнь по московским квартирам; седьмой зарыт в «незасвеченном месте» (то есть в неизвестном для тайной полиции, чьи неостроумные действия были вызваны, в общем-то, благородными целями); восьмой, возможно, хранился у помогавшего беллетристам князя Василия, который уже полтора года «мазал лыжи» (*рус.*) и готовил себе мягкую посадку в Америке (то есть подбирал наиболее подходящую мазь, которая помогла бы ему совершить кругосветное путешествие на гоночных лыжах, начав спуск с Московского хребта), а заодно узнавал, сможет ли он пользоваться в пути средствами своей последней жены, вдовы Романа Якобсона, то есть теми миллионами, которые последний положил в швейцарский банк за двадцатисерийный фильм «Жозефина или Великая Отечественная»).

В соответствии со своим смелым замыслом авторы «Колониальной ночи» собирались официально зарегистрировать в Таможенной управе свой «Литературный клуб» (со всеми вытекающими последствиями), добровольно отнести туда экземпляр своего альманаха, однако они успели спуститься только ниже этажом, выйдя из квартиры Жана Трика, и прямо на лестнице, несмотря на протесты, были задержаны представителями правопорядка и пожарной охраны и отведены в ближайший околоток, где им было предъявлено обвинение то ли в похожести на каких-то поджигателей, то ли в попытке развести костер в неположенном месте. Банальный вариант, утром их отпустили, извинившись, что задержали по ошибке.

Пока они сидели в кутузке, на квартире Трика проводился обыск — искали последний экземпляр без фотографий, но хозяка дома, вспомнив свою знаменитую роль в нашумевшей пьесе Аннуя, сыграла ее еще раз. Манускрипт, накрытый одеялом, украсила сверху горка нижнего белья. Когда после многочасовых поисков робкий лейтенантик потянул на себя одеяло, предварительно прочистив юношеское горло, «Разрешите?», она с прекрасным презрением рванула на себя угол одеяла, еще

больше накрывая яркий переплет: «Пожалуйста, копайтесь в моей постели сколько угодно!», и он, обжегшись, отдернул руку.

На следующий день Жан Трика давал по телефону интервью корреспонденту «Нью-Йорк таймс», и два или три месяца потом велись переговоры с чиновниками из Таможенной управы, которые точно еще не знали, как им следует отреагировать на произошедшие события. В самой «Ночи» ничего криминального не было, колониальная тема проходила тонким контрапунктом: альманах был составлен по типу анкеты — паспортные данные, образование, написанное и опубликованное, литературное кредо и образец текста. Последний раздел разрастался в некоторых случаях до пьесы или отрывка из романа, или ограничивался несколькими миниатюрами. Живо, забавно, достаточно талантливо. Все были с университетским образованием, один с неоконченным курсом, зато двое с учеными степенями, и с кандидатом искусствоведения посередине. Самыми представительными, в смысле литературной известности, был Жюль Поп, исключенный из Гильдии писателей за участие в другом альманахе «Акрополь», также обвиненный в раздувании дыма, по следам которого и шли авторы «Ночи», и некто Ромеро, получивший год назад парижскую премию Ламарка за лучший дебют года, коим был назван его роман «В рот истории». Жюль Поп, не зная или только предчувствуя будущую славу, писал тогда достаточно традиционные рассказы, чем-то напоминающие манеру официального писателя Шеншина, только если героями г-на Шеншина были «chudaki», то героями Попа становились «tudaki»: и одна буква — как остроумно заметил один остроумный человек — открывала дверь принципиально иной прозы. Несколько книг — одну рассказов, другую научно-популярного толка с акцентом на семейной сексологии, выпустил самый молодой из семи, Ник Кейсович (родственник московского губернатора Ростопчина). Мне сразу понравился этот высокий москвич, когда я увидел его в первый раз: он вошел стремительно, сильными, точными движениями определяя себя в пространстве, зарокотал низким приятным голосом, в него обертнами входил какой-то скрежещущий рык, напоминая сильно взведенную пружину, которой все никак не распрямиться. Таким я представлял молодого Дягилева: ровные, аристократические манеры, с трудом скрывающие кипение энергии и силы, деловитости и таланта, хотя мое первое впечатление было, определенно, именно физиологического свойства: жесткий подвижный мужчина, на которого можно положиться в любых обстоятельствах.

Помню, как он вошел, резко развернувшись в дверях и демонстрируя в профиль версию московского play-boy, в паре с которым я согласился бы противостоять шайке обнаглевших люмпенов с улицы Сан-Хосе.

Четвертым был уже упомянутый Жан Трика, режиссер по специальности, лауреат премии одной молодежной патриотической организации за документальный фильм о колонии «В поисках утраченной родины». Пятый г-н Прайхоф, единственный с кем я уже встречался однажды в Питере: маленького роста, почти лилипут, с уютным небольшим горбом между удивленно приподнятых плеч. Его благородное лицо с учеными глазами поразительно напоминало Мефистофеля, каким его изображают на старинных баварских гравюрах или курительных трубках: добавь, читатель, рожки — и не надо никакого грима. Потом я вспомнил, что видел его стихотворные тексты в каком-то номере «Колониального вестника»: мощный, гипнотический голос — трудно представить, что рождало его столь субтильное тело. Знаком я был и с прозой шестого автора «Ночи» Халлитоу: по странному стечению обстоятельств его рассказ затесался в тот первый номер «Вестника», что дал мне дон Бовиани. Седьмой был единственный среди всей компании колониальный метисс, которого и взяли, скорее, для гармонической полноты, ибо что это за затея в поддержку колонии, если в ней нет ни одного аборигена. Первой превентивно (или примитивно) репрессивной мерой была высылка за границу этого несчастного малого, тоже имеющего ученую степень; воспользовались его давнишним заявлением на выезд, от которого он впоследствии отказался, не желая лить досужие слезы о навсегда потерянной родине на берегу Атлантического океана. Больше ничего. Рекламная партия была разыграна блестяще: к альманаху и авторам было привлечено внимание слишком резкими пассажами неуклюжих тайных агентов, но тексты были подобраны с интимно-злым умыслом — они были достаточно интересны, но не криминальны (ни один из авторов — предложим еще один образец московского сленга в обратном переводе с английского — не «получил в подарок взбивалку для яиц»* (рус.) — это выражение применяется только по отношению к интеллигентным представителям мужского пола, иначе не высекаются искры (прим. ред.), как скорее всего произошло бы в колонии). Альманах получил блестящие отзывы со стороны рецензентов, которыми в данном случае являлись г-жа Таманская и наш державный Багратион (подмоченная репутация князя Василия властями в расчет уже не принималась, а рецензии предназначались именно для них).

Я пополнил в самый разгар событий, когда группа этих писателей была на взлете, и очень быстро сошелся с ними накоротко.

* Нам представляется весьма удачным перевод этой фразы, хотя в русском оригинале стоит: «не poluchil po rizde meshalkoi», что, очевидно, почти одно и то же (прим. ред.)

Славное время. Мне импонировала их сплоченность, они много работали, дружили, о нашем острове говорили с упоением. В колониальной богемной среде по пальцам можно было перечесать тех, кто работал много и каждодневно: у нас в основном пили, болтали о литературе, встречались ежедневно, накачивались до чертиков и скандалов, ибо основной тон задавали такие поэтические натуры, как Вико Кальвино, живущий при поднятом занавесе, буквально все совершая только в присутствии зрителей: быт был свергнут в рулон и задвинут в угол. Угнаться за ним было невозможно. Он еще успевал работать, но те, кто шел у него в форватере, быстро выдыхались, не выдерживая жизни на открытой сцене, и скоро превращались в тех богемных литераторов, для которых богемный быт заменяет саму литературу. Поэтическая натура — это летящая по ветру пелеринка. Московские писатели работали куда более упорно: проза требует ежедневной черновой работы по многу часов, и здесь тон задавали именно такие люди. Моцарт-колония и Сальери-Москва, моему характеру более импонировало второе.

Продолжим сравнительный анализ: злоречие. Я был изумлен, когда не обнаружил у московских писателей навязшего на зубах злоречия, остроумно названного Золтаном Шарди «принципом реактивного движения души». В колониальной среде разговоры по преимуществу состояли из злых анекдотов, уничижительных реплик и язвительных замечаний по поводу отсутствующих, в блаженном, как рай, перебивании косточек за спиной. Самым язвительным был автор «Истории кота Мура», в один год с московским г-ном Ромеро получивший премию Ламарка, владелец прекрасной квартиры-мансарды с выходом на крышу в угловом доме на улице Сан-Себастьяно. Дон Скотт сказал бы, что злоречие было его специальностью. Двумя-тремя фразами он уничтожал отсутствующего оппонента, мгновенно находил уязвимое место и изящно втыкал острозаточенное жало. Сначала слушать его блестящие и остроумные рассказы было забавно, затем грустно, потом неприятно. В нем сидел какой-то бес язвительности, вступавший в контраст с почтенным возрастом, прекрасными манерами и уютно провинциальным обликом. Он имел бурную биографию, множество университетских дипломов и ученых степеней и целую гирлянду жен, каждая последующая была младше предыдущей, но и самая последняя из них была моложе его на тридцать лет. Сначала он преподавал математику, потом увлекся археологией, этнологией, астрологией, чтобы все это забросить ради литературы. Удивительно широкая эрудиция, поразительная по составу и числу редких книг библиотека. Г-н Полонский (под таким псевдонимом появлялись его рассказы и миниатюры в вечерних газетах) имел тонкий вкус, чутье и изысканно сервировал даже

самый простой стол, будто составлял натюрморт, каждое блюдо подавая на новой скатерти. После первой рюмки его физиономия лучилась добротой, после второй становилась задумчивой, после третьей приобретала разительное сходство с известной фотографией русского поэта Сологуба; последний снялся на ней, облысев и побрившись наголо. Проза Полонского была традиционна и не пользовалась успехом. Лучшей вещью считался «Кот Мур», где было немало хороших страниц, но как в жизни наш долгоиграющий Нахтигаль был изощренно язвитель и беспощаден, так в литературе он был поразительно сентиментален и даже наивен. Добрый сентиментальный клоун с красным носом, который на арене льет настоящие искренние слезы о сказке первой и навсегда потерянной любви, а вернувшись в гримерную, становится беспощадным и умным циником, прожигаящим жизнь всю ночь напролет, чтобы утром опять лить слезы, хлопать носом и вздыхать о превратностях жизни.

Одна из самых умных женщин-писательниц в колонии, г-жа Ганка, объяснила мне как-то, почему человек куда с большим наслаждением рассказывает сто раз слышанный и навязший в зубах анекдот, нежели слушает то, что ему неизвестно. «Говоря, мы достаем себя из омута несуществования, мой мальчик. Мы проявляем себя, как будто выходим из тумана. Насильно втискиваем свой образ в сознание собеседника — и кровь начинает биться шибче, тело кажется обведенным жирным контуром чужого внимания. Слово никак не менее вещественно, чем то, что называется действительностью; оно когда зеркало, когда зонтик, сквозь который только просвечивает реальность. А не замечал ли ты, на какие уловки падок человек, рассказывающий о происшествии, в котором пострадало его достоинство? Он повествует о неприятном событии в серии следующих друг за другом версиях происшедшего, то опускает особо постыдные подробности, то дополняя тем, что могло бы иметь место, но осталось за кадром. Каждая версия понемногу выправляет покоренный и сплюснутый — от унижения или страха — облик обиженного рассказчика, пока более приятная для самолюбия версия не отшлифуется и не затвердеет в сознании, как истинное происшествие. И не отгородит рассказчика от того, от чего он желает освободиться. Помни об этом. Злоречие можно сравнить с хирургическим вмешательством в действительность. По закону Архимеда: погружая отсутствующего, рассказчик поневоле выдвигает себя. Сказать о ком-то снисходительно — тоже самое, что косвенно похвалить себя. Писатели занимаются этим в литературе, но тем, кому не хватает литературы, дополняют ее устной речью».

Москва была щедра. Москва была великолепна. Однако рассказ о ней, предложенный нам профессором Зильберштейном, реконструированным, по нашей просьбе, восприятие будущего лауреата, показался настолько психологически недостоверным, что нам пришлось вступить в длительную переписку с престарелым профессором, уговаривая его изменить тональность многих его пространных отступлений и перекодировать многие из приписываемых им сэру Ральфу чувств. Из-под пера п-ра Зильберштейна Москва выходила то с лебединой осанкой молодости Ильи Исаковича, то осторожной, крадущейся походкой его зрелости, то с непонятно откуда взявшимися повадками нагловатого лощеного хвата. Анахронизмы и неточности били в глаза.

Скажем, в записных книжках сэра Ральфа (действительно скудно повествующих об этом времени) Москва — город живых, искрометных, газированных духовных исканий на подкладке из искреннего патриотизма (с небольшими присадками волнодумства и франкмассонства), Зильберштейн описывает какие-то безумные «художественные акции», похожие на развлечения завсегдаев лондонского Бедлама. Будто не было другой забавы для интеллигентной Москвы описываемого периода, как собираться в сопровождении чуть ли не всего дипкорпуса в тесной мастерской какого-нибудь художника и в течение многих часов наблюдать, как два чудака перетаскивают камни или глину из одной кучи в другую. Или — как пишет п-р Зильберштейн в одном из отвергнутых нами фрагментов — «вы входите в квартиру — конечно, по приглашению, с попугачиком, тайным паролем и системой предварительных перезваниваний — и видите, что все пространство комнаты разделено своеобразными плоскостями занавесей: на натянутых лесках с интервалом, скажем, в двадцать дюймов развешены почти вплотную друг к другу (от потолка до пола) свитки, состоящие из рулонов туалетной бумаги. На каждом свитке надпись сверху и снизу (чтобы можно было читать, дотянувшись до подола). Примеры изречений. «Не правда ли, любовь — это вечность?» (рус.) Или: «Пора, пора, покоя сердце просит!» (рус.) Или: «Как хороша кастальская вода!» (рус.) Или: «Идите на хуй, господа, ибо скучно жить на этом свете, господа!» (в обратном переводе с англ.) Вы ходите, сталкиваясь то и дело с другими блуждающими лбами, читаете изречения, говорить все равно невозможно, ибо вдоль всех стен стоит около дюжины всевозможных аппаратов — хронографов, проигрывателей, метрономов, магнитофонов, громко исполняющих каждый свою мелодию. А на самих стенах развешены образцы творчества группы «Поганки», возникших, без сомнения, под влиянием эстетики г-на Прайхофа. Экспонат «Искусство для искусства»: два работающих телевизора, повернутых экранами нос к носу.

«Черный квадрат»: огромный прозрачный полиэтиленовый мешок, туго набитый черной угольной пылью, с мятой бумажкой названия. Огромное полотнище «Говорит Москва», состоящее из вырезанных из газет за разные годы некрологов в таурных рамках и сообщений о пожарах. Эстетически это был китч, рассчитанный на сиюминутное впечатление. Петербургские зрители что-то лепетали, когда их спрашивали о мнении, про себя громкогласно крича одно: «Чудовишно!» Трудно себе представить что-либо подобное в Петербурге с его высокой классической традицией и строгим задумчивым прицелом на вечность. На самом деле это был розовощекий простодушный авангард, который делали молодые москвичи, как губка воду, впитавшие эстетику г-на Прайхофа».

Однако все вышеописанное трудно представить не только в Петербурге, но и вообще где бы то ни было. Зачем, зачем этот пасквиль на древнюю столицу, зачем эта бьющая в глаза пародия на высокомерие будущего лауреата (подчас ему действительно свойственное), но под пером уважаемого п-ра Зильберштейна приобретающее черты запредельной сухости и слепоты?

Скажем, в дневниках Ральфа Олборна пусть и немного, но зато как точно, одним штрихом, двумя-тремя мазками набросаны портреты московских метров — у Зильберштейна только «я» да «я» («со мной носились», «мне устраивали чтения», «меня принимали как желанного гостя»). Каждая вторая женщина в него рлюблена, все смотрят с тайным томлением надежды.

«Дорогой Илья Исакович, — пишет Зильберштейну в письме от 17-го июня Ивор Северин, — не кажется ли Вам, что Вы несколько перестарались, чересчур редуцированно подавая образ Вашего alter ego: Вы встречались с г-ном Альбертом, Вам нашептал разные гадости Герман Нанн? Мы боимся за цельность Вашего драгоценного образа, который так поспешно дезавуирован в Ваших несомненно увлекательных эскерсисах.

Давайте еще раз вместе представим себя молодого писателя, впервые приезжающего на родину — неужели Ваша память не может найти хотя бы пару действительно чудесных и завораживающих картин, которые должны были открыться взору ослепленного (и прекрасно ослепленного, если позволите) зрителя? Страницы 134, 178, 193 из третьей записной книжки вполне, на наш взгляд, способны дать пищу для Ваших неизменно вдохновенных импровизаций».

«Уважаемые, господа, — отвечает Зильберштейн в письме от 11-го августа, — нет более чудовищного заблуждения, чем второпях принять роль за истинное лицо актера. Протагонист Ральфа Олборна не добрый малый, но и не Ральф Олборн собственной персоной. Я назвал бы его

отнюдь не забавным шутником, описывающим не столько себя, сколько ожидание, точнее даже негатив ожидания, собирая все лучи в точке, из которой возникает головокружительный поворот. Достоверность еще не существующего, а лишь проступающего, крадущегося из тьмы будущего, или, напротив, беззаботно пропущенного, как прекрасная, но и нереализованная возможность — вот цель, вот итог. Вы пишете о «расправе с реальностью» (на мой вкус — слишком сильно сказано), но даже если так, кого из великих не называли жестоким по отношению к близким?»

«Но, — отвечает ему Зигмунд Ханселк в письме, которое пишется сентябрьским полднем, дождь струится по стеклам эркера, ветер пригнул шею осине, потрепал, отпустил, заставляя ее отряхиваться редкой кроной, как мокрого пса, — давайте сверим часы. Да, пожалуй, Вы правы, и пристрастия любого писателя напоминают лестницу с подъемами и спусками, крытыми маршами и долгим стоянием между двумя этажами. Да, пока писатель ищет себя, его зрение походит на стремительный и яркий луч, выхватывающий из окружающего и чудесного многообразия лишь родственные черты, категорически отталкивая все чуждое и возводя тень на плетень в незнакомом саду. Но найдя себя, писатель приобретает своеобразное благородство и раздвигает жалюзи: в черном сплошном экране проклеивается глазок, и он выходит на свет с душой, исполненной снисходительной вальяжности, которая раньше соседствовала с неизбежным разочарованием по поводу того, что литература это не лестница ввысь, а автор — отнюдь не демиург. Требовать от него это, по крайней мере, неумно. Но давайте подумаем вместе еще раз — можем ли мы забыть о читателе? Или Вы не знаете, как претит последнему исповедь сноба? Конечно, все жанры хороши, но, как Вы знаете, наш издатель, уважаемый г-н Шанкер платит из своего кармана, и платит он не за достоверность, а за увлекательность»

Однако работа была уже не только сделана, но и оплачена вперед. Ничего не подделаешь, — нам пришлось кромсать, собирать лоскутки, шить цыганское одеяло, делая ставку на отдельные портреты, которые уважаемому Илье Исаковичу удавались лучше пространного повествования. Слез сопереживания, искренних чувств, правды природы требовали мы от п-ра Зильберштейна; его перо неукоснительно сползало в сторону прекраснодушных абстракций и въедливых характеристик, щедро оснащенных едким уксусом ехидных замечаний.

Пожалуй, более других удался п-ру Зильберштейну портрет Жана Трика, хотя сила скрытого очарования проступает и сквозь образ кропотливого фольклориста и рапсода Диея (как называли его друзья) Прайхофа.

«То, что он делал в литературе, напоминало мне строительство дома, которое ведется из обломков погибшего корабля, — пишет п-р Зильберштейн и продолжает. — Произошла буря*, корабль потерпел крушение и разбит в дребезги, на берег безразличные волны вынесли несуразные останки. Нет инструментов, нет гвоздей, нет ничего. Но без крыши над головой тому, кто потерпел крушение и чудом спасся, не обойтись. И вот он начинает громоздить чудовищные постройки из того, что есть под рукой. Дверь становится окном, иллюминатор камбуза — унитазом, скатерть из капитанской каюты — простыней, а корабельный флаг — полотенцем для ног. Использование вещей не по назначению, строительство из чужого материала — вот принципы поэтики, доставившие Прайхофу славу и славу нешуточную. Улицы Прайхофа в Москве и Калуге, Прайхофский район в Казахстане, Прайхофские (ежегодные) чтения в Берлине, стипендия имени Прайхофа для молодых акварелистов в Нанси, примия им. Прайхофа, учрежденная Прайхофским комитетом в Лос-Анжелеском университете. И за всем этим, за всей чередой крикливых и буйных песнопений — плач по уходящему, по униженной, убитой и изнасилованной России. Плач, который слышал даже тот, кто никогда до этого не брал в руки стихов, для кого поэзия лишь искусственно рифмованная мысль. Прайхоф стал властителем дум, человеком, а точнее даже — существом, который точнее других выразил сначала предчувствие, а затем и грандиозность катастрофы, гибели великой русской идеи. Его патриотизм был понятен любому непосвященному, его алчущая правды душа стала метрономом несчастной русской жизни нового времени.

Но, конечно, Ральф Олсборн, приехавший в Москву задолго до того, как она к несчастью всех русских людей опять стала вольным городом среди десятков и сотен других вольных городов некогда Великой Руси, застал г-на Прайхофа еще в период если не младенческого состояния его таланта, то по крайней мере в блаженном предверии его будущей известности».

«Быстрый, как “чертик из табакерки”, симпатия-горбун, почти карлик с мечтательным взором умных, на выкате, глаз, легкий, как ребенок — думал ли я, подсаживая его на сидение в фуникулере, что дотрагиваюсь до тела, священного теперь для каждого русского? А наши беседы — когда в виде орнамента ежедневных прогулок, когда неспешные и продолжительные: казалось, я их запомню навсегда, но вот прошли годы, мне надо перенести их на бумагу, и самое главное: точность продуманных слов, небрежная искрометность брошенной

* Намек на развал России (прим. И.С. и З.Х.)

почти случайно фразы, выветрилось и исчезло, увы, а под пером лишь мучительный скрежет втискиваемой в готовый образ трепетной и прекрасной души.

Думаю, что жизнь г-на Прайхофа определило то, что он родился еще при Советской власти, в семье немецкого колониста, сосланного в Казахстанскую губернию при первых раскатах великой войны, где, кстати, Прайхов и познакомился со своей будущей женой, принадлежащей известному княжескому роду и вскоре ставшей Прекрасной дамой, неизменной музой его вдохновенных песнопений. Ее дед в течение полувека был посланником в Харбине, владел несколькими фабриками и мануфактурами в Китае и Монголии, долгое время с пророческой предусмотрительностью держал деньги в японских банках, что и спасло его состояние после оккупации русскими войсками восточных провинций. Вся посольская прислуга осталась верна дому, а не чувству приемственности, переехав вслед за ним из посольства в особняк на соседней улице. Подвел извечный русский патриотизм. Дочь воспитывалась в русском духе, Чайковский, Твардовский, Михайловский, ходила в школу при советском консульстве, где вся семья встречалась почти каждый вечер и уж наверняка по четвергам, на просмотрах новых советских картин или вернисажах московских художников. Все увиденное жадно обсуждалось, могучая, загадочная, прекрасная жизнь билась сквозь простыню экрана, как черно-бархатная ночная бабочка, запутавшаяся в занавеске, так хотелось домой, в Москву, Россию, деда давно обрабатывали советские дипломаты, но все решила она, любимица семьи, десятилетняя Сонюшка, которая даже ночью не снимала пионерский галстук, торжественно повязанный ей в присутствии советского посла. Женская половина семьи была осторожной; «И горячая вода есть, и ванны чисты?» — подозрительно спрашивала мать, Калерия Николавна; бабушка, шурья сквозь дым папироски, задумчиво качала головой, но мужчины и внучка не хотели слушать никаких разумных доводов. Торговались долго, требуя гарантий, хотели сохранить хотя бы один счет в японском Государственном банке, но консульские уверяли, что в Москве это будет понято превратно, как признак недоверия. С помпой, под звуки гимна, были вручены советские паспорта и ключи от огромной московской квартиры на Ордынке, где, по словам работников консульства, только что произведен капитальный ремонт, одиннадцатикомнатный, двухэтажный корабль с винтовой лестницей по черному ходу, широкой лестницей с главного подъезда, симпсонским роялем (для милой Сонюшки), кабинетом для главы семьи, которого еще ждал служебный кабинет с вертушкой в Кремле (и должность советника по внешнеэкономическим связям). Все

было готово к приезду новых и счастливых хозяев. Недвижимость была продана за бесценок, деньги со всех счетов сняты и под честное слово седовласового, улыбочивого первого консула со шрамом на верхней губе переданы из рук в руки. Соответствующая сумма в рублях должна была быть вручена им сразу после пересечения советской границы (за вычетом внушительных отчислений в Фонд беспризорных детей и Фонд мира).

На границе вместо обещанного автомобиля их ожидали две подводы, на одну усадили женщин, на вторую мужчин. Дед успел помахать Сонюшке рукой, отца грубо толкнули в спину, кучер в солдатской гимнастерке гикнул, свист кнута разрезал воздух, больше она ни отца, ни деда не видела. Женщин спасло то, что они взяли с собой теплые вещи и кучу чемоданов — пять лет жизни в уральской землянке, а потом еще семь в рабочем поселке без права въезда в столицы. Понятно, что ни московской квартиры, ни своих денег они так и не увидели. Но разве это смутило, разве стала она меньше любить свою родину, Москву, которую открыла для себя только в девятнадцать лет, когда первый раз, вопреки категорическому запрещению, приехала поступать в великий герценовский университет на Воробьевых горах? Сначала она поступала на русское отделение, потом на французское, восточное, древних языков (кроме китайского, японского, корейского и монгольского, она знала и пять европейских языков) — везде не добирала баллов, ее каждый раз беззастенчиво проваливали, а когда наконец поступила, началось другое время.

Он был старше ее на два года, его первое стихотворение было посвящено ее удивительной походке, второе — стеснительной улыбке, третье — несколько чопорной привычке называть всех на «вы» и по имени отчеству (даже кошку Василису Игнатьевну и соседского шелудивого пса — Бим Петрович Напельбаум). Он объяснялся в любви, а выходил чудовищный насмешливый рык, какая-то издевательская пародия над смыслом, и только спустя даже не годы, а десятилетия удалось расшифровать то, что поначалу принималось за бред «взбесившегося графомана». Как под покровом хрупкой и прекрасной Суламифь, возлюбленной царя Соломона, сокрыта пророческая, суровая и справедливая церковь Христова, так за дерзкими, ироническими описаниями своей будущей жены Прайхоф скрывал трепетность чистого беспримесного чувства к родной земле. Это была она — «его девочка», «глупышка», «серенький зайчонок» со своей русской душой и неловкой гибельной судьбой. Невольным смехом защищал он беззащитность своего светлого чувства, как в рубище одевают прекрасного ребенка, пытаясь спрятать того от разбойников.

Жизнь дает ответы если не на все вопросы, то, по крайней мере, на те, без которых порой не сдвинуться с места, как в завязших по оглобли в снегу саях. Помню, как объясняя мне принципы своей поэтики, Прайхоф рассказал об эпизоде из своего детства, когда они вдвоем с Соней наблюдали охоту только-только подросшего котенка за огромной крысой. Серая, слоноподобная, с хищной пастью, она была загнана Василисой Игнатьевной между сундуком и комодом, Василиса Игнатьевна стояла на воображаемой бессектрисе, затем делала ложный ход, якобы пытаясь пойти от сундука, как бы уступая дорогу и открывая шлагбаум бегства, а глупая крыса, метнувшись, делала бросок, вроде уже минуя своего маленького врага, который в этот момент вцеплялся ей в загривок. Победу обеспечивало движение не по прямой, а по дуге. Здесь начало поэтической образности: описать нечто путем сравнений, уподоблений, кивков, подмигиваний и намеков. Поэзия глуповата и хитровата, как Василиса Игнатьевна, и кратчайшее расстояние в ней не прямая, а гипербола.

Вернувшись в гостиницу, пока сочные капли с дождевика стекали в углу, образуя Каспийское море между выходными туфлями и калошами с тинообразным зеленым эпителием потертой подкладки, я торопясь записал перечень из теории смены поэтических поз, которую изложил, провожая меня, милый Прайхоф. Каждая эпоха выдвигала одну единственную новую позу (читай – голос) поэта, которому предстояло сказать поистине новое слово (все остальные только договаривали то, что было сказано ранее). Поэт-герой (эпос), поэт-демон (романтики), поэт-гражданин (Некрасов), поэт-пророк, поэт-мистификатор или эксцентрик (трагический шут), поэт-варвар и, наконец, поэт-свидетель, которому суждено прийти после разрушения Илиона и, скрывая слезы, заменяя их смехом, описать жизнь родных развалин. Смех-плач, смех-вой; – хотите, – сказал мне, прощаясь и покачиваясь на своих кривоватых ножках, Прайхоф, – я покажу вам свои пробы в скульптуре, я, знаете ли, иногда балуюсь...»

Наутро мы были в мастерской его приятеля, г-на Курлова, длиннеего голубоглазого немца, и я тут же увидел бюст молодой девушки, которую сразу узнал, хотя одна половина головы представляла из себя комсомолку в пыльном шлеме, тогда как вторая изумляла точностью античных пропорций гордой квиритки. «Здравствуйте, Софья Ивановна!» – «Здрасьте, – ответила я». «Не страшно?» – «Отнюдь», – храбро отвечивал Прайхоф.

Почему не боялся он того, что так пугало многих – брать за основу пошлый, вульгарный материал, прозревая в нем черты перевоплощения и сквозь грубый покров вещей открывая, высвобождая скрытый в них

бутон новой красоты? Не красота пейзажа (скажем, огненно-оранжевого куста на мокром изумрудном фоне утренней травы), не грация юной прелестницы, скачущей на одной ноге в попытке поправить сползшую гармошку носка, а неочевидная красота банального, неброского и повседневного, в которую, как в раму, погружены страдающие от сырого прикосновения люди в *уходящей* России, звала его как подвиг. Уходящая Россия с чертами милой, вздорной, рассеянной и прекрасной Соношки, стала его мольбертом, подрамником, выбеленным холстом.

Говорили мы, кажется, обо всем на свете, и подчас наши вкусы удивительно совпадали. «Любите ли вы жирное?» – улыбаясь спросил как-то Прайхоф, когда мы брели с ним сквозь туман в районе Пречистенки, и кивнул на знаменитый правительственный особняк, тающий, как леденец за щекой, в белом молочном мареве: «Я вчера кажется переел жирных хариусов!» Я понял намек, так как тоже был увлечен одно время музой Виктора Хары – одного из главных достопримечательностей ночной Москвы, сына известного советского патриция, гуляки, шалуна, замешанного во множестве скандальных историй: то он привязывает медведя к спине квартального и загоняет несчастное животное в ледяную воду Москва-реки, то устраивает фейерверки во время везда в Кремль правительственного кортежа, то пугает свою молодую жену, принимая в качестве горничной рыжего, волосатого малого, похожего на обезьяну, с добрыми бессмысленными глазами дебила. Пока хозяева на работе, он без конца пьет томатный сок из холодильника, рвет на части любимого хозяйкиного Пруста и непрерывно мастурбирует. Когда его застают за этим занятием, виновато улыбается, разводит руками и говорит: «Э-эх!» Я больше не могу, говорит молодая хозяйка, собирая исковерканные листы. Потом его моют в ванной. Он вырывается. Через неделю он хозяин положения. Ходит по квартире голый, вонючий, весь уделанный спермой и томатным соком, заросший рыжим волосом. Потом у него начинается любовь с хозяйкой. Муж, выставленный на лестницу, слышит леденящие кровь вопли. Жена плачет, но отдает предпочтение идиоту. Третий лишний. По утрам она готовит ему кофе, подговаривая, чтобы он выставил того, другого, за дверь. Я так больше не могу, он действует мне на нервы. Неожиданно идиот врывается к лежащему в хвойной ванне покинутому мужу, и у них начинается второй раунд любви. Жена стонет от ревности, постоянно подглядывает за ними, мешая глупыми слезами чужому счастью. В конце концов идиот кровельными ножницами отстригает ей голову.

В растрепанном колониальном быту такого не было. Это был не жестокий натурализм, не эксперименты, которым трудно сыскать аналогов даже в раскрепощенной отечественной традиции, а своеобраз-

ное изощренное житнетворчество, психологический мазохизм, чисто русская прямолинейность при перенесении художественных находок в жизнь. Представим себе седенького Каверина, решившего отдать визит нашему Петронию, в виде демонстрации поддержки его творческому методу, и попавшего в самый разгар вышеописанных событий. Я думал литература эта одно, а жизнь совсем другое. Гомерический хохот. Мы тоже пытались задать перцу русской литературе в 20-е годы, но при этом... Чуть слышным голосом: что же это, вы такой способный человек, зачем вы так. Этого нельзя. Заплетающимся языком. Протягивая дрожащую руку. Общественность была скандализована. И только защита чиновного батюшки спасла новоявленного маркиза де Сада от крепости или высылки в колонию. Он продолжал посещать светские гостиные, где сидел, потупив взор, с несколько глуповатым лицом, явно вступавшим в противоречие с его имиджем гуляки и скандалиста. Среднего росточка, челочка, облик без каких-либо видимых изъянов, но и не такой, чтобы легко запомниться, без особой изысканности, ничего экстраординарного, бедняга-инженер или вечный студент Технологического института с некоторыми претензиями на соответствие моде, достаточно субтильный, но и не ипохондрик — случайная встреча в Сандунах предъявила весьма скромные очертания того механизма, который, по словам Шекспира, «нам пока принадлежит». Особый дар отрицательного обаяния, который я ощутил однажды, читая после него одной великосветской компании неизменно приносящее успех эссе, а теперь корил себя за данное согласие. Слушали неплохо, но я сам был разрезан блестящей плоскостью, напоминающей лезвие гильотины, отчего поневоле казался себе надутым снобом и высокомерным эстетом, что было со мной впервые. Я читал голый для голых слушателей и слушательниц, развращенных и неостывших от предыдущего впечатления. Пытка искусством после документальных съемок в восточном гареме. Всем было прекрасно известно, что в его рассказах нет ни грама выдумки, одна обнаженная (не без кокетства) правда и своеобразный хронометраж собственной жизни, которая строилась именно так, чтобы стать объектом изображения. Всему свое место. Есть вещи трудно соединимые по причине принадлежности к разной природе. Оголтелое житнетворчество и литература не всегда совпадают.

Общество состояло из модных седых художников, дам полусвета, усаых иностранцев; в отличие от Петербурга, где на чтения собиралась только окололитературная среда, литераторов почти не было. Вместо вчерашних альпийских горнолыжников — французские и итальянские аспирантки-славистки, почти не понимающие по-русски, вместо американского и испанского послов — маститый редактор и издатель

лучшего русско-франко-американского иллюстрированного журнала «Альфа и омега». На этой колоритной фигуре имеет смысл остановиться подробнее. Внушительная внешность, породистое лицо римского сенатора с орлиным носом. Острые глаза. Неистощимая фантазия и страсть к мистификации. Когда он приезжал в колонию, за ним ходили толпы. Он рассказывал о своих замыслах, и его слушали, раскрыв рот. Он собирался купить небольшой остров в Атлантическом океане, основать там новое государство и подать заявку в ООН с требованием признать его независимость. Показывался макет флага, проект конституции. Небольшое русское государство посреди океана; недалеко от экватора. Желаящим предлагалось вступать в акционерное общество на правах пайщиков. Перед взором изумленных слушателей возникал каталог необитаемых островов с их подробными описаниями, залежами полезных ископаемых, картами флоры и фауны, и примерной ценой в международной валюте. Неимущим русским островитянам предоставлялась беспроцентная ссуда, по крайней мере, на сто лет. Раздумывающим и сомневающимся пайщикам предлагалось на выбор несколько способов раздобывания недостающего оборотного капитала. Можно было создать компанию по выпуску полиэтиленовых пакетов с гербом будущего государства и обеспечить бесперебойную продажу этих пакетов во всех европейских столицах. Тем, кто не верил, демонстрировались комплекты открыток, которые уже сейчас можно было купить в любом парижском газетном киоске: цветные открытки-иллюстрации картин известных московских художников-авангардистов. Рекламная и коммерческая акции одновременно.

Одинаково опасным представлялось и верить ему, и не верить. Верить было трудно: ибо, несмотря на тщательную разработку каждого замысла, осуществлял он только сотую долю, сетуя, правда, лишь на нехватку времени. Не верить тоже: ибо, несмотря на фантастическую и авантюрную неправдоподобность его затей, ему удавалось осуществить наиболее неосуществимые — на первый взгляд — из них. Никто не успел сделать так много, никто не смог воспользоваться с такой полнотой теми туманными (и противоречивыми для многих) возможностями, что возникали в короткую постренессансную эпоху, осторожно именуемую *новым временем*. Хотя наиболее грандиозным делом представляется его журнал, который делался в Москве, а выходил в Париже и Нью-Йорке. Совершенно открыто, используя данные ему законом права. Сначала сравнившись в популярности с «Пари-матч», а затем обогнав «Нейшнл географи». Иллюстрированный, трехязычный, англо-франко-русский журнал художественного авангарда — и одновременно журнал современной кухни, аристократических сплетен, с дайджестом литературных

новинок, краткой энциклопедией семейной жизни, с обзорными статьями всех важнейших аспектов науки, перемешанных с анекдотами, байками, занимательными историями. Шикарное издание, выпускаемое в соответствии с самыми современными требованиями полиграфического дела. Настоящий журнал-монстр. Умный. Интересный. Неожиданный. Уже оказавший свое влияние на развитие не только современной живописи и литературы, но и ставший критерием политической состоятельности не одного десятка общественных и религиозных деятелей, выводя на орбиту не только фотографов и начинающих писателей, но и давший миру двух премьер-министров и одного патриарха.

Один этот человек противостоял мифу о неделовитости русского человека, о неспособности его к деятельности широкого размаха. Да, его типография размещалась не на Красной Пресне, а на Монмартре. Жизнь без права на ошибку. Он не мог позволить себе оступиться ни разу: каждый его шаг контролировался КГБ и ОБХСС. Он должен был зарабатывать деньги на журнал открыто, честным путем. Спасало то, что авторы русских статей не требовали гонораров, зато их счета в швейцарском банке росли год от года. И то, что он мог заработать там, где пасовали все остальные. Каждый номер стоил целое состояние. При желании он мог бы стать подпольным миллионером. А он все тратил на журнал, который не приносил ему ни гроша. Типично русский бизнес. Перпетуум-мобиле наоборот. Бескорыстие, являющееся оборотной стороной коммерческого гения. Человек с большим будущим и неограниченными возможностями. Еще один человек-легенда. Он знал и умел буквально все. Энциклопедическая осведомленность в самых различных областях. Вы хотели узнать о способах бегства из Советского Союза? Пожалуйста, вам предлагается реестр возможных и уже осуществленных попыток. Причем каждый раз оказывалось, что он чуть ли не присутствовал при сборе вещей. Надувные лодки и матрасы, которые выбрасывались через иллюминатор ватерклозета лайнера, курсирующего по Черному морю. Обмен документов с переклеенными фотографиями с заранее поставленными в известность иностранцами. Путешествия в запаянных контейнерах и несгораемых шкафах с дипломатической почтой. Он знал и помнил даты, фамилии, имена. Экзотические и оригинальные попытки вызывали его восхищение. Полеты на планерах и самодельных самолетах. Он был в археологической экспедиции в Карпатах, а вечерами к ним приходил какой-то гуцульский паренек, прося разрешения выточить то одну, то другую дощечку или деталь на токарном или фрезерном станке. Ни с кем не вступая в контакт. Спокойно, молчаливо. Невзрачная внешность, челочка. По чертежам в

журнале «Моделист-конструктор» он сконструировал одноместный самолет, использовав то ли подвесной лодочный, то ли мотор от мопеда. Перелетел через горы и не вернулся.

Другой случай: на лекции в шведском пен-клубе, которую читал бежавший из Союза диссидент, к докладчику подошел шведский аристократ, летчик-любитель, и предложил вывезти оставшихся в России жену и дочь диссидента. Фантастический план. Он пролетит над границей, сядет в условленном месте и возьмет на борт двух трясущихся от страха женщин. Подстрелят так подстрелят. Последний отпрыск вырождающегося рода шведских викингов. На фотографии точеные острые черты лица. Почти красив, что-то среднее между Аленом Делоном и Василием Лановым. Потом газеты называли его прекраснодушным авантюристом. Долго обсасывали подробности. Он собирался сесть в районе Чудского озера. Все должно быть сделано минута в минуту. Он садится и тут же взлетает, ждать долго — самоубийство. Москва дала согласие. В назначенный час он посадил самолет и стал ждать. Их не было. Вместо пяти минут он прождал четыре часа и улетел пустой. Оказалось, эти дуры все сделали не так. Долго распродавали вещи, торгуясь за каждую книжку, взяв с собой полное собрание сочинений Брокгауза и Эфрона, а также десяти томик Лескова, с двумя огромными чемоданами потащились на автобусный вокзал, собираясь ехать с пересадками, но на конечной станции нужный им рейс автобуса в последний момент отменили; поймали левака, но тот завяз по уши в грязи на какой-то проселочной дороге, ибо был сезон дождей. Короче, считая, что все равно опоздали, они вернулись назад. Диссидент ломал руки от отчаяния. Тогда летчик-ас решил попробовать еще, опять лететь вдоль границы, а потом пересечь ее в назначенном месте. Опять он садится, опять ждет, опять они не успевают. Кажется, они потеряли билеты и их, как зайцев, сняли с поезда, так у них не оказалось нужной суммы на штраф, ибо от жадности они поменяли все деньги до последнего рубля, а взяв штраф в долларах контролеры отказались. Потом этих дур можно было видеть на разных чтениях, они ходили вместе: дура-мать с душой-дочкой, и на них показывали пальцем.

Он знал условия перехода границы в любом месте, так как побывал везде. Норвежские пограничники выдают бегущих по снегу советских военнотружущих, но не выдают гражданских. Финны выдают всех. Того капитана американского катера, который выдал перескочившего на его борт советского моряка, разжаловали в матросы, а адмирала, отдавшего этот приказ уволили, присудив к огромному штрафу.

Будучи в свое время кинооператором для особых поручений, заброшенный на китайскую территорию, он снимал продвижение китайских

войск к советской границе во время столкновения на Даманском. Вместе с двумя проводниками, ночью, перешел границу, увешанный аппаратурой забрался на совершенно скрытую от взгляда снизу скалу с углублением над дорогой и снимал несколько суток подряд. В результате – благодарность командующего и медаль «За отвагу». Получая командировочные, он прикрыл четырехзначное число рукой. В Москве он видел, как проводилась ответная демонстрация около китайского посольства, пытался снимать, но ему запретили. За углом стоял грузовик с опущенными бортами, набитый баночками с чернилами и заготовленными плакатами. Желающие забирали чернильные «гранаты» и закидывали баночками окна посольства. Его приятель был свидетелем того, как китайские агенты вылавливали в парадном своего товарища. Китаец то ли учился, то ли работал по соглашению, но когда начались *события*, решил остаться в России. Несколько дней его дожидались в парадном. Интеллигентные китайцы в аккуратных выглаженных костюмах. Машина во дворе. Стояли, курили, холодно и спокойно оглядывая всех входящих в подъезд. Между третьим и четвертым этажами вторая засада. В одну из ночей несчастного узкоплечного невозвращенца запихали в багажник, и больше его не видели. Провожаящий девушку приятель был свидетелем молниеносной упаковки.

Помимо того, что он был уникальным собеседником, постоянно вспыхивающим от фантастических и гениальных идей, он действительно обладал всевозможными талантами, расположенными в разных плоскостях. Когда у него болели зубы, он играл на гитаре труднейшие пьесы XVIII века, и оказывалось, что он чуть ли не профессиональный гитарист-виртуоз, способный овладеть любым технически сложным пассажем, ибо в детстве долго играл на скрипке. По сути дела из подсобного материала он был в состоянии сделать патриарший посох, трудноотличимый от подлинного. И все-таки наиболее полно его дарование сказалось в плане его издательской деятельности: быть главой издательства, составленного из кусочков, без секретарей (его помощникам в Париже, чтобы заработать недостающие для выпуска журнала суммы, приходилось обременять себя трудоемкими, но хорошооплачиваемыми малярными работами), получая корректуры и сигнальные оттиски из-за границы всего на несколько дней, вынужденный постоянно скрываться и скрывать материалы от агентов сыскной полиции, которая также постоянно трясла все его московские квартиры (сам он жил в двух комнатах в коммунальной квартире с женой и взрослой дочерью; остальными соседями, по странному стечению обстоятельств, оказались несколько наиболее видных московских диссидентов; но еще имел трехкомнатную квартиру-мастерскую в новос-

тройках и несколько квартир любовниц, о которых знали немногие), а у него еще постоянно возникали идеи: то выпустить многотомную энциклопедию, содержащую статьи о реальных и вымышленных писателях. То предлагал создать странствующую типографию, закупив новейшее оборудование за границей, и издавать сериями: социальные романы, политические, порнографические, модернистские и так далее. Или разработать серию фантастических фейерверков в честь тысячелетия христианства на Руси, воплотив с помощью иллюминации знаменитую фреску Микельанджело.

Со стороны матери он принадлежал к двум различным ответвлениям рода чингизитов, наиболее известного в Европе княжеского рода литовских татар. Даже его детство окутано куревом самых фантастических арабесок и легенд. Рассказывают, что, учась в шестом классе, он привел в школу лошадь, а учась в восьмом, — женщину. Лошадь, которая с трудом протиснулась в двери, долго ходила по гулкому вестибюлю и крашенным салатной сиротской краской коридорам, пугая учащихся и учителей и испекая на каждом шагу по одному конскому яблоку. В конце концов, испуганная воплями нянечки, лошадь попыталась взобраться по лестнице, но ее, предварительно смастерив помост из досок, выпроводили в окно. С женщиной он заперся после занятий в директорском кабинете, но им помешал сам директор, приведший для этих же целей учительницу младших классов.

Наиболее известны и популярны две приключившиеся с ним в доканонический период истории, одну можно назвать «Почему этот человек еще жив?», а вторую — «Заповедное место». Кинооператором он стал в армии, куда попал после того, как ушел с последнего курса Гнесинского училища по классу скрипки из-за травмы руки, ибо больше не мог рассчитывать на рост своей техники. Сняв в армии документальный фильм, он то ли послал его на конкурс, то ли, отслужив положенное, заявился с этим фильмом на студию и после просмотра был зачислен в штат. Став оператором для особых поручений, он по заданию военного ведомства делал съемки посещения какой-то особо запретной зоны делегацией командования. Вся территория была заминирована, за исключением нескольких отмеченных белыми плитами дорожек. Съемки проходили зимой. Снимал он, пятясь от надвигавшейся на него делегации, и, не заметив, как сошел с дорожки и сделал несколько шагов по целине. Его остановил сердитый окрик какого-то генерала, недовольно указавшего на него командиру базы. Ткнув в него пальцем, генерал раздраженно закричал: «Не понимаю, почему этот человек еще жив?»

Вторая история также была связана со съемками где-то в Сибири. Из-за непогоды пришлось проторчать несколько суток на местном аэродроме, и приятель предложил показать ему одно заповедное место. Лететь надо было вертолетом несколько часов над необозримым лесным пространством в неведомую глушь. Вдали от каких-либо шоссе или железнодорожных путей, окруженная кольцом самой современной автострады, находилась затерянная в лесу небольшая деревушка, всего полтора десятка домов. Он не поверил своим глазам: не заросшие мхом избы, а прекрасные кирпичные коттеджи с современными верандами, холлами, гаражами, у каждого хозяина по паре автомобилей. Дома были обставлены по последнему слову современного интерьера: японские кухонные комбайны, посудомоечные машины, стереосистемы, кондиционеры, застекленные холлы, жалюзи на окнах, одетые «по фирме» жители. В день, когда они прилетели, в Доме культуры, больше напоминавшем концертный зал в Венеции, состоялось общее ежегодное собрание. На сцене — стол с пунцовой скатертью, все как обычно, председатель сельсовета делал доклад и подводил итоги. Жители занимались охотой и другими промыслами. Слушали вяло. Он пропустил момент, когда в заде что-то изменилось. Не вставая с места, чуть слышным ворчливым голосом, прореженным уютной хрипотцой, с одного из задних рядов бубнил какой-то мужчина в ватнике и ушанке. Кого-то распекал. Приятель толкнул локтем в бок: «Это он и есть, Хозяин». Каким образом Хозяин приобрел сокровища, почему на его деньги не могли наложить руку власти — неизвестно. Вроде бы десять лет назад, пойдя в тайгу, он нашел там клад. Вернулся, сдал, как положено, золотые монеты государству и получил свои двадцать пять процентов. На следующий год — то же самое. Он уходил один, в ватнике, с ружьишком и возвращался с набитыми золотом саями. За ним пытались следить — безрезультатно. Буквально растворялся в лесу. По самым скромным подсчетам он сдал государству монет на несколько миллионов. Себе не брал ничего. На его деньги был заложен Дэм культуры, построены коттеджи и дорога, чтобы односельчане могли по вечерам гонять по этой автостраде на своих лимузинах. Номинально власть принадлежала сельсовету, настоящим хозяином был он. Каждому он назначал свою дополнительную зарплату. «Ты, Сенька, что семью забросил и вечерами невесть где шляешься, дьявол? Лодырничаеть, блюдуешь? Никакой новой машины — и не проси. Заметано». — «Дядя Володя, так у меня кардан полетел и днище ржавое». — «Так ты же ее прошлой осенью купил? Надо было мастикой промазать, ручки приложить. Сказано, нет — значит, нет. До следующего года, там поговорим». Такому отбору подлежали все, не исключая секретаря парторганизации.

Каждому по заслугам, по труду и нравам. Сам он жил чуть ли не в землянке, совершенно безразличный к тому, что есть и где спать. Когда вертолет взлетел и набрал высоту, стали видны игрушечные домики, окруженные двумя восьмерками — большой и малой — автомагистрали, выложенные бетонными плитами. Заповедное место.

Подобных историй он знал бесчисленное множество. Одно время решил было писать роман, стал составлять картотеку, но ее отобрали при очередном обыске. Ему удавалось почти все, ибо родился, очевидно, под самой счастливой звездой. Самая лакомая натура для романиста. Почти не существующий и не существовавший в России тип удачливого практического деятеля, который жил и работал с вызывающим зависть экзотическим аппетитом. Ему не нужна была никакая Америка или Европа, он именно здесь был на своем месте и имел все, что хотел. Конечно, как человек очерченный буйным полетом фантазии, которой нужен простор, он, попадая на неблагодарных слушателей, наталкиваясь на стену непонимания, иногда на мгновение терялся, и лицо, вместо аристократической невозмутимости, приобретало оттенок какой-то детской растерянности: в такие минуты он походил на пупсика в вязаной шапочке, из кокона которого еще только должна была распуститься неумолкающая Шехерезада. Некоторых вводило в заблуждение разнообразие его интересов, ибо простыми натурами владеет иллюзия, что одаренный человек обязательно ограничен, как луч, который пробивается сквозь узкую щель и в котором, сверкая, плывут пылинки, но так чаще всего случается с теми, у кого талант, по словам Сидни Поллака, находится в «поюшей сфере муз» и не вырывается за ее пределы. Его действительно снедала страсть первооткрывателя — почти все равно чего: нового минерала, уникального способа записи информации или никому не известного гения; поэтому, когда он решил ввести в своем журнале литературную страничку и обратился ко мне с вопросом, кого я полагаю уместным опубликовать первым, я не раздумывая ответил: покойного Халлитоу.

Чем один писатель лучше другого, или, точнее, почему разные страницы вызывают разные по силе и цвету ответные пульсации, будто это не речевая структура и языковая сеть, а контурная карта иглотерапии? Я различал настоящего писателя по легкому раздражению, охватывающему душу, будто она обволакивалась облаком газированных пузырьков. Это облако затем переходило в почти болезненное покалывание, пока, наконец, душа не вздыхала полной грудью и не накатывало несколько нервное, но блаженное возбуждение: какое-то чередование теплых и холодных потоков, чьи дуновения буквально за несколько секунд способны были вызвать иллюзию обновления всего существа.

Что делать, если мы знаем только два блаженных состояния: соединения с собой и освобождения от себя.

До смерти Халлитоу знали всего несколько человек, и мало кто отдавал ему должное. Когда он умер, посыпались статьи, некрологи, о нем как-то сразу заговорили, сразу несколько издательств решили выпустить подготовленную им самим книгу, но вот прошло уже несколько лет, книги нет, да и о нем вспоминают все реже и реже. Он родился за неделю до войны и детство провел в Сибири, кажется, под Новосибирском. Один из авторов пространного некролога утверждает, что Хал (так звали его друзья) был баловнем семьи, как лейтмотив возникает мотив переодевания в любимую бархатную курточку. Она то снимается, то надевается вновь, рвется в торжественный момент по шву, некстати забывается в гостях. В ней герою то жарко, то холодно, а материал курточки — гладкий, нежный, переливающийся, очевидно, как-то соответствовал его впоследствии проявившемуся дарованию.

Другой мемуарист отмечает, что ни в одном отрывке прозы, который можно идентифицировать как автобиографический, не появляется облик отца. Возможно, отец погиб на войне, возможно, бросил семью и пропал без вести, но его отсутствие очевидно, как вспомогательная пауза, как вымаранный абзац или зияющее пустое место, вроде пропущенной ударной стопы. Бархатная курточка, женское воспитание, маленький барчук в провинциальной рамке. Не представляю тех спектаклей, которые Хал впоследствии поставил, но и в них, очевидно, было тоже что-то бархатное, намеренно слабое, чуждающееся световых эффектов, с акцентом на жест, мимику, разговорную интонацию. Он был учеником Ромма, режиссером и автором нескольких пьес в театре пантомимы, в театре глухонемых, в той театральной студии, что долгие годы вел. Один из мемуаристов утверждает, что, несмотря на разницу в возрасте (будучи, очевидно, гораздо младше Халлитоу) он, преисполненный к Халлитоу приязни, не мог отделаться от налета покровительственного отношения к нему, и достаточно остроумно замечает, что испытывал подчас удивленно-недоверчивое почтение, перемешанное со снисходительностью, какое у обыкновенного мужчины вызывает неожиданно талантливая женщина. А еще через три страницы признается, что вообще постоянно опасался своеобразной влюбленности Халлитоу в него, боялся оставаться с ним наедине, хотя и оговаривает, что в этой влюбленности не был уверен, да и, кроме писаний самого Халлитоу, никаких доказательств его гомосексуальности не имел.

Сразу после смерти Халлитоу неизвестно откуда появилось несколько женщин, каждая из них уверяла, что являлась чуть ли не его невестой или даже невенчанной женой. Одна из них, также подвизающаяся на

ниве изящной словесности, написала пьесу, не лишенную нескольких острых мест о Халлитоу и его образе жизни, где утверждала, что ее кумир почти равно делил привязанность между полами, отдавая небольшое предпочтение своему. Сам я несколько раз видел Халлитоу в окружении разных женщин, несколько раз он приходил провожать меня на вокзал, сопровождаемый очередной молчаливой незнакомкой, ибо в отношении к нему женщины вели себя восторженно, с преданностью и обожанием заглядывая в глаза. Очевидно, он действительно обладал магией воздействия на окружающих, отчасти используемой им для работы с заикающимися, которых он, как дефектолог, умудрялся вылечивать в несколько сеансов. Очевидно, на женщин (помимо известной притягательности таланта) производило впечатление соседство вспыхивающей на мгновение, как пульс, силы с присущим ему обаянием слабости, трепетности, подчас даже торопливой суетности; женщины считали его подругой, общение с которой таит приятные неожиданности. И, конечно, каждой хотелось победить его, полностью перетянув на свою сторону.

Сразу после выхода в свет «Колониальной ночи» полиция нравов попыталась возбудить против него уголовное дело «о растлении и совращении юношества», но доказательства так и не получили (если они вообще имелись), хотя были опрошены все члены студии и актеры, с которыми он работал. Весьма соблазнительной представляется попытка представить эротико-гомосексуальный подтекст его писаний, как изысканную мистификацию, разыгранную с блестящим и вводящим в заблуждение правдоподобием, тем более что страсть к розыгрышам и ложным ходам была присуща ему в полной мере (так, нарушая либеральное табу, он позволял себе провоцировать примитивные реакции антисемитскими и антиколониальными пассажами, тут же, правда, подсекая их под корень); но эти мистификации обладали прочной атласной подкладкой реального чувства, так что, скорее всего, в его писаниях есть все же привкус автобиографического свойства.

Хотя, как справедливо замечает автор одного пространного некролога (более, правда, сбивающегося на запоздалую статью либо признание в любви), Халлитоу строил свои произведения так, чтобы они вызывали иллюзию подлинного документа, скажем, доноса на самого себя, письма, отрывка из дневника или незаконченных воспоминаний. Не знаю, кому из писателей (и не только современных) удавалось столь точно воссоздать щекотливую иллюзию искренности, безыскусности, почти вынужденного признания у – несомненно вымышленных – персонажей. А достоверности пронзительно лирических откровений служили, конечно, те многочисленные грубо эротические, почти нату-

ралистические описания гомосексуальных переживаний и соитий, без которых хлопья лирических признаний смывались бы холодной водой недоверия. «Мыльная пена, — уверяет нас Б.У. Летт, — достоверна только на небритой щеке, как, впрочем, и кровавые порезы от торопливого бритья». Весьма остроумно один из мемуаристов замечает, что «грубыми деталями автор как бы спасает, уравнивает пронзительный и откровенный шепот раненой души, приводит в состояние неустойчивого равновесия чашечки разнокалиберных весов». Туда же отнесем такие писательские приемы, как намеренно «неграмотное» написание слов по слуху: «миня» (вместо меня), «мущина» и так далее, а также косноязычный и прихотливый синтаксис, создающий совершенно уникальную разговорную интонацию прозы, ориентированную не столько на просторечие провинциала, сколько на своеобразное дополнение жестом пропущенного слова. Вот это появление жеста, выраженного словом, в моменты «бессилия слов» и является, несомненно, ударной стопой завораживающей интонации, аккомпанирующей самой себе произвольной мимикой души, помогая толчками, рывками, заламыванием рук, чтобы добиться невиданной иллюзии достоверности. Однако я не могу согласиться с патетическим автором самого слезливого некролога, что «все вдохновенные произведения покойного достойны одинакового восхищения», и что несомненно настанет время, когда «отрывки из его стихов и прозы будут заучиваться школьниками наизусть». Суть не в том, что не все его опусы нравились мне одинаково, и я не уверен (хотя после смерти Халлитоу не перечитывал его сочинений), что целиком способен принять даже лучший из них. Просто я полагаю, что трудно сыскать писателя более противоположного читателю, ищущему в книжках устойчивости либо подтверждения правильности своих убогих жизненных правил, чем Халлитоу.

Однако для меня это не компрометирующее противоречие, а извинительная подробность, та ложка дегтя, которую неукоснительно затягивает водоворот любой бочки меда. Мы встретились с ним на миг, чтобы тут же разойтись, как створки раскрываемого веера: он пытался литературе привить форму документа или пронзительной исповеди, в то время как другие в реальном персонаже смаковали пародийные черты литературных героев, а жизнь представляли в виде исчерканного писательского черновика. И несмотря на все возможные оговорки (а может, и благодаря им), я считаю его восхитительно изысканным писателем, состоявшимся на зависть и недоумение всем, не вопреки неожиданно стремительному выходу за дверь в мир иной, а именно благодаря ему.

Это изумительное чутье, присущее только тонким натурам, уметьйти тихо и непринужденно в самый подходящий момент. С мрачнойвеселостью подчеркнул я заключительный абзац одного из некрологов, в котором автор достаточно безапелляционно восклицал, что вот «еще один поэт погиб от недостатка воздуха, не выдержав неравной схватки с железной жизнью». Ничего не поделаешь, приходится согласиться с известным высказыванием С. Льюиса: «раз пока у человеческого рода сто процентная смертность, то нечего особенно удивляться, если это происходит рано или поздно». Исполнить сцену смерти с таким неправдоподобным вкусом удастся немногим: солнечным июньским полднем, идя по центральной московской улице с тонкой папочкой под мышкой (это была ночью законченная пьеса, построенная на стропилах старинной сказки Одоевского «Городок в табакерке»), он внезапно упал и, несмотря на свой «виюновский возраст», через несколько минут умер. Окружившие его москвичи с недоверием наблюдали судороги и рывки ног, считая, очевидно, что молодой светловолосый человек с лицом «юноши-инока» (еще один образ из уже упомянутого некролога) просто перебрал лишнего, как говорится, с бодуна, и мистифицирует их, желая вызвать неза заслуженное сочувствие. Кстати, ему действительно удавались совершенно неожиданные для окружающих пассы: когда однажды участковый милиционер принес ему повестку, он, открыв дверь и увидев знакомый мундир, упал в настоящий обморок, столь соблазнительный для особ в интересном положении, и банально усатому участковому пришлось хрестоматийно прыскать холодной водой из кружки ему в лицо и расстегивать тугой воротник.

Следующие несколько писем приводятся нами не столько потому, что имеют непосредственное касательство к вышеописанным событиям и в той или иной степени характеризуют действующих лиц (и одновременно являются доказательством существовавшего между ними эпистолярного моста), но потому, что предлагают несколько иную версию, ибо являются непосредственным откликом на случившееся. Автору первого письма* принадлежит честь быть первым автором

* Этот неожиданный и не вполне оправданный переход к повествованию от третьего лица вместо повествования от первого полностью лежит на совести профессора Зильберштейна, настаивающего на том, что только таким образом он в состоянии воспроизвести «игру стилем», свойственную нашему писателю, и одновременно помочь читателю переварить столь разнообразный материал. Мы советовали совместить образ автора писем к Халлиту с образом Ральфа Олсборна, но профессор Зильберштейн наотрез отказался это сделать, ссылаясь на научную добросовестность, не позволяющую ему заниматься текстуальным подлогом (прим. изд.)

статьи о Халлитоу (которую Халлитоу, правда, сам так и не увидел), и, как утверждают те, кто перебирал архив покойного, последнее, что он писал, — было его письмо к NN. (обозначим таким весьма тривиальным образом нашего адресанта). Письмо незаконченное, и нам до сих пор неизвестное, ибо теперь этот архив практически никому недоступен. Письма приводятся с небольшими комментариями и сокращениями личного порядка, не имеющими отношения к затронутой теме.*

Мы начнем цитировать это письмо, являющееся, очевидно, черновым вариантом будущей рецензии, как раз с того места, когда прелюдия обязательных экивоков и приветствий истощила себя, оркестр настроился играть всерьез и без околичностей принялся за дело.

«У меня возникло желание написать кратенькое предисловие к Вашим стихам, — пишет NN. строгим, и мы бы даже сказали нравоучительным почерком, — а затем предложить «все вместе» для публикации в одном колониальном оппозиционном журнале. Признюсь, что понимание Вашей поэтики приходило ко мне некими волнами, каждая из которых как бы «срывала очередную туманную оболочку, пока суть предмета не обнажилась полностью».

Как и любой читатель, уважаемый г-н Халлитоу, я считал, что «знаю», каким должен быть настоящий стих. Плотная, без пустот и междуоконной ваты, поэтическая строка; звенящий хрустальным боем словесный образ; своя собственная авторская поэтическая интонация — легкая зыбь на водной поверхности. Любителю русской колониальной поэзии XX века трудно прочитать Ваши стихи, г-н Халлитоу, и не удивиться. Действительно, они производят странное впечатление. Вместо плотной, как строй, поэтической речи — мягкая, точно пуховая подушка, строка. Не освященные высокой поэзией разговорные слова падают свободно, словно идущий снег. Ухо напряженно ждет звонких и остроумных метафор — вместо них инфантильная скороговорка, поток сознания внешне ничем не примечательного рефлексировющего ума. А может, и не ума — недоумка? Вместо собранного в кулак, самодостаточного авторского мировоззрения — внутреннее монологи чем-то близких, а чем-то далеких друг от друга персонажей, объединенных мастикой поэтического пристрастия. Читатель колониальной поэзии привык, что здесь, так или иначе, мировоззрение лирического героя пытается, как объятие, замкнуть весь мир: для него характерна дальноркость, а

* Тем читателям, кого не привлекает перспектива погружаться в филологические дебри и кого более интересует событийная канва, возможно, имеет смысл перелистать эти письма или даже комментарии к ним, а затем сразу перенестись на страницу 42, продолжив чтение со слов: «Кто теперь, спустя годы и десятилетия...» (прим.изд.)

не близорукость. Сеть пленительных мелочей в колониальном стихе никогда не случайна: сквозь нее просвечивает истина. Поэзия – как животворение – озвучивала души благородные и возвышенные, наблюдательные и чувствительные. Для многих она становилась преградой наоборот: в нее могли войти только те, у кого дух был «высокого и стройного роста». Все мелкотравчатое шло рядом, мимо, проходило сквозь поэзию, как игла сквозь воду, не оставляя следа.

Априорные авторские и читательские представления о «прекрасном» никогда не совпадают полностью, а лишь находят друг на друга, как полы пальто. Однако ваши тексты, г-н Халлитоу, пытаются, как мне кажется, «вочеловечить» душу поэтически «мелкого» человечка, что-то среднее, если позволите терпкое выражение, между кретином и педерастом, и это не может не ставить в тупик.

Положим, я еще понимаю, что означает Ваше жалобно-плаксивое, напряженное переспрашивание в стихе:

Когда вас ждать? всегда вас ждать
Или совсем не ждать? – Нет, ждать, –
Не ждать или нет, ждать? – Да, ждать;
И ждать, и ждать, – и только ждать. – ·
И только ждать? – И только ждать. –
И не дожидаться? – Только ждать.

Но уверены ли Вы, что наш колониальный читатель почувствует ассоциативный укол узнавания в строчках:

Слава Богу, Бога нет.
Слава Богу, есть опять –

Да, для меня эти строчки, точнее даже не строчки, а, скорее, некоторая прорезь между ними, бритвенное лезвие пустоты, точка отсутствия, вызывают ощущение задержки дыхания, перебоя пульса, потому что я «вспомнил». Что именно, я надеюсь пояснить Вам при личной встрече, ибо опасаясь, что и так Вас слишком утомил. Позволю себе только одно последнее и вполне бесполезное предостережение. Берегитесь, милый Халлитоу, мне кажется, я ощутил беззащитное «солнечное сплетение» Вашей отнюдь не очаровательной музыки, но боюсь, что она вряд ли легко завоеует внимание не только массового колониального читателя (надеюсь, у Вас нет таких неостроумных претензий), но и читателя пронизательного: слишком они неожиданны для нашего русского глаза и уха.

Здесь конец цитаты, хотя автор письма-рецензии еще пытается высказать, на наш взгляд, несколько бесполезных опасений о том, куда могут завести автора стихов гипертрофированное развитие того или иного приема; правда, у него хватает ума для того, чтобы закончить этот не вполне уместный пассаж успокоительной ремаркой, что «это Вы и

без меня знаете». Последующая часть письма не представляет, как нам кажется, такого интереса, чтобы цитировать ее целиком, ибо автор берет на себя смелость рассуждать о прозе Халлитоу (правда, признается, что знаком с ней весьма поверхностно) и, хотя отмечает, что «в ней есть те почти невидимые узелки, на которых держится тонкая паутина прозаического кружева», но по сравнению со стихами (в чью глубокую тень она попадает) эта проза кажется ему более очевидной. И он опять обременяет себя и своего корреспондента советами, вроде того, что «чем более экзотична тема (очевидно, намек на гомосексуальную тематику Халлитоу. — прим. ред.), тем более ценны простые детали серой повседневности, уникальные мелочи и подробности» и уверяет, что исповедальное «ренановское» повествование (к которому он, очевидно, относит пронзительную прозу Халлитоу — прим. ред.) приличествует темам банальным и домашним, в этом есть гармония контраста.

Письмо второе (ответ Халлитоу) является единственным имеющимся у нас автографом покойного и, приводя текст, нам хотелось бы сопроводить его либо графологическим анализом, либо небольшим отрывком, демонстрирующим почерк автора. Письмо было написано на двух листах белой бумаги красными чернилами совершенно странным, невообразимым образом: почти печатные огромные буквы, с наклоном в разные стороны; веером расходящиеся строчки неустановившегося детского почерка, которые то съезжались и сужались, то топорщились иглами; вдруг буквы становились маленькими, крошечными, потом опять начинали расти; одна и та же буква, например, «р», имела, как мы насчитали, 4 варианта возможных написаний. Обилие небрежных исправлений и вымаранных мест; это было не письмо, а лакомое блюдо для ловкого графолога. Вот отрывок текста: «Как приятно, Вы бы знали, было Ваше письмо. Какая это поддержка, когда кто-то что-то о твоём художестве подумал, да еще потрудился записать, да еще когда автор (далее следует неумеренная, на наш взгляд, похвала корреспонденту). Ну, конечно, все, что Вы подумаете и напишете обо мне ли или о ком-то другом всегда будет (опять несколько сверкающих наречий, которые мы опускаем).

С удовольствием, с большим удовольствием прочел все Ваши соображения — и что это (мои стихи) мог бы написать герой «Лицея для умалишенных», и «ухо напряженно ждет звонких и остроумных метафор — вместо них инфантильная скороговорка» и т.д. Наверное, так это и должно восприниматься на фоне другой, известной поэзии. Насчет того, что «внутренние монологи в чем-то схожих и чем-то различных персонажей» — мне-то, как человеку лирическому, то есть сосредоточенному на своих переживаниях, вместо того чтобы видеть других

людей, — мне кажется, все, что пишу, — все это мои душевные движения и жесты, те или другие, — но, наверное, извне так и смотрятся — речью как будто персонажей. В стихах ли, в прозе ли, я не любитель Слова-Логоса, — вроде право за ним пусть только у Священного писания, а художеств. лицо (так в рукописи. — прим. изд.) да и научное — лишь та или иная частная карма с речами от субъекта. Кто бы что бы когда бы ни говорил (ни писал), я все равно вижу за этим субъекта и субъекта этих речей, с его психич. складом, с его речами-реакциями. И если настроения, реакции, сам психич. склад этого всего лишь субъекта попадает в резонанс с моим, восхищает меня, если я вздрагиваю от этих милых мне жестов, — для меня, читателя, парадоксальным образом эта художеств. частность будет все равно что Логос, и больше — потому что Логос это что-то необъятное, безличное, а тут какое-то именно то самое, что любишь, в нем чувствуешь всю милую единственную жизнь в самых ее наркотических точках и филологических (слово написано поверх другого, исправленного — физиологических. — прим. ред.) реакциях...

А последняя часть Вашего письма (что «писать на нашем языке — абсурд, потому что полтора читателя») — это уж Вы в горькую минуту — кому, правда, из нас не знакомую... Но Боже мой! если что-то у кого-то где-то получилось — мы же тут же узнаем все и набрасываемся — мне ли Вам говорить. Вот Вы пишете...» Но эта часть письма, очевидно, будет непонятна читателю, ибо является откликом на тот, опущенный нами конец первого письма, где его автор сетует на странное, как он пишет, «парадоксальное» положение, в котором оказалась современная колониальная литература. Весьма забавно выглядят ламентации, имеющие несомненно наивно идеалистическую подкладку, о том, насколько было бы проще существовать, если бы «талант соединился с благородством, а бездарность с душевной нечистоплотностью». А в действительности «все перемешано, как в дамской сумочке. Протягиваешь руку одаренному художнику, а он, оказывается, болен чесоткой самого мелкого тщеславия, обидчив и подозрителен; здороваешься поневоле с автором скучных наукообразных статей — а он добрый малый, не хватает звезд с неба, но надежен, как дубовый пень». И потому «приходится утешать жажду души не крепким вином дружества, а кипяченой водой охлажденного знакомства».

Не привели мы и странное деление по принципу акустического отклика, которого добивается у пространства проза и поэзия. Если поэт «со звонким птичьим голосом» как-то находит выход из положения (очевидно, имеется в виду отделение современной колониальной литературы от читателя), — «пою, когда гортань суха», ибо поэзия — жанр куда более портативный, коммуникабельный и, грубо говоря, естес-

твенный, то проза, по сравнению со стихотворчеством, куда более неповоротлива, «работа для потомства и будущего, конечно, благородна, но и высокомерна». И получается, что «говоришь в уши самому себе, а это почти то же самое, что не говорить, а думать» (неплохое сравнение).

А решение «устроить с Божьей помощью внутри абсурдного пространства собственный иллюзорный, но на некоторое время устойчивый мир, резервируя возможность работать, существовать и, не портя себе зрение, смотреть вперед», вряд ли возможно, ибо для этого должен быть талант «не столько к литературе, сколько к жизни, а наличие одного подчас отрицает возможность и наличие другого». Некоторые поэты стараются ни к чему не относиться черезчур серьезно и не смотреть слишком пристально, ибо «предмет расплывается тем, что открывает один за другим свои изъяны, которые не замечаешь, когда моргаешь либо смеешься» (возможно, слишком сильно сказано).

Третье письмо оповещает Халлитоу о том, что его стихи вместе со «статейкой» о них опубликованы, ибо автор «уже держал журнал со стихами в руках», а затем тщательно передает реестр различных отзывов о творчестве Халлитоу, которые он слышал за последнее время. При этом он приносит Халлитоу извинения за то, что редакция, «постоянно дрейфуя в сторону официоза», на свой страх и риск решила-таки заменить одно слово в одном из текстов Халлитоу. И вместо строчки «Слава Богу, Педро умер», получилось: «Слава Богу, NN умер». Это письмо осталось недописанным, оба корреспондента одновременно писали друг другу письма, но если первый не успел кончить свое письмо по весьма простительной причине, так как просто внезапно решил отойти в мир иной, то второй не успел дописать, ибо узнал о кончине своего корреспондента. Вместо этого письма, дописывать которое, очевидно, уже не имело смысла, он пишет другое, московскому приятелю покойного, письмо осталось неотправленным, и точно выяснить его адресат нам не удалось. Инициалы, молниеносной ящеркой мелькающие где-то в конце, наводят на мысль, что возможным адресатом был чуть ли не сам г-н Прайхоф, но точных и достоверных доказательств на этот счет мы не имеем.

«Давно собирался написать Вам, но жизнь трескается прямо на глазах — только вроде держал в руках целый кусок, как уже остались одни черепки. И дело даже не в том, что бывшее целое — уже некогда скленное блюдо, странно другое: даже осколки кажутся теперь чужими.

Возможно до Вас, милый друг, доходили горестные известия из другой страны, иного мира: они всегда почему-то кажутся вымышленными, литературными, и все прибывающее наводнение подробностей

строит фантастическое сооружение из прозрачных рыбьих косточек и хрящей — воздушно, но, кажется, тронешь пальцем — и окажется неблыщей. Я не хочу сказать, что любая смерть нелепа: подчас, задним числом, человеческий конец — изысканная закрывающая скобка. Но в смерти непризнанного писателя, отдавшего литературным занятиям два десятка лет и неопубликованного, неизвестного читателю, как бы несуществующего, есть какая-то особая неловкость, что-то не имеющее названия, какая-то пустота, которой, конечно, никому в голову не придет давать имя.

Не я первый ощущаю исчезновение близкого, любезного душе человека, как выдох и вдохуже меньшей силы: будто бесцветная кислота выжгла в памяти белое контурное пятно, и ничем его не заполнишь, ничто туда не впишешь, не заменишь контуром другого лица... Конечно, моя потеря не может сравниться с потерей близких, но я очень трудно схожусь с людьми, дистантен по натуре и потому особо ценю ощущение близости, если оно возникает, а того, кто ушел, сразу ощутил, как человека родного себе, теплого, тем более, что он и был такой на самом деле. А топография жизненного пространства такова, что жить приходится среди чужих людей, а те, кто кажутся родными, далеко уходят, уходят за границу памяти, уезжают, поселяясь в узких почтовых конвертах и телефонных трубках, или вот просто умирают...

Здесь, в нашей Сан-Тьерре, на Богом забытом острове, пунктир одиночества — естественный и привычный контур обособленного бытия, а теперь, при всеобщем разброде и распаде дышать разряженным воздухом все труднее и труднее... Жизнь начинает разваливаться по пунктирным мировоззренческим границам, ранее проступавшим, как малозначительные линии на контурной карте, что сейчас, похоже, превращаются в непроходимые стены. Возможно, начался какой-то новый период, и после водораздела сиамские близнецы, вроде бы сросшиеся спинами за долгие годы тесного товарищества, выйдут, не глядя друг на друга, будто незнакомы, и пойдут в разные стороны.

Возможно, что для жизни и для литературы нужны разные климатические условия. Писателю полезен холод одиночества и странное неодоушевленное пространство вокруг: тем более ему есть смысл работать не по прихоти души, а во спасение ее. И клубится, милый друг, облаками Ватто жаркое дыхание на морозном воздухе, отогревается, отпотевает лунка на заледенелом стекле, и можно прижаться лицом к прозрачному глазку и смотреть, как на хрустальных кристаллических подмостках живут и копошатся фигурки, играют в изысканные и грубые слова и ткут своими пульсирующими шагами с первого взгляда непонятный, но изумительный узор; сесть на корточки, смотреть сквозь

голубой глазок оттаявшей лунки и не насмотреться. Но тело, куда от него денешься, засыпает на морозе, словно вытасченная из воды рыба; и, оказывается, нельзя сидеть так долго, а надо встать и размахивать руками, и делать совершенно нелепые – если смотреть со стороны хрустального литературного мира – движения только для того, чтобы по-рыбьи не заснуть, не превратиться в беззвучный кристалл. Но холодно, дружище, пальцы стынут».

Мы не будем приводить вторую половину этого послания, которое постепенно как бы забывая о своей главной теме – реакция на кончину их общего московского приятеля, сползает на уже понятные читателю вариации и ламентации, не вполне уместные даже в подобном литературном некрологе. Мы продолжаем дальше.

«Нас не удивляет, – пишет Сэмюэль Боргес, – когда молния выбирает большое высокое дерево с щедрой развесистой кроной. Но стоит только загореться траве и кустарнику, мы вспоминаем о лесе. Так и в жизни. Когда гибнет большой писатель, мы скорбим о литературе; но стоит только под колесо истории попасть писателю второго ряда, как поднимается стон о гибели человека».

Кто теперь, спустя годы и десятилетия, помнит о Жане Трика, некогда самом близком приятеле своего тезки Халлитоу? Ни одной статьи, два-три неловких и бессердечных намека, мало что говорящие не только широкому читателю, но и знатоку, пара строк в пожелтевших от времени каталогах двух разорившихся издательств, несколько туманных упоминаний в добросовестных и неинтересных обзорах литературы прошедших десятилетий; пожимание плеч при вопросе: «А что бы вы могли сказать о таком-то и таком-то?»

«Что может быть поучительного в судьбе неудачника, не справившегося с собственным страхом, – сказал о Жане Трика Жюль Попп, давая интервью в аэропорту перед отлетом в Кельн на очередной конгресс соотечественников».

«Я никогда не считал, что из него выйдет не то что создатель «народных романов», но даже второразрядный беллетрист», – пишет нам г-н Хануман в ответ на соответствующий запрос. «Да, одно время его действительно считали подающим надежды автором «народных романов», – сказал г-н Прайхоф, но, как видите, из этого ничего не вышло. Однако я признателен Трика хотя бы за то, что именно его арест привлек внимание к нашей «Колониальной ночи», одним из авторов которой он был».

Однако по мнению обозревателя кропотливой «Гардиан» Генри Мак-Милона, «ставший теперь библиографической редкостью альманах «Колониальная ночь» вообще, возможно, не увидел бы свет, кабы не те

неуловимые движения в воздухе, которые всегда возникают в потревоженном пространстве, если пешка, дошедшая до королевского фланга, вместо того, чтобы стать ферзем, обретает ореол мученика».

«Конечно, о нем теперь не вспоминают даже те друзья, что — да разве же это друзья! — отвернулись от него, как от прокаженного. Но ведь у него был период — нет, не славы, но, знаете, вдруг он сделался всем нужен и интересен, а потом эта ужасная ночь, и все, все стало совсем другим», — так сказала нам бывшая жена Жана Трика, которую мы нашли на съемочной площадке одной, увы, заштатной киностудии.

Но в третьей записной книжке Ральфа Олборна мы читаем: «Если кончина Халлитоу стала той мистической ласточкой, возвращение которой в чертог теней лишь смутно намекало на необходимость быть готовым к крутому повороту событий, остроумно названных Гари Палмером «сменой воды в аквариуме», то арест Жана Трика явился для многих началом новой эпохи, сразу заговорившей не на языке косноязычных пророчеств, а с решительностью закрывающего ярмарку церемониймейстера».

Однако для того, чтобы понять, почему для многих этот арест явился хрестоматийным громом среди ясного неба, необходимо вывести на авансцену беглой рукой набросанные декорации атмосферы тех лет и описать, пусть и с неумолимой краткостью, что представлял из себя облик арестованного в глазах тех, кто отвернулся от него с трудно представимой легкостью.

Да, русская страсть к гармонии имеет естественную оборотную сторону мохнатого листа: здесь не любят неудачников, а особенно таких, которые долгое время ходили в одежде с чужого плеча, впустую растрчивая обращенное на них внимание и надежды, ибо ходили они в позе счастливиц, коим все удается, а потом, поскользнувшись, сползли к своей унылой роли неудачников, только раззадорив и разбередив жажду завершенности, столь свойственную русскому человеку. Судьба «дала петуха» (рус.), сорвалась на фальцет, а затем опять захрипела унылым тоном.

Жан Трика происходил из захудалого дворянского рода польских шляхтичей. Хотя сам он родился в лагере во время войны с французами, дед его владел родовым имением с колоннами где-то на юге, со всеми необходимыми атрибутами воспоминаний: уютным парком с аллеей, ведущей к проступающему сквозь листву особняку, конюшней, где грустные пони жевали сено с наивным хрустом, вечерними тасаниями на веранде под фортепьяно из-за закрытой двери, звуки которого перемешивались с лунным светом, плывшим через распахнутое в сад окно бильбока, духовые ружья системы монте-карло, обязательные

причуды старого хозяина. То он в связи с патриотическими порывами выпускает отечественную липучку для мух, для чего соскабливает с американской липучки вязкий слой и наносит свой, на медовой основе: то решает создать фирму по производству одеколона, в связи с чем в огромную ванну на кухне выливается добрая сотня флаконов лучших французских духов, туда же добавляются местные ароматические вещества, после чего содержимое опять разливается по тем же флаконам, снабженным, правда, уже другими этикетками; то изобретается вечный двигатель на основе английской сенокосилки, радиатора парового отопления и полуразвалившейся мельницы в заброшенной части парка. Ванна пахла французскими духами до самой войны, чемодан с липучками впоследствии реквизировали чекисты, а пьяного конюха, включившего однажды в полнолуние сенокосилку, поразил настолько сильный удар тока, что он вместе с этим странным сооружением упал в затянутый мелкой ряской пруд и чуть не утонул, ибо и до этого случая заикался на согласных, а сделав первый крупный глоток, стал заикаться на гласных, отчего его крики о помощи сначала приняли за брачные крики лебедей («блядей-лебедей» (рус.))* , как говаривал старый хозяин, щипля за сочную юную ягодицу милovidную горничную, подкарауленную им на темной скрипучей лестнице). А после того, как дурак был вытасен, он вообще потерял дар речи, став с тех пор немым до первых раскатов революции.

Лучшей главой в первом написанном г-м Триком романе стала глава о родовом имени и перламутровом, с проблесками и разрывами детстве, хранившемся в ящике воспоминаний. Сам огромный и раздутый, как покойник-утопленник, роман начинался с примечательного эпиграфа: «Лишь неразумный, отца истребивши, щадит ребятишек». Весьма пророчески, заметит какой-нибудь глубокомысленный читатель. Но прежде, чем описать свое рождение в лагерной больничке от дважды репрессированного отца и вольной женщины, умершей в родах, автор достаточно подробно описывает биографии своих родственников, дядьев и теток по отцовской линии, почти всем из которых предстояло в свое время пройти через очищающую душу зону (если, конечно, согласиться с поэтическим высказыванием г-на Килло о страдании, в котором, *как в щелоке, отбелится душа*). Автор сталкивает своих героев на полустанках запутанного сюжета, заставляя брата сражаться против брата, ибо пока один его дядя, бывший выпускник ришельевской гимназии, защищает свой родной польский город с фамильным замком на горе, то другой в составе оккупационных войск

* То есть лебедушек, или лебедей женского рода (*прим. пер.*)

берет этот город приступом. И, конечно, один дядя попадает среди сорокатысячного офицерского корпуса в лагерь под Катынью, полностью уничтоженный то ли французскими, то ли колониальными войсками. А другой — в тот же лагерь, что и отец героя, чтобы последний узнал об их судьбе в день окончания его первого лагерного срока. О себе автор сообщает достаточно скупо. Детство в глухой таежной деревушке, назначенной отцу как место ссылки, с населением, почти сплошь состоящим из «политических» и их жен. Аборигены недолюбливают ни их, ни их детей, которых по странной ассоциации зовут «евреиками» (сибирская модификация слова «жиденок»). Постепенно формируется комплекс неполноценности. Колючая среда, коллекция маленьких обид, ранняя политизация сознания и ореол чувства отщепенства. Отец, несмотря на две с небольшим отсидки, конечно, патриот в официальном смысле, ибо над его душой властвует шаблонный комплекс охранительства, понимаемого, как верноподданный поклон. Переводные картинки с портретами усатого начальства на круглых белых тарелочках на стенах. Изгой. До всего надо доходить самому. Первое прозрение. Мысли. Думы. Внезапная ранняя страсть к театру и гениталиям. Студенческие годы, театральная студия. Первый вуз. Высшие режиссерские курсы. Поставленные спектакли. Первый снятый фильм, получивший первую премию. Первые осложнения. Интрижки с актрисами. Увлечение литературой и номенклатурой. Служба в редакции. Первые публикации в малопочтенных изданиях. Богема. Эпоха разрядки. Первая жена, вторая жена, третья жена. Каждый раз словно в соответствии с графиками Константина Леонтьева: любовь, порыв, разочарование. Последней женой становится талантливая актриса тоже нелегкой судьбы, так что они понимают друг друга не только в постели. Еще одна хорошая главка в романе. Дремучее детство с пьяным отцом и верующей бабкой. Побои и походы в церковь. Заграничное трофейное пианино красного дерева с бронзовыми подсвечниками посреди убогой провинциальной утвари. Отец — отставник, уехав в командировку на Таймыр, пропадает на семь лет. Появляется неожиданно, начинается кошмар. Делает матери в присутствии пятнадцатилетней дочери, которая спит в той же комнате, еще двух ребятишек. Внезапно — внутренний голос. Пагубная страсть к театру. Для отца театр равен публичному дому за вычетом удовольствий. Однако уже поздно. Коробочка сцены похожа на церковь. Уход из дома и жизнь за кулисами, среди пыльных декораций. Сложная театральная карьера. Лучшая роль, сыгранная еще в студенческие годы, приносит славу, а затем долгие годы молчания. Ибо у актрисы некрасивая, хотя и выразительная внешность, а этого многим не хватает. Поверивший в нее режиссер оказывается педом и его

отправляют в места не столь отдаленные, но на длительный срок. Внутреннее горение, не находящее выхода. Подкравшийся зеленый змий ловит искренне несчастную душу в свои объятия и не выпускает долгие годы, пока не начинается второй акт заслуженной славы в нескольких столичных театрах. А пока суд да дело — изматывающая нервы интимная жизнь. Первый возлюбленный, второй возлюбленный, третий возлюбленный. Первый — высокомерный мальчик, музыкант-виртуоз, в которого она влюбляется без памяти, но гордые родители против. Его ждет великая судьба. Гастроли на Кубе, в Англии, Чехословакии. Однако внезапно несчастный случает ломает ему руку, столь необходимую для игры на виолончели. В порыве отчаяния он бросается под проезжавший рядом с консерваторией советский танк, который окончательно ломает ему позвоночник и судьбу и делает калекой и алкоголиком. Наступает ее черед. В припадке сострадания она выходит за него замуж, заступая на роль няньки. Ранее высокомерные родители ее боготворят. Однако калека оказывается крепким орешком, он регулярно напивается и избивает ее своей клюкой. Она терпит три года, а потом уходит ночью, не взяв ничего из вещей, кроме зонтика, потому что идет дождь. Пауза, означающая безвыходность. Антракт с зеленым змием, пока не появляется второй возлюбленный, известный врач-психиатр, почти гипнотезер, который влюбляется, увидев ее на сцене, предлагает руку и сердце, прозрев в ней чистое воплощение духа, но увидев ее в домашней обстановке, растрепанной и неаккуратной, в заштопанных чулках и с отсутствующей третьей пуговицей на халате, предлагает уехать вместе с ним в Америку, где его ожидает большое будущее, тем более, что у них уже есть общая дочь, а ее театральная карьера, кажется, на исходе. Она отказывается, понимая, что Америка для русской актрисы не более, чем мачеха, он уезжает и тут появляется третий возлюбленный, то есть наш герой, который расцвел в период международной разрядки, махнул рукой на возможность официального успеха и стал постепенно набирающим силу неофициальным литератором.

Здесь мы имеем возможность опереться на попытку более аналитического осмысления этой натуры (а заодно и его литературной деятельности), сделанную одним знакомым Жана Трика, в короткий период, как пишет этот мемуарист, «его расцвета и расправленных крыльев». Он познакомился с Жаном Трика, когда тот был на взлете. Белобрысый мужчина средних лет, с плешью, животиком, импульсивный, быстро и энергично говорящий и причмокивающий губами, с зачатками вальжжных манер. Не лишенный обаяния и приятности как собеседник. У него был написан роман, куча стихотворений и рассказов, пользующихся известностью и популярностью (особенно после ареста) у непритяза-

тельной московской публики интеллигентского толка. Не обладая ложной скромностью, он говорил, что напечатать сейчас его «Народный роман», он станет самым популярным и читаемым автором из всех. Миллионные тиражи и миллионные гонорары. Маркес умрет от зависти. Роман действительно был написан бойко, и вполне возможно, что ему сопутствовал бы самый широкий успех. Огромное произведение, находящееся на границе массовой культуры, политического памфлета и беллетристики. По большому счету это был не роман, а разросшийся до гигантских размеров раскрашенный сценарий. Трика был и оставался режиссером, со свойственным режиссеру видением и взглядом на вещи. К искусству слова это имело лишь косвенное отношение. Слово было самое непритязательное, упрощенное, грубоватое, но сам автор был неглуп, не лишен изобретательности, воображения, зоркости, смелости и композиционного таланта. Возможно, этот роман был первым развлекательным русским бульварным романом, предназначенным для той многочисленной публики метрополии, которая, будь это возможно, предпочитала бы «желтую прессу» всей остальной. Обилие примитивно поданной эротики, грубого изображения закулисной жизни театральных и литературных кругов, в лоб решаемых политических и философских проблем, незатейливых рассуждений и пикантных описаний и, наконец, совпадение незамысловатых переживаний героя с эмоциями среднестатистического читателя. И все это на фоне лихо закрученного сюжета с обилием вставок и отступлений: герой, нахрапистый писатель-диссидент, почти полностью лишенный каких-либо нравственных ценностей за исключением колючей неприязни к режиму и обществу, с родственной обывателю тягой к простым плотским радостям, описание которых столь же обывательски непритязательно. «С легким, приятным сопротивлением член вошел в ее влажное отдающееся лоно». Или: «Пока гуляли по квартире, Оля пару раз провела по арсениевой штанине, там, где колбаской вздувался член. Арсений, в свой черед, залез в пройму кофточки и с огорчением убедился, что на ощупь грудь как раз такая, какой представлялась на взгляд: жесткая». В литературном плане большинство жанровых сцен выглядело жалко, без обиняков говоря о литературной беспомощности автора, который внезапно предоставил себе полную творческую свободу и, естественно, растерялся. Автор только поскальзывался и поскальзывался на следующих чередой скользких местах, и, повторяя его походку, следом ковылял растерянный читатель.

Вот как написал об этом романе беспощадный Кирилл Мамонтов, когда несколько лет спустя «Возвращение в ад» стало наконец доступно колониальному читателю. «Русский язык по своей природе плохо

приспособлен для легкомысленных пассажиров и требует изощренности и изысканности при столкновении с ними, а особенно с легко испаряющейся эротикой. Это почти что правило хорошего тона: чем грубее и низменнее предмет, тем, для получения наибольшего эффекта, требуется более опосредованный, перефразистический и изысканный стиль. Просто можно писать только о простом. Нашему сотрясателю основ хорошо было бы почитать Габриэля Марселя или хотя бы Леви-Стросса, который доказал, что наибольшей аккумуляцией нежности обладают самые площадные ругательства, особым образом интонированные и ловко вовлеченные в роскошную, почти выпренную ткань».

Однако, читая этот роман, как наскоро расцвеченный сценарий, можно было при определенном усилии добраться до конца, не заблудившись в дебрях псевдо-экзотического материала, коим легко оперировал автор, на ходу перелицовывая пикантную артистическую и богемную московскую жизнь. Текст романа представлялся чудовищно плохим переводом, неряшливым подстрочником какого-то талантливого произведения. Фигуративно, композиционно и ситуационно подчас забавного, но бессловесного. Характерно, что в столичных литературных кругах к Трика относились скептически и подчеркнуто снисходительно. И не менее характерно, что он быстро добился популярности у непритязательных читателей. Трика был скорее писателем бульварного, западного, чем русского склада. Агрессивный, а не пластичный. Бойкий, многоречивый, пошловатый, а не циничный. С тягой к простым, а не сложным вещам. Без всякой метафизики. Без намеков и претензий на высокое. Все называя своими именами. Однако он обладал одним несомненно завидным качеством. Никто не умел так ловко использовать чужие советы, как он. Ему повезло, что он попал в компанию с людьми, щедро одаренными и относящимися к нему с непонятной симпатией. И здесь он держался уже без какого бы то ни было сомнения и апломба. Что называется: добрый малый и не педант. И, обладая удивительным трудолюбием, стал прогрессировать прямо на глазах. Рвал подметки на ходу. Любое дельное замечание схватывалось им слету и тут же воплощалось. Он переделывал и исправлял огромные куски текста за несколько дней. Фантастическая восприимчивость. Первоначальный и последний вариант отличались, как день и ночь. Он слышал, видел, чувствовал, как изменяет одно слово фразу, и фраза страницу. И если бы его не арестовали, то, чем черт не шутит, стал бы со временем настоящим писателем. Возможно, его и взяли в тот момент, когда он (а значит, и вокруг) почувствовал, что стоит на пороге чего-то настоящего.

Конечно, любители столь популярных в то время Хайдеггера, Кьеркегора и Ясперса продолжали относиться к нему с пренебрежением, считая Трика фантастически невежественным, а его сочинения бездуховными. Он балансировал на грани бульварной и серьезной литературы, и их не интересовало, что он все чаще склоняется к последней. Многие недолюбливали его за категоричность, негибкость. Вообще, если в кругу людей, которых он считал выше себя, Трика держался еще относительно скромно, то среди прочей публики изображал из себя эдакого маститого писателя, вальяжного, резкого, небрежно рассуждающего о чем угодно, невзирая на обстановку и обстоятельства.

Но по-настоящему стало понятно, насколько Жана Трика не любили, когда после ареста его знакомые стали получать странные записочки из Лефортово. Конечно, он болтал много лишнего, причем в совершенно недопустимом тоне. Разговаривая по телефону, затрагивал темы, которые ставили под удар не только его, но и собеседника. Следившую за ним охранку более всего раздражало то, что он слишком вольно общался с дипломатами, на проводе у него был то Нью-Йорк, то Париж, то Сан-Тьерра, он начинал приобретать международную известность, и налицо была неприятная перспектива, что, если его не остановить, то международную известность приобретет человек неуправляемый, самоуверенный, тщеславный и слишком смело себя ведущий. И, чтобы он не зашел слишком далеко, его притормозили.

Отчасти власти были спровоцированы почти открыто составляемым альманахом, где сам Трика был на вторых ролях, но так как он много болтал, то власти ошиблись и посчитали именно его наиболее опасным. Потом, когда дело закончилось, стало понятно, насколько они попали впросак: ибо взяли явно не того и совсем по другому поводу. Шла другая литературная волна, а они все еще отслеживали предыдущую. Не располагая нужными сведениями и, очевидно, после сигнала сверху, стали паниковать. В аэропорту Сан-Тьерры задержали одного идиота, который открыто собирал в богемной среде тексты и анкеты, тоже собираясь издать что-то свое. Тучи сгустились. Очевидно, Трика тоже что-то почувствовал, потому что за три дня до ареста, по телефону, который несомненно прослушивался, с запальчивым наймом отрицал какую-либо связь с тем чемоданом рукописей, что реквизировали у незадачливого коммивояжера. Слышно было плохо, говорил он так настойчиво, что можно было подумать, что он лжет, а он говорил правду.

Последним, с кем разговаривал Жан Трика, был высокий человек в очках, напоминающий циркуль, г-н Хануман, на следующее утро улетающий из Сан-Тьерры на Запад и не знающий, что первые месяцы за границей проведет в апартаментах бывшего публичного дома в Вене

и, разговаривая с приятелями из России по телефону, будет окружен со всех сторон мастурбирующими девицами в легкомысленных нарядах с соответствующими приспособлениями, вроде искусственных пенисов для онанизма или лесбийского акта с лампочками на конце, что глядели на него с цветных иллюстраций, раскленных впритык друг к другу на всех стенах, как и того, что в ночь его отъезда будет арестован совершенно ему неинтересный Жан Трика. Что ж — пора.

Так выходит, что события обычно следуют чередой, наползая друг на друга, как бусы, собранные на одну нитку. Вечером перед роковой ночью у жены г-на Трика состоялась премьера, где она была занята в главной роли и имела шумный успех. Актриса, ее все звали Люси, была возбуждена и опьянена ласковым приемом у публики: глаза ее загадочно светились и сверкали. Она была почти что красива и чувствовала себя на вершине счастья. Последние гости, уходя с поздравлениями, разошлись чуть ли не засветло. От усталости она заснула мгновенно. Звонок услышала сквозь сон, считая, что это либо позабывший зонтик поздний гость, либо еще раз звонит ее второй муж из Вашингтона с поздравлениями, и открывать пошел г-н Трика. Сквозь сон разъехались раздвижные двери и незнакомый голос произнес: «Люси, вставай!» — «Иди к черту!» — по московской привычке отмахнулась, не зная, что это были последние слова, которыми она проводит своего любимого в долгое путешествие по темному туннелю с коридорами, и перевернулась было на другой бок, если бы как-то странно севший голос мужа не оставновил ее: «Люси, вставай, они пришли!» И тут же хлынувшая толпа людей отгородила ее от мужа. Рухнули декорации вчерашней премьеры, вместо оваций скрипнула входная дверь, и она увидела фигуру милого друга в зимнем пальто и криво надетой шапке, мелькнувшей в дверном проеме на мгновение. Комнаты были полны незнакомых людей. Обыск продолжался двенадцать часов. Ей сказали, что Трика увезли для выяснения кой-каких обстоятельств, и когда он все расскажет, то вернется домой. А в это время ее муж сидел в кабинете прокурора и, очевидно, вспомнив какой-то западный фильм, заявлял, что отказывается давать какие бы то ни было показания без своего адвоката, которого у него никогда не было. Это был шок. Ему объяснили, что по существующему законодательству подозреваемый получает право на свидание с адвокатом только по завершении следствия. Он отказывался отвечать на вопросы как писатель, которому не о чем говорить с чиновниками. У него отобрали те предметы, с помощью которых он мог бы повеситься, и отвели в камеру.

Что его сломало? Очевидно, Трика представлял себе эту ситуацию совершенно иначе. Он, умный и смелый интеллектуал, будет вести

интересную словесную борьбу, своеобразную игру, где ему принадлежит первая скрипка, с робкими, лживыми и стесняющимися своей неправоты служаками, у которых заплетается язык от страха неминуемого возмездия, так как они понимают, что добром это не кончится, ибо преследуют настоящего русского писателя, имя которого переживет их потомков, и потому они трепещут и лукавят. Он не собирался поддаваться на их лезть и уловки. Им не удастся ни запугать его, ни заманить в ловушку. По всей Москве ходили рассказы об отступничестве отца Сергия, на проповеди которого валила вся интеллигентная Москва. Тот тоже ожидал, что на него будут кричать, топтать ногами, возможно, пытать, и он уже предвкушал мученический венец, только украсивший бы его славную биографию, в которой слишком много намекало на появление, возможно, еще одного святого в метрополии. Однако, его встретили вежливо, почти предупредительно, как доброго гостя. Отвели светлую камеру, более похожую на кабинет ученого. Любые книги по первому слову. Финская бумага. Пишущая машинка. Свежие газеты. Допросы более походили на светскую беседу или даже на проповедь. Он клеймил, увещевал, проповедовал, угрожал проклятием, ему смиренно внимали, поддакивали, заискивали, умилялись. Когда один из следователей вышел, другой как бы ненароком распахнул китель, показывая крестик, запутавшийся в дремучей шерсти. Кончая допрос, подходили под благословение. Как младшие со старшим. Как сыны церкви с пастырем. Против Бога ни одного худого слова. Напротив, демонстрируя завидную эрудицию и знакомство с писаниями отцов церкви. Да, да, светлое царство грядет, мы и не думаем мешать, у нас почти что те же цели. Но как же вы, святой отец, с вашей мудростью, не видите, что вашим прямодушием и честностью пользуются темные силы во имя сатаны и реакции? Разве не Христос сказал: Богу Богово, а кесарю кесарево? Что вы, никаких претеснений верующим, мы только против того, чтобы детей Божьих использовали темные сатанинские силы, направляемые злой рукой. Только во имя добра, но с соблюдением закона. Богу Богово, а кесарю кесарево. В конце концов отец Сергий подписал то, чего от него хотели, и совершенно ошеломленный, уверенный, что именно охранка собрала под своей крышей наиболее ревностных христиан, вышел на свободу. В телевизионном интервью он десять раз повторил имя Божье и проклял темные силы и свою гордыню.

Жан Трика ожидал чего-то подобного; с ним будут разговаривать уважительно, с запинками смущения, больше слушая, чем возражая. Он будет вести тонкую интеллектуальную игру, победа в которой предрешена. Он — честный писатель, не совершивший ничего дурного. Единственное нарушение закона: у него дома нашли копию

документального фильма о колонии, за который он получил премию молодежной организации «Унита». Оказывается, он не имел права хранить дома копию без специального разрешения. Господи, ведь все говорили ему, за литературу не арестовывали уже десять лет! Да и что ему могут по существу инкриминировать? Два проходных рассказа, опубликованных в «Материке»? У других-то книги, книги, книги. Анонсированная и уже набранная, но еще не вышедшая «Центральная площадь», где главный герой, актер, похожий на генерала Педро больше, чем Кирилл Лавров в гриме, совершает разные смешные и забавные преступления? Нет, у них нет никаких прав арестовывать его, они должны понять, что он их не боится, не на того напали. И, полагая, что его берут на пушку, по инерции продолжал вести себя агрессивно и высокомерно, не отвечая на вопросы, отказываясь давать показания, требуя адвоката. Трика не перечили. Равнодушно и сухо просили подписать протокол, если он отказывался подписывать, спокойно говорили: «Как хотите» и отправляли в камеру. Вызывали не часто. Держались формально. С легким оттенком презрения. Как вежливые люди с тем, кто подобной вежливости не заслуживает. Не настаивали. Не торопили. На не относящиеся к делу вопросы не отвечали. Передач и писем не допускали.

Никто не спешил. Из газет – центральная «Правда». Он мучился без курева, ибо денег на сигареты, по распоряжению высшего начальства, ему не передавали, сказав, что жена, очевидно, забыла. Это был единственный обман. Есть он почти не мог. Что еще? Камера на двоих.

Когда через несколько месяцев в Сан-Тьеру пришли первые слухи, что Жан Трика дает показания на друзей и знакомых, этому никто не поверил. Не может быть! Всегда вел себя с такой импульсивной жесткостью, с угрожающим рыком утверждал, что он им еще покажет, они у него еще попляшут, узнают, почем фунт лиха, пусть только попробуют (хотя не всем было ясно, что он имеет в виду). А тут вышло, что сотрудники секретной полиции разъезжают по городу с составленными в небрежном, рваном тоне записками, в которых он просил своих приятелей отдать служилым людям хранящиеся у них его рукописи и книги. На очных ставках Трика держался с вызывающим спокойствием, шутил, через стол переговаривался со следователем, просил сидящих против него приятелей или приятельниц перестать валять дурака и вспомнить то, о чем он просил. Ну ты разве забыла, как передала мне записку от Мак-Симона и то, что купила в Париже на полученный от него гонорар? Или, как ты, милдруг, по моей просьбе встречался с господином культуратташе Бельгии и передавал сверток с моей рукописью, завернутой в газету? Брось, я все беру на себя, тебе

ничего не будет, я обо всем договорился, и кивал на кивающего в ответ головой следователя с внешностью завсегда́тая публички. Приглашенные на очные ставки все отрицали. Жан Трика недоуменно разводил руками. Человека подменили. Его жена, приезжая в Сан-Тьеру, боялась смотреть людям в глаза. В России с ней почти все порвали отношения. Его колот, подмешивают в пищу какую-нибудь гадость, уверяла она, я читала, можно сделать почти безболезненный укол, а потом следователь побарабанит по столу пальцами, а клиенту кажется, что бьют по его голове палкой. Она плакала в зале ожидания Сан-Тьерского аэропорта и все повторяла и повторяла: я ничего не понимаю, ничего не знаю, почему именно с нами такое, ведь мы с ним сто раз об этом говорили, он не дурак: о себе трепли, сколько хочешь, но как же это так — подводить других? У нее был как раз пик славы, несколько спектаклей, бесперебойные приглашения сниматься, она моталась между Москвой и Сан-Тьерой, успевая доставать копченую колбасу и сгущенное молоко для посылок, которых ему все равно не передавали, проваливаясь иногда в кромешный мрак, двигаясь, как во сне; говорили, что играла она в это время непередаваемо.

Никто не знает, на что он способен. Очень многие в состоянии вынести самые удивительные муки, если только это длится не очень долго и происходит как бы на свету. Трика согнуло известие о введении в Мизингии военного положения, о котором он прочитал на третий день. Это конец. По газетным сообщениям нельзя было догадаться, что действительно происходит. Возможно, вообще уже всех арестовали или арестуют на днях. Мизингия была последней надеждой. Или начнется постепенное поступление теплого воздуха, пока, наконец, тепло не доберется и до них; либо похолодает так, что об этих морозах будут вспоминать с содроганием. Либо вверх, либо вниз, третьего не дано, на месте ничто не стоит. Раз Мизингию задавили (сквозь его мозг проявлялись переводные картинки гражданской войны, уличные баррикады, партизаны, горные мстители, повальные аресты, пока он отгорожен от мира четырьмя стенами), значит, либерализация похерена, западное мнение вынесено за скобки и скоро от той волны полусвободы, которая на своем гребне подняла их всех, не останется и следа.

Если бы у Трика имелась хоть какая-нибудь связь с внешним миром, если бы была разрешена переписка, или он хотя бы раз мог увидеться со своей женой или с кем-нибудь из приятелей и узнать, что, только его посадили, многие, рискуя благополучием, предоставили свои голоса в его защиту, только бы он продержался, не упал духом, остался человеком, — тогда, выйдя в конце концов из прямоугольника темноты, он стал бы героем. Героем? Не смешите людей. В том-то и дело, что никаким

героем он бы не стал, ибо героев попросту не существует, и Трика понимал это отчетливо. Совершать или не совершать подвиг (хотя и подвига не существует), жертвовать собой — дело личное и частное, не выходящее за пределы двух измерений. Как пишет Чак Бери: «В лице современного общественного мнения настолько дискредитирован любой человеческий поступок, любое человеческое деяние мирского порядка, как все равно ничего не меняющий акт, что даже поступок, ранее называемый подвигом, сейчас не только не вызывает восхищение, но даже симпатии, оставляя пространство равнодушным и вялым, как невозможно нагреть холодное море, кинув в воду горячий камушек». Ему ли было не знать, насколько скептически была воспринята интеллигентской и неинтеллигентской средой диссидентская возня нескольких нравственно озабоченных, хотя по старинным меркам среди них, определено, было несколько настоящих героев, а по современным — одни неудовлетворенные энергичные честолюбцы. «Подвиг девальвирован, а у любого поступка два конца: поступил плохо, потерял лицо — тебя будут презирать, не подадут руки; сохранил собственное достоинство — единственное, на что ты можешь рассчитывать, — это на свое собственное уважение. Никаких оаций, лавровых венков, триумфов, никакого внимания или поощрения». (Еще одна цитата из речи Ч. Бери на славистском конгрессе в Копенгагене). Ну, а у писателя в тюрьме еще более двусмысленное положение. Пока он пишет, то еще понимает, что совершает поступок, и честность приличествует ему не как одно из возможных достоинств, а как нечто само собой разумеющееся, вроде скелета для тела. И в то же время современный писатель, если ему свойственно рефлексировать в литературе, понимает, что современное произведение хорошо и неуязвимо именно в той степени, в какой ему удастся остаться в рамках литературы и его нельзя использовать как подсобное орудие в утилитарных целях (вроде того, как шоферы возят под сидением монтировку, чтобы огреть ею проявившуюся из неочевидного темного фона субстанцию нахального грабителя).

Мы уже говорили, что г-н Трика был полностью изолирован от внешнего мира, а те известия, которые были ему доступны, только подтачивали его уверенность в себе и понимание того, что происходит. Не раз мы упоминали и о том, что Трика, будучи достаточно честным и искренним в литературе, отнюдь не являлся эдаким вырубленным из одного куска человечеством, цельным и монолитным, суровым и непреклонным настолько, чтобы ему претили какие бы то ни было двусмысленные поступки. И ранее он, как, впрочем, и многие, мог позволить себе, наряду с серьезным увлечением искусством, что называется, снисходить до нехитрого, то есть писать исключительно для заработка:

пьеску, сценарий фильма, другие литературные мелочи. Ход рассуждений в подобных случаях таков: я делаю большое, серьезное дело — так сказать, дело всей жизни, но жить я тоже должен и хочу, не как последняя собака, значит, могу позволить себе пойти не то чтобы на компромисс, но, скажем, на такое деяние, в котором я буду не весь целиком, а лишь малая моя толика, скажем, моя левая нога, что тоже, надо сказать, немало. Пожалуйста, если вам так угодно, назовите это предательством самого себя, маленьким, крошечным, но все же предательством, но позвольте заметить, что категоричность, максимализм, эдакая непреклонная бескомпромиссность, тоже весьма уязвима, ибо она высокомерна. Возьмем, скажем, поэта Н., который на одном и том же письменном столе пишет строгие гражданские вирши для «Материка», откладывая их направо; и детские стишата, как бы для заработка, откладывая их налево. И хотя ему более импонирует роль настоящего взрослого поэта-гражданина, на самом деле он просто хороший автор детских стихов, ибо детские его стишата хороши, а строгие вирши никуда не годятся. Иначе говоря: ход для отказа от самого себя, пусть тоненький и узенький, но был уж проточен заранее, напоминая болезнь зубов под названием кариес. Раз в зубе есть черный каналчик, тоненькая трещинка, значит, это вопрос времени, жди холодного и горячего — пульпит обеспечен. А тут, представьте себе, сидит писатель в двухместной камере с соседом, которого подбирают с психологическим намеком (первую половину срока сосед ему пел об ужасах и невозможности выжить в лагере, если есть у тебя хоть капля достоинства и уважения к самому себе; а во второй половине срока, когда он начал давать показания, другой сосед, напротив, увеличивая его растерянность, утверждал, что все ерунда, и в зоне живут люди, где наша не пропадала, не горюй, фраер), и думает. Все ясно, они не торопятся. Пройдет двухмесячный срок, отведенный для следствия, они запросят еще два месяца. Пройдут эти два месяца, добавят еще два. Надо будет растянуть до года, растянут до года. Надо больше — будет больше. «Хорошо, предположим, я вытерплю, влепят мне за мой гонор семь плюс пять на острове Дасос, а это значит конец. Конец, тлен, смерть. Глупая, бесполезная, никому не нужная. Был бы я общественный деятель, делающий жизнь напоказ, чтобы своим примером возбуждать и облагораживать души. Так ничего подобного. Никакой я не деятель, а писатель. Слова писателя суть его дела. Я могу и буду писать, насколько хватит таланта, сил и прочего. Неизвестно, много ли мне суждено сделать, этого никто не знает, но если я сейчас (или там через пару лет) исчезну, значит, я не сделал ничего. Теперь второй вариант. Подпишу то, что от меня требуют. Скажу, где хранятся мои рукописи

и черновики, кто помогал переправлять их за границу и так далее. Чем это грозит? Да, возможно, у тех людей, которые мне помогали, будет неприятности. Но какого порядка? Уволят с работы. Если ездил за границу — запретят. Не больше. То есть на одной стороне весов моя жизнь и возможность сделать хоть что-нибудь стоящее, а на другой — мелкие неприятности для нескольких знакомых». Смогут ли это понять те, другие, кого он подведет, кто рассчитывает на его выдержку, смогут ли они подняться над собой и простить его нежелание умирать и все такое прочее? Очевидно, кто-то поймет и простит, кто-то не поймет и осудит. Может, когда-то и был какой-нибудь смысл в таком вот сидении писателя в тюрьме ради того, чтобы остаться непреклонным, и чтобы где-нибудь в примечаниях мелким шрифтом было отмечено, что, *несмотря на невыносимые условия и тяжесть положения, Жан Трика не потерял своего лица*. Если ему суждено сделать в литературе что-либо значительное, то этот эпизод останется лишь курьезной мелочью и вряд ли смутит его биографов, как факт, почти не имеющий отношения и не влияющий на литературные достоинства его произведений. Если ничего достойного ему сделать в литературе не удастся, значит, вообще все равно, ибо уж точно он не борец за справедливость, не политический деятель. Значит, так тому и быть.

И, — поторговавшись для вида, — Трика стал давать показания. И сразу все переменялось. Когда стало понятно, что пути назад нет, ему отдали все те посылки и деньги, что скопились к тому времени. Трика торговался до самого конца. Ставил условия. Он говорит все, что от него требуют, все до мельчайших подробностей (о тех, что он, конечно, помнит), пишет покаянное письмо или заявление, а, может быть, даже текст телевизионного выступления. За это его выпускают на свободу, устраивают на работу по специальности (театральным или кинорежиссером) и оставляют в покое. Он боролся за то, чтобы ему обещали, что у людей, которых он назовет, не было со стороны органов неприятностей. А в заявлении, которое было впоследствии опубликовано в одной столичной газете, не был упомянут ни один из живущих сейчас ни в метрополии, ни в колониях литераторов. По сути дела весь восьмимесячный срок, проведенный в Лефортово, был потрачен на редактирование опубликованного впоследствии подвала в «Вечерней газете». Писал Трика все сам; отдавал следователю; а на следующий день ему возвращали ксерокопию его текста с разноцветными редакторскими пометками. Вопросы, галочки, подчеркивания, волнистое недоумение, короткие ремарки и так далее. Он писал заново, сам торопясь закончить быстрее нудную работу и забыть этот кошмарный сон, отсыпался, думал о будущем, для развлечения кропал по просьбе соседа по камере

порнографический рассказ, впоследствии реквизированный и вошедший в тайную библиотечку для тюремного начальства. Трика не знал, что следствие с самого начала было в весьма щекотливом, незавидном, почти катастрофическом положении. Мало того, что уже после ареста они поняли, что взяли совсем не того — среднего литератора, ничем по сути себя не скомпрометировавшего. Даже по их меркам, ничего особенно криминального в его действиях не оказалось. Обыски совершенно ничего не дали. Не удалось добыть рукопись того единственного полукриминального-полушаловливого романа, опубликованного как раз во время следствия в «Материке». Политический процесс не вытанцовывался. На уголовный тоже ничего не тянуло. Как не искали, — какой-нибудь ошибки, проступка, нелегального способа зарабатывания денег, подчистки в документах и тому подобное, что должно было подчеркивать нечистоплотность их клиента, — ничего найти не удавалось. Поэтому не довести дело до суда, склонить его на полюбовное соглашение, — было для них делом чести, единственным приличным способом выйти сухими из воды. Если бы Трика знал, как нелегко давалось его следователям спокойствие, ибо их постоянно трясли, торопили и накачивали; знал, что никто из свидетелей не дал против него никаких показаний, и, значит, следствие на грани срыва. Если бы он знал, что почти сразу после его выхода из тюрьмы, будет объявлена амнистия, под которую, так получалось, попадал бы и он. Если бы Трика знал, что его не забыли, что, пока он сидел, опубликованы лучшие его вещи с самыми лестными для него предисловиями, благодаря западным передачам его имя у всех на устах, может быть, Трика поступил бы иначе, хотя не менее возможно, что он поступил бы так же, ибо гадать об этом тоже самое, что пытаться разглядеть свое отражение в блестящем хромированном ободе вращающегося велосипедного колеса судьбы.

Когда он, подписавший последний протокол, вышел сквозь ослепительно сверкающий прямоугольник света, то ощутил три быстрых сильных удара по глазам. Первым, как Бернамский лес, двинулся на него задний план в виде неестественно ярких зеленых куп деревьев с влажно-изумрудным сиянием; затем, торопясь, оглушительно шелестя шелковым платьем и на ходу быстрым незаметным движением поправляя чулок, прямо в омут дребезжащей улицы с гудением машин и фырчанием моторов кинулась рослая русалка с развивающейся гривой волос — он протянул руку, у него перехватило дыхание, но в следующее мгновение она уже выходила на берег противоположного тротуара живая и невредимая; и тут он чуть было не споткнулся о странное, жирное диковинное существо с огромными белесыми усами и вертикально растянутыми зрачками — он не испугался, пытаясь вспомнить,

что это такое — недовольно мяукнув, облезлый толстый зверь скрылся в черном зеве ближайшей отдушины.

Как вытасченный из воды утопленник, целый день он открывал и радовался неожиданным сюрпризам — дивному строгому и глянцевитому запаху, исходящему от впервые увиденной собственной книжки, изданной «там»; новому, забытому вкусу роскошной домашней стряпни на раздвинутом, как в праздник, столе; звуку голосов друзей и приятелей, которым он без всякой утайки до ночи рассказывал о всем пережитом, счастливо булькая и причмокивая губами, ощущая себя вернувшимся домой после рискованного и затянувшегося путешествия.

Друзья ушли от него на рассвете, честно говоря, недоумевая. Трика, казалось, почти не изменился. И — точно — ничего не понял. Неловко, по-детски радуясь, как вернувшийся после смерти. И не испытывая никакого раскаянья. В том же категорическом тоне упрекая этого и того, коря пятого и десятого, обрисовывая то, что совершил сам, как само собой разумеющееся; уверенный, что любой на его месте поступил бы также, а значит, нечего об этом и говорить. Опять полный каких-то несбыточных и авантюрных проектов. Весь кипящий от нетерпения. Весело заикаясь от волнения.

Неизвестно, что от него ожидали. Возможно, уже готовили слова успокоения и уговоров в ответ на бурное проявление раскаянья: ладно, старик, не переживай, кто не оступался, с кем не бывает, да не убивайся ты так, вон Николай Николаевич — слушай, а прививок, уколов никаких не было? Ничего подобного. Трика выбрал убийственный тон, изображая усталого победителя, вернувшегося из трудного похода. За несколько дней у него перебивала половина Москвы, а затем поток незаметно стал мелеть, редеть, он не сразу все понял, пока неожиданно не показалось дно, и на этом все кончилось. Второй раз к нему никто не заходил. Он звонил по телефону, нужных приятелей-домоседов не оказывалось дома; словно попав под крыло эпидемии, каждый второй жаловался на большое горло; и почти все попали в водоворот неотложных дел. Неделью он терпел, затем стал настаивать, доходя до истерических искорок в трепещущем голосе, просил разрешения приехать самому, от встреч с ним уклонялись, придумывая теперь уже самые прозрачные отговорки, пока, наконец, один из приятелей, по случаю оказавшись в подпитии, с хмельной прямоотой не сказал ему по телефону, что он о нем думает.

Это был конец. Глухая, как пробка, изоляция. Полгода он выходил из дома только за сигаретами, да прогуляться с собакой. Поведение Трика обсудили в сотне телефонных разговоров и безоговорочно осудили. Из чувства сострадания с Трика общались: седой, усталый и снисходительный автор книги «Домашний юрист», теперь работающий

автомехаником в частном гараже Оклахомы, а тогда живший в чутком ожидании собственного ареста; Поль Лавсан, человек с весьма неопределенной репутацией, да бывший одноклассник и соратник по «Колониальной ночи», играющий с Трика в шахматы по телефону.

«Я хочу рассказать тебе о своей последней поездке в Москву – читаем мы в третьей записной книжке, – дождь лил всю неделю, я дважды умудрился промочить ноги, зонтик открыл уже в аэропорту на стоянке такси. Грустная пора. Марсель обозначает подобную ситуацию «положением, когда песочные часы перевернули». Кажется, что все потекло обратно, помнишь, в одном моем романе трубочка не выдувает, а втягивает в себя музыку? Ты был прав – возвращаться туда, где было когда-то хорошо, непростительная оплошность: все здесь как-то изменилось за этот год – сохлось, скукожилось, поскучнело, будто смотришь сквозь пыльные очки, которые лень протирать.

Но у Трика я все же побывал, хотя Жэнэ уверял меня, что это будет неудобно, да и не очень безопасно: якобы он подвергнут остракизму не столько в наказание, сколько из-за опасения рецидива. Я позволил себе усомниться, мне строго было сказано, что если я хочу лить воду в бочку без дна – узнаешь образность нашего друга? – то ради Бога, но говорить с Трика то же самое, что – ну, ты понимаешь. Я не возражал, но поступил по-своему, и позвонил Трика в первый же свободный вечер, который не заставил себя долго ждать в виду мокрых туфель и куда-то суетливо бегущего дождя за окном.

Представь, я не узнал голос Трика! Помнишь булькающую интонацию, будто у него где-то там, на уровне поджелудочной железны подпрыгивает крышка кипящего чайника? Поначалу мне показалось, что он не узнал меня. Я еще раз назвалса. Он говорил со мной настолько осторожно и неуверенно, будто выворачивал взрыватель из бомбы замедленного действия. Или касался подушечками пальцев раскаленной сковородки, пробуя, не остыла ли она наконец. Тихая, спокойная, бесцветная речь, словно убитая ногами тропинка. И при этом ожидание удара с терпеливой уверенностью, что не ударить его невозможно. Что они с ним сделали, наши борцы за свободу, ума не приложу – от него отвернулись все, совершенно, абсолютно, как по договоренности. Веселое слово «бойкот» – слава Богу, что для нас с тобой необязательны московские порядки. Ощущение от разговора по телефону было такое, что в доме кто-то умер, и Трика разговаривает с трудом и из вежливости. Мне самому стало неловко, я уже пожалел, что набрал его номер, но тут что-то в трубке затрещало, щелчок, и он так испуганно стал кричать «Алле, алле», боясь, что нас разъединили, что я не выдержал, и принял его приглашение приехать к нему завтра с утра.

Что тебе сказать — мне кажется, больше и труднее я не молчал никогда в жизни. Целый день непрерывного, жалкого, утомительного монолога — я не хотел прерывать его, ему нужно было выговориться, мне — понять, он рассказал свою историю сзади наперед, спереди назад, обсасывая подробности, как Жучка кость, постепенно поднимаясь, словно резиновая игрушка, которую накачивают ножной грушей. Несчастный, конченный человек, который не понимает этого, ищет виноватых, предъявляет претензии, укоряет всех на свете, кроме себя. С болезненной скрупулезностью (видно, что делал это не раз), подсчитал, сколько и в чем виноват перед тем или иным, и при этом требовал от меня, чтобы я согласился, что вызванные его показаниями неприятности не идут ни в какое сравнение с жизнью и смертью, а то, что срок для него означал смерть, он не сомневался. Теперь я понял — не то, что понял, но как бы смог стать на место наших с тобой друзей, когда они собрались в день выхода Трика из тюрьмы, надеясь, что он предоставит им шанс проявить благородство и простить его, а он повел себя так, что — выходило — прощать надо не его, а их. Как, почему, за что — мне стыдно, но я подумал, может, это оттого, что он поляк (знаешь эту польскую заносчивость: «Ещчонь Польска не сгинела!») Но тут же оборвал себя — нет, просто законченный интроверт, не способный взглянуть на себя со стороны.

Представь себе парадокс — пока он сидел, его опубликовали всего, до последнего рваного черновика: как же, кому неинтересно прочесть книгу, за которую человека посадили? А ему даже некому показать свои книжки, не с кем поговорить по телефону, и при этом такая наивность — «меня ввели в заблуждение, меня обманули, если бы я знал, как все кончится, то вел бы себя иначе». «Что, не писал бы то, что писал?» — «Не знаю, может быть, и писал, но не торопился бы все это показывать, а тем более печатать. Работал бы один, а почему нет, в тишине и затворничестве, как монахи живут, обтачивая каждую фразу, доводя каждую страницу до возможного совершенства. И только когда бы почувствовал — все, финиш, приехали, больше в литературе я ни на что не способен — взять и выйти из укрытия. Заранее ко всему подготовиться, знать, что жизнь больше ни на что не нужна, кроме как — ну, не знаю — рамки для своих произведений, что ли? А раз так — будь что будет». А я, слушая его монолог, все думал про себя, сказать Трика или нет, что так не бывает, что всем в жизни, хорошему и дурному, он, скорее всего, обязан своему кругу, который сварил его, как суп — горчит, в горле першит, а кушать-то хотелось?

Испросив разрешение, Трика начал читать мне те отрывки, которые написал за год. Мне было грустно и странно: то же самое, что и раньше,

проза балансировала на грани китча, опять какой-то памфлет, опять сложные упреки пространству, а я все думал, что прощаюсь сейчас навсегда с чем-то важным, неповторимым и чудесным; было жаль его, себя, всех нас.

Мы продолжали разговаривать, но уже под телевизионный фильм, где была занята его жена, сидевшая рядом, — робкая, молчаливая, потухшая, она старалась не мешать говорить ему с редким гостем, чтобы он наговорился впрок, насытился, перестал терзать ее и себя. В ней ощущалась та же болезнь осторожности, скованности, и, поверь, я не мог узнать нашу Люси, Люську, с которой мы так сблизились в Сан-Тьере, теперь мы опять были разделены осторожным «вы», ибо она боялась близости и откровенности, что так легко переходила в боль и муку. Фильм был глупый, проходной, неудачный. Здесь же сидела дочь Люси от второго брака, которая называла Трика папой, но при ней нельзя было говорить о тюрьме, ибо ей сказали, что папа был в длительной командировке. Старо как мир. Банальный вариант трагедии. Она задавала вопросы по ходу действия, Трика осторожно отвечал. Всем было ясно, что фильм плох, но он изворачивался, ему не хотелось обижать жену, он говорил, что это, наверное, такая режиссерская манера, что любая точка зрения имеет право на существование, можно снимать и так, отыскивал удачные места, успокаивал, что дальнейшие серии наверняка много прояснят. В словах не было свободы, все боялись неловким движением разрушить что-то хрупкое и последнее, что осталось. Они прижимались друг к другу с тягостным и неловким чувством, понимая, что больше у них ничего нет. Грустно и тоскливо. Я бы давно ушел, но боялся обидеть, не хотелось их огорчать. Наконец стал собираться. Трика решил меня проводить, я отговаривал, но он все равно пошел. Уже в дверях я вспомнил о жившем у них ранее спаниеле. «Да, а где ваша собака, как ее звали?» — «Атос, — он прижал палец к губам и оглянулся на дверь, — позавчера привязал у магазина, зашел на пять минут, вернулся, ни поводка, ни Атоса, Катька, понимаешь, очень переживает».

Была ночь. Темно. Снег. Хрустело под ногами. Быстро дошли до станции. До следующей электрички было порядочно, одет Трика был легко, я уговаривал его вернуться домой, он не соглашался. Ходили по плохо освещенному перрону, он все что-то говорил, доказывал, упрекал, укорял, мне не хотелось возражать. Ничего не понял. Наконец подошел поезд. Трика махал сквозь размытые пятна на стекле, поехали, размытое очертание сдвинулось, поезд набирал ход, я отчетливо помнил, как не раз уезжал с этой платформы раньше, полный впечатлений и надежд, наэлектризованный общением, у нас все было впереди, еще

был жив Халлитоу, они стояли здоровые и сильные, ничего не зная о будущем, кричали и беззвучно хохотали, экран окна сполз вправо, мелькнула рука и растерянное пятно лица, все кончилось. Последние фонари, поезд окунулся в дребезжащую темноту, почти пустой вагон, ночь новой эпохи, новой эры, думал я, думал, вспоминал, по инерции подбирая доводы, которые помогли бы ему что-то понять, цеплялся, но мысли соскальзывали, не находя опоры, помочь другому труднее, чем себе, никто, никому, ни в чем не может помочь. Жаль. Господи, помоги ему. Я закрыл глаза. Остановка. Вышел. Прошел под дряблым желтым светом фонарей, спустился с перрона и пошел к темноте.

Религия и литература*

Узкоспециальный характер нижеследующего материала вынуждает нас отметить его соответствующим указателем, дающим возможность читателю, чуждому утомительной стихии нравственных саморефлексий, по плавной дуге перенести в многообещающие объятия фразы «Теперь, спустя столько лет...», которой начинается следующая глава «Бесы».

Более того, бурный и стремительный процесс секуляризации, охвативший в последние годы не только Россию, но и все ее бывшие владения, очень быстро низвел религиозную тему с пьедестала основного шрифта в петит чисто служебных разделов, куда непосвященные заглядывают разве что в приемных зубного врача, либо желая последний раз убедиться в правильном решении, прежде чем полученная из рук настырного миссионера брошюрка навсегда успокоится на дне мусорного бака. Даже, казалось бы, вечная функция религии как «основного комментатора человеческого пути от жизни к смерти» и то теперь ставится под сомнение не только такими оголтелыми философскими умами, как Рене Гарр или Фридрих Васильев.

Так по данным справочника «Новая Россия в цифрах и красках» (изд. «Вся Москва») количество прихожан православной церкви в прошлом году вдвое превышало занимающихся дельтапланеризмом, а прихожан католических соборов и лютеранских костелов взятое вместе уступает числу впервые открывших для себя радости виндсерфинга.

Однако дело не только в том, что русской православной церкви не привыкать к ухаистой дороге, и не в том, что несколько нижеследую-

* Внимательный читатель не будет искать в этом месте особого комментария, а вспомнит о примечании, оставшемся на стр.32 первой части настоящей публикации (ВНЛ № 5) (*прим. ред.*).

щих цитат из некогда знаменитого справочника Карла Буксгевдена принадлежат времени, предшествующему не только последнему падению влияния русской церкви, но и предшествующему этому падению невиданному взлету интереса неофитов к религии, что придает всему последующему изложению особо пикантный характер. Писателю, как пишет Дик Баркли, «никуда не деться от пристального взгляда небытия, хотя небытие для него подчас не менее сладко и плодотворно, чем солнце для всех прочих».

Делая доклад на ежегодном римском симпозиуме «Верования и предрассудки современных писателей», профессор Стефанини утверждал, что «нет существа менее современного, чем писатель (как бы успешно не развивалось его прихотливое творчество, в жизненной плоскости любому автору не уйти от непреложного факта смертности)».

Всех смертных можно разделить на два класса, тех, кто в конце концов смиряется с неизбежностью смерти, и тех, кто всю жизнь пытается победить ее.

Как сказано в справочнике лорда Буксгевдена, писатель редко когда является существом гармоничным, для которого писание — лишь одна из возможных форм существования. Большинство писателей (как мы видим из приведенной князем Львовым таблицы в конце справочника) начинают свою писательскую карьеру с убеждения, что, кроме литературного труда, больше на свете для них ничего не существует, потому как литература есть лучший инструмент в борьбе со смертью. И до определенного момента живут только для того, чтобы писать, рассматривая жизнь в качестве ковровой дорожки, лежащей под ноги их писаниям.

Однако, как мы видим из следующей таблицы, подавляющее большинство писателей, добившихся успеха, в конце концов проживают (или даже лучше — *прожигают*) это убеждение насквозь, с неизменным сожалением понимая, что для смертных подобное убеждение не более, чем иллюзия. И после мучительного водораздела начинают, по словам Марио Пиранделло, «жить не для того, чтобы писать, а писать для того, чтобы жить» — то есть ставят известную форму вверх ногами. В соответствии с одной из заповедей, сформулированных князем Львовым для начинающих романистов: истинному писателю литература то же самое, что шест для акробата, балансирующего на канате над пропастью. Тем более — добавим мы — если этот писатель — колониальный.

Еще одна из таблиц справочника убеждает нас в том, что достаточное число колониальных писателей (как в прошлом веке, так и в нынешнем) не выдерживало состояния, метко названного Бейкером «очной ставки с литературой», и рано или поздно, пытались спастись от холода

одиночества, утепляя свои литературные изделия теплой метафизической или религиозной подкладкой.

Кому не приходилось просыпаться ночью для того, чтобы, как всегда с новой отчетливостью, понять, что скоро — год, два, десять — ты умрешь, жить осталось совсем ничтожную малость, самое лакомое, тревожное, неизведанное уже осталось навсегда в забытой гавани прошлой и беспечной жизни, а впереди, сколько бы образов и прекрасных слов не рождал ум, скучная серая мгла, где нет ничего и никогда — понимаешь? — ни-ко-гда больше ничего не будет. Пиши — не пиши, упивайся вдохновением, правь корректуры — тебя не будет больше никогда. Этот тихий ночной жутко-животный вой: «Я умру, умру-у!», с которым трудно справиться и самому изошренному уму, и родил в конце концов явление, метко названное Ральфом Олсборном «умственное христианство».

По мнению профессора Стефанини «умственное христианство» начинается с ощущения обделенности (приперченной запретностью) — может быть, поэтому нет для религии более удобного положения, чем то, когда она находится под запретом. Однако любой палиатив плох именно тем, что, обещая победу, почти всегда приводит к поражению. И в лучшем случае «умственное христианство» приводит старательного и трепетного интеллектуального неопита к признанию, что в интеллектуальной сфере для идеи Христа нет альтернативы, что по точности и неопровержимости с компасом его религии не может сравниться ни один путеводитель или указатель, но преодолеть интеллектуальный барьер он чаще всего не в состоянии. Его душа ощущает присутствие Бога, а ум покорен «умственным христианством», но соединить два берега без мощной искры, пробивающей предохранительную изоляцию, он не может.

Это весьма щекотливый момент (один из рецензентов игриво называет его пикантным), ибо, ощутив свое поражение, адепт «умственного христианства» неукоснительно попадает в легко уязвимое положение, открытое для искушений со стороны беса. Дело в том (и это доказывают приводимые лордом Буксгевденом диаграммы), что те, кто останавливался на пороге «умственного христианства», понимая, что дальнейшее от них уже не зависит (ибо обращение — это все же соитие, то есть движение с двух сторон), не получив знака, что они услышаны, не имея сил ждать, подчас начинали опасные попытки обратить на себя внимание, провоцируя молчащее небо, кощунствуя, как бы угрожая ему отпадением и предательством, то есть начинали еретический диалог с бесом. Или — по словам Томаса Мура — «кололи иголками нечто, чтобы убедить себя, что это нечто — живое».

Еще один раздел приведенной выше таблицы, с ехидным намеком набранный желтым шрифтом (хотя, возможно, цвет соответствует сохранившимся до самого последнего момента сомнениям, куда лучше отнести эту неутомную братию), состоит и списка авторов (список возглавляется великим Вильямом В. Кобаком), занятых поиском «гармонии-наоборот» (выражение составителя), то есть гармонии, построенной на отрицании традиционных ценностей. Иначе говоря тех, для кого «небо пусто, а тайна все равно есть» (примечание князя Львова).

Анализируя остроумные статистические данные справочника К. Буксгевдена, профессор Стефанини, говорит о двух основных путях приближения к истине (или борьбы со смертью): 1) через инструмент веры и 2) с помощью воспроизведения слепок (или эха) гармонии (на стр. 234 князь Львов называет это «обратным поиском фотографического негатива Бога»). Примечательно, что адепты этих направлений сведены им в единую таблицу. Таким образом получается, что перекрестие «умственного христианства» чаще всего приводит к открытой двери, за которой (как мы видим на диаграмме) начинаются две бездны: одна черного еретического провала, а вторая — бездна гармонии, которая напоминает безбрежное море проявителя с проступающим со дна неясно-прекрасным обликом.

Но, снимая груз с души, спасает ли вера писателя как такового, всегда ли покой благотворно сказывается на функционировании (такое слово найдено самим Карлом Буксгевденом) таланта, или же *смертельное беспокойство* является самым лучшим катализатором состояния, названного Ричардсоном «мучительным блаженством не-сушки». Прожелтевший, с загнутыми от времени страницами справочник лорда Буксгевдена молчит.

И хотя современное положение религии трудно назвать даже унижительным, настолько ничтожно ее влияние как на общественную, так и на частную жизнь, вряд ли этот вопиющий факт можно использовать в качестве аргумента в споре четвертьвековой давности. «Истинно говорю Вам: если зерно не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода», — такой цитатой закончил свой доклад профессор Стефанини на симпозиуме о «верованиях и пред-рассудках современных писателей».

(Продолжение следует)

Олег ОХАПКИН

НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ СТАНСЫ НАЧАЛА 70-х

Ночное плаванье

Плывет. Куда ж нам плыть?..

А. П.

Ни облачка, ни паруса, ни берега.
Далеко ль плыть? И где она, Америка?
Гляжу вперед за горизонты дворика.
Ни ворона, ни голубя, ни дворника,
Ни кошки нет, ни друга человеческого.
Гляжу вперед. Но ничего и нечего.

Такая ночь. Бессоницы история.
Я влип. Мигрень. беда, фантазмагория.
Передо мною звезды. Океания.
А комната моя — кают-компания.
Дым сигарет плывет синей покойника,
Да образы, как зыбь у подоконника.

Там яблоня в цвету, как приведение
В неоновом июня наваждении.
И не пуская мглу, твое предание
Мучительно, мой Пушкин, до свидания.
Ни полчаса для ночи, ни минуточки —
Все Муза упражняется на дудочке.

Все Греция, скитанья Одиссеевы,
Старинные пространства ахинеевы.
А мой кораблик утл, почти что лодочка.
Ни весел, ни руля, да в трюмах водочка.
Куда ж нам плыть?.. — Авось, куда и вынесет!
Вода тебя, пловец, как глину, вымесит.

И ты опять, творение художника,
Модель в руках портного и сапожника.
Так и всегда. Закурим, что ли, дурочка,
Душа моя, голубка, птичка, курочка!
Петух уже пропел свою заутреню.
Так что же ты вчера задумал к завтраму?

1968

Перед закрытой дверью

1.

Есть некий дом. Не дом, а храм.
Сей храм в Сионе, на Фонтанке,
С мемориальностью в осанке,
Открытый звездам и ветрам.

Туда ходил я по следам
Одной прелестной иностранки,
Там во дворе рыдал по пьянке,
Расстроенный, молился там.

Я прихожу туда, смущенный,
И пульс колотит учащенный,
И становлюсь, как прежде, свят.

И зрю: под куполом парадной
На штукатурке безотрадной
Я вновь невидимо распят.

2.

Я вновь, оболган и распят,
Молюсь в заплыванной парадной,
Где роспись гроздью виноградной
Из-под побелки смотрит в сад.

Там за окном деревья спят
В тиши осенней и прохладной.
Там кошка поступью балладной
Обходит двор сто раз подряд.

И, одинокий у колонны,
Я бью неистово поклоны
Перед квартирой 25.

Там женщина, моя святыня.
Она взяла чужое имя.
Но мне молиться, не пенять.

3.

Приду по мысленным следам
Души в район родной Фонтанки
Искать нетленные останки
Любви, которой не предам.

Любовь... Не помню счет годам.
Но иногда сочит из ранки.
Тогда сильнее нет приманки,
И все за встречу с ней отдам.

Забуду мать, заброшу лиру.
Пойду звонить в алтарь-квартиру.
Звоны, как колокол, звонок!

Плыви, мой благовест, над бытом!
Провой на языке забытом:
Воскресни, друг, я одинок!

4.

Есть в Ленинграде дом старинный
С мемориальной доской.
Я прихожу к нему с тоской,
Как ходят в храм с душой повинной.

Но сей рассказ не самый длинный.
Я не нарушу ваш покой.
Не возражайте же! На кой!
Мне дорог некий дом пустынный.

Там на небесном этаже
(С тех пор он третьим стал уже)
Жила красавица. Мой Боже!

Ее сосватал муж-спортсмен.
Но это все не суть, но тлен.
Она досталась мне дороже.

1968

* * *

Какое счастье слушать мир,
Впускать в окно газон, эфир,
Молву вселенской тишины,
В начале мая без луны
Внимать созвездью Лиры
В тиши родной квартиры.

Какое благо чай согреть
И чайник вылакать на треть,
Ленясь помыслить о делах
(Пускай работает Феллах).
Вдыхая время в туне
Весь май, затем в июне.

А то улечься на диван,
Как в оно время быдыхан.
Курить себе, открыв окно,
И сыпать пепел на сукно
Прохожего мундира,
И ждать кончины мира.

И ты услышишь, вот те крест,
Жук-древоточец мебель ест,
И воробья что стало сил
Клюет сородич алыгвасил,
Чему-то буйно рады,
Скворцы поют рулады.

И наслаждается трава...
В лесу казенные дрова
Растут покамест, не копят,
Галдят по-птичьи, шелестят,
Кормильцы атмосферы,
Древесного Пастеры.

Но из низин всплывает ночь,
И зренью звезд не превозмочь.
Финифтью залит небосвод,
И в нижней бездне с позолот
Небес иконостаса —
Лик непостижный Спаса.

И ряска рясой золотой
Мерцает, как бы под водой
Эфирной ткани темноты
В пруду, где молятся кусты
Небес изображенью —
Воды воображенью.

Все это вижу из окна.
Ночной рубашки полотна
Достаточно, чтоб телом быть,
И грудь дыханьем остудить,
И стать сознанием ночи,
Державой снов, короче.

И, в сердце прохладяя лень,
Увидев собственную тень —
Знакомый с детства силуэт,
Изглоданный трудами лет,
Под сенью небосклона
В сырой траве газона.

И благодарно созерцать
Как, самодержец, ляжешь спать,
Наследуя державный сон,
Отчизною со всех сторон
Восхищенный незримо,
Во власти серафима.

1969

Призвание

Я был с Тобой в земле Геннисарета,
Иначе, мне привиделось все это.
Я помню лов, который Ты затеял,
И столько рыб, что не держала сеть.
Тогда над морем Дух и ужас веял,
И Ты, как иступленный, жизнью сеял
Пустыню вод. Уж некуда нам деть
Избытка. Ты ж не шуткой разошелся
И множишь, множишь страшный наш улов.
Уж обе лодки тонут. Петр нашелся --
К ногам Твоим припал и, еле слов
Связать умея, просит: «Грешен, выйду
Из нашей лодки, добрый человек!
Остановись! Не будь на нас в обиде.
Не видели такого мы вовек».
И Ты Петру отвечивал: «Не бойся!
Отныне человеков суждено
Ловитве быть. И это вам дано.
Ты, Симон, в рыбьем весь. Пойди, умойся!»
И вытащили лодки. И пошли
Мы за Тобой. И что нам предстояло,
Когда искали пищу, а нашли
Все, что ее само в себе являло!

1971

Доживая до лучших времен

Доживая до лучших времен,
Жизнь, какой ни на есть, но своею
Назову, хоть назвать не умею
Подходящих для грусти имен.

Оттого, что назвался я – груздь,
То есть выбрал шесток, или как там,
Я узнал и смиренье, и грусть,
И готов к обвинительным актам.

Все сбывается, вижу, как знал
До того, как пришлось мне увидеть.
Всяк обидел, кто мог разобидеть,
И признал только тот, кто признал.

И теперь, озираясь вокруг,
Я доподлинно знаю, кто друг,
Кто завистник, даватель, гонитель.
Посети их, Никола Святитель!

Если лучшие ждут времена,
До чего доживая, покамест
Все тяжеле несущ бремена,
Я готов дочитать мой акафист.

Но за окнами хамство и мат
Покрывают мой шепот с лихвою.
Что им стои мой, хоть волком завую!
Я живу, и уж тем виноват.

И затем, что, рыдая, пою
Бессловесную песню мою.
Мне смиренье любовью зачтется
И во всех, кто поймет, отзовется.

И когда бы я вздумал роптать,
Жизнь моя эту грусть потеряла б.
Но едва ли усильями жалоб
Я бы смог эту скорбь растоптать.

Жизнь дается сама по себе
И едва ль поддается размену.
Если б мы доверяли судьбе,
То и грусти узнали бы цену.

Доживая до истины сей,
Я уж тем был подарен, что дожил.
Жизни ход сам себя обнадежил.
Знать, и сам я в порядке вещей.

1972

Тяжелые крылья

Все отнял у меня казнящий Бог..

Ф. Т.

Все отнял у меня Господь:
Любовь, надежду, веру в жизнь,
И, мышцей сокрушая плоть,
Изгнал меня из двух отчизн.

Все, что от юности моей
Во мне боролось и росло,
Подобно древу без корней
Повержено и сохнет зло.

Ни упования, ни слез,
Ни горечи, в которой грусть,
И более того, ни грез,
Ни горя — кара наизусть.

Лежу всей тяжестью души
В отчаяньи, отчалив что ль
От чаянья, в такой глуши,
Где слышать что-нибудь уволь.

Все отнял у меня Отец:
Семью, сочельник, елку, дом,
Здоровье, юность, наконец,
Во мщении Своем святом.

Одно еще оставил – дар,
То самое, с чего я гол,
Да тяжесть крыл, свободы жар,
Молитвы огненный Глагол.

Борис КУДРЯКОВ

ДРУГ ДЕТСТВА

Мокрый снег падал на асфальт под углом двадцать девять градусов. Иногда, при порыве, под углом тридцать.

Телефон медленно надулся и противно задрожал. Кому-то было скучно. Брезгливо подняв трубку с шутливой надписью сына «Внимание, враг подслушивает», Виктор вяло произнес: а-эл-ое-ео. На шнуре провода радостно дернулся голос: «Старикан, салют, это Геннадий Молотиллов! Как жизнь, давно не виделись, у меня с собой..., завтра день ангела, моего, завтра я занят, сейчас с тобой, я внизу, тебе никуда не деться, супруга дома? я – три звонка».

Это был товарищ по школе, с первого по восьмой класс, поклонник Есенина, Платона, и чуточку Гитлера. Друг по убишному детству, когда счастьем казалось нахождение в помойке иностранной мыльницы или, еще паче – журнала «Болгарские курорты».

В дверь звонили.

– Ну, как ты жив, старикан, – Геннадий оглядел Виктора, – голова усохла, а туловище стало конусом... Где здесь тапки, полы начищены...

– Можно босиком, счастлив видеть, я и забыл про ангела.

– Ох, эта интеллигенция, свободные духом, видите ли... Нет свободы от себя и от долга, как сказал Сократ. Помнишь наше увлечение древней Афиной?

– Проходи дальше, здесь супруга спит...

– Я все забываю, как ее...

– Я тоже...

– Значит вот здесь и живешь. Да-а-о, не густо. И книг мало.

Геннадий оглядел квадратную комнату: самодельный сервант, самодельная тахта. Неокоренной березы табуретки с веревочными – натягом – сиденьями. На стене висела карта звездного неба и карта Ближнего Востока. Таблица Менделеева. Украинский календарь с цирюльным инструментом. План города Одессы. Масса бумажных клочков с телефонами. Романтический плюш доброй змеей поднялся к потолку из-за железной солдатской койки.

– Обои переклеить надо, вентилятор над тахтой надо... У меня есть, давай на что-нибудь махнем, у меня есть...

— Махалово объявилось. Эти провинциальные закидоны брось. Знаем, как ты меняешь мыльницу на томик прижизненного Гейне!

— А че? На глупцах и земля стоит. Давай, неси посуду. И на кишку что-нибудь.

— Я сейчас на кухню. А ты — вон там — знаю, ретро любишь, ставь пластинку «Мы вели машины, объезжая мины». Или Пугачеву.

Принес черт и пить-то нельзя, отпуск кончается. Пойдут сейчас воспоминания, упоение сединой. А как тот? Где эта? Ладно, не удалось отвертеться — наука на будущее. Проходя с досадой и грибами, зло пнул телефонный столик.

— Я только спиртягу, шило по-нашему называется, по-пролетарски.

— Мне разбавить, — угрюмо попросил Виктор.

— Брось ты балду портить, — плеснул по семьдесят грамм, поднял тонкий стакан. — Давай, Генка тебя помнит, давай, старикан!

«Опять этот старикан, чуть ли не таракан». Расхотелось враз пить, но, увидев на себе свекольное удивление Геннадия, махнул ядовитую дозу: «Честный напиток, без вранья!».

— Ну, — Геннадий разбавлял желудок грибами, — что нового, сколько гребешь?

— Грубо как, гребешь, в морском клубе что ли?

— Ах, прости, мы же не любим простую речь!

«Мало принес выпить на двоих, будет гоношить еще, пока не запьянели, надо сходить», — думал Виктор, косясь предрасположенным к астигматизму зрачком.

— Ну и телевизор, газеты... следишь за жизнью в стране?

Простые вопросы, без экивоков, привычная — пять лет не виделись, а до этого часто — дружеская беседа, задушевная, можно сказать, обмен жизненными впечатлениями, почти братское чувство: вот пришел более чем товарищ — уверенный в юношеских увлечениях, вместе в баню подсматривали, поклонение Иву Кусто, в Кавголово в самодельных масках с самодельными подводными ружьями плывали в тогда еще питьевых озерах. Энтузиазм, костер, дождь, все сходило с рук и никаких драк, никакой жвачки... бедное и светлое отрочество, сколько надежд, Генка хотел стать художником, а Виктор кинорежиссером, почему бы и не директором ипподрома.

— Ну, как ты относишься к событиям в Караганде?

— Шахтеры, что ли?

— Да ты, батенька, равнодушен к политике?

— Нашел батеньку... Плевать хотел...

— Нигилистом, отец, стал. Я, признаться, тоже. Садоводство не купил?

— А ты?

— Странно отвечаешь, вроде и не еврей, и не дурак, а на вопрос — вопросом!

— Сыт коллективом с армии. Что садоводство?! Забор ставить нельзя, подвал должен быть открыт по первому требованию правления, газплита должна быть одного фасона, деревья толще десяти сантиметров спилить... Второй ключ от дома отдать председателю... Нее-ет. Огромный болт я на них, на эти садоводства забил...

— Ты и в школе такой был... Все в походе на лыжах гуськом идут, а ты отдельно лыжню мнешь.

— И все чтоб садоводы обихаживали землю, обязательно посадить овощ надо. Если я, скажем, по нетронутой траве хочу босиком походить и не желаю корчевать рябинки и сосенки? Прости за наив!

— Ты знаешь, я иногда в начале отпуска запиваю на 5-7 дней. Никого не хочу видеть, и жена не подходит. Такая ломота, такая удушающая непруха. И все вроде есть: руки, ноги, холодильник, новый диван купили, квартира вроде светлая, а вот не то. Будто песок вместо крови, просыпаешься от того, что подушку прокусил и из носа кровь кап-кап. Вроде и мать не пила, и отец трезвенник.

— Я вот — не гаси спичку — регулярно замокаю в пятницу. Не подходи к моему телевизору, сижу домашничаю, посидом, сушки ем... Субботу в халате хожу босиком, дома хорошо, жена что-то печет, я цветы полью на балконе, лейку сам сделал из нержавейки, я у тебя где-то тисочки видел, махнем на что-нибудь...

— На что?

Виктор курил у окна. Смотрел на идущего мужчину в шортах и теннисной ракеткой. Без удивления. Внимание Виктора вздрогнуло, когда теннисист открыл двери трансформаторной будки и, поднявшись, скрылся в этой будке, закрыв за собой двери. И все это в семидесяти метрах от окна Виктора, от его затяжки «Беломором», в который он по четвергам подсыпал молотых косточек «Вороньего глаза», косточек от ягод хмурых лесов, для ясности подсыпал в табачок, для снодрожаний наяву.

— Так на что махнем?

— У меня пивная кружка двадцатых годов. Зеленого стекла. Квасить дома из нее будешь, как при нэпе.

— А что еще?

— Да что еще-то, олифы три литра могу дать. Нет? Лист фанеры, шестислойка. Клея резинового нет? Подшивку журнала «Советский воин» 50-х годов.

— Идет!

- По рукам!?
- Ты бы жену пригласил на рюмаху. Неудобно...
- Пусть дремлет, невмочь ей мужские разговоры.
- А она кем работает?
- По всякому...

Виктор посмотрел на часы. Девять вечера. Совсем трезвые. Надо прогуляться за добавкой.

– Да-а, быстро годки летят! Вон ты седой, на лысине, да и я хорош сморчок, на майского прыгуна уже не тяну. Глухой октябрь. Живем – год за три.

- Такая наша Италиязия!
- А помнишь, как на барахолку ходили... чего там только не было!
- Сказка, удочки, инструмент, велосипеды!
- И мотоциклы!
- И куда это ссанье все подевало, все запретило, убрало?!
- Кому мешало? Теперь и галоши негде купить.
- Ладно, поклонник галош...

– Ну, вроде бутылевич опорожнили. Чуть губу раскатали. Надо добавить.

- Придется к бутлегерам идти.
- На пьяный угол, что ли?

Моросило. Снег таял. Огни власть еще не зажгла. Экономила. Скулящий отблеск светофора.

Неминуемая скользь рельс. Горожане хлебали щи и смотрели по ящику программу «Новости» – вечерний молебен авантюризму. Чай будет пит вприкуску с кровавой десятиминуткой Неврозова.

Знакомый хмырь в кепочке вышел навстречу из подъезда. Кивнул Виктору. Оглядел Геннадия.

- Водочку, портфешок?
- Что берем? – вопрос Гене.
- Банку белого.
- Паалста, тристадвадцать, – сказал хмырь.

– Вот триста восемьдесят, шестьдесят из них я тебе с понедельника должен.

– Гожон, – уважительно и твердо сказала кепочка. – Желаю успехов.

Хмырь уплыл за с номерным замком дверь. Сквозь щелку – обзор подходов.

Дома, едва открыв бутылку «Зверобоя», Виктор поставил пластинку «Читают мастера декламации». Мужчины закурили. Чтец невыносимо искренним голосом произносил, нет, выпевал какой-то загадочно полуумный текст: «Глафирушка как-то враз изменилась. Лицо прояс-

нилось, глаза и губы будто вновь родились и шепталось в волосах, непомерно волнистых, шевеление неба. Голос же стал глубоким и словно двойным, один для сердечных дадаков, другой для немоты — мощный и напряженный, как грозовые предмиги в июльское изнеможье, в тяготу духовитого дня».

Последовала музыкальная пауза — пиликанье скрипки. Мужчины чуть пригубили «Зверобой» и продолжили слушание граммофонной записи: «Глафирушка подошла к Федору и хотела присесть у его ног. Но вдруг встрепенулась и быстро вышла через светлую в сад. Глаза ее бросились за солнечным блеском на изумрудной листве, погрузились, засвербев, в тишину задумчивости. Федор хотел подняться, но что-то сдерживало на диване. Его душа металась между признанием и мужской молчаливой потугой».

Раздались весьма мелодичные звуки валторны...

— Чье произведение? — спросил Гена.

— Этикетка чернилами залита, эту пластинку я нашел у почтового ящика.

— Хм, странные находки.

— Чуть ли не сказки Бажова!

— Ба-жо-оо-ва-ва-а, — поддакнул гость.

«Глафирушка вся напряглась и вошла в баньку. Здесь она, — вся в холодном поту, — задрожала.

Слезы брызнули из ее глаз и вмиг погас крик, так и не вырванный из глубины души нежным чувством, дотеле...» — игла соскользнула, дрогнул смысл речи — «...Федор, чуть пошатываясь от злобы на свою нерешительность, прошел в гостиную, хотел принять рюмку ликера, но передумал и вернулся к дивану».

Валторна продолжала плавающие и зовущие звуки.

«Глафирушка наклонилась и прошла дальше в черное влажное обиталище. Под банной лавкой рос иван-чай, бессолнечье сделало его блеклым и призрачным. Она потрогала иван-чай за вершинку и вдруг покраснела, — Что со мной? — спросила, стыдясь своего голоса, Глафирушка.

Оконце в баньке чуть больше спичечного коробка, оно пропускало струю света и сизую задумчивость зеленой природы. Она погладила чутунный котел, чуть теплый от давешней бани. Прикоснулась к низкому сажевому потолку. Лицо ее снова прояснилось, будто что-то поняв в темноте среди дня чувств. Она потрогала самое свое ценное и успокоилась, что самое дорогое и нежное на месте».

Еле слышно заиграла скрипка.

— Поджарить лучка?

— Поджарить обязательно, — сказал Гена, — и хорошо б грибочков и чесночинку, да и уксус же у тебя есть, горчичка, хлеб не порезан.

Мужчины засуетились, а чтение загадочного и какого-то утешающего чувствами текста продолжилось: «Федор встрепенулся. Закрыв глаза, с желвачным напрягом встал. Встал и голос его решимости, отчего стало жарко и больно. Он прошел к бюро. Открыл ореховые створки с готическим витражом «Стадо овец на фоне затухающего вулкана». Налил бокал столовой воды. Хотел выпить залпом. Но раздумал. Зло выплеснул через плечо. Едко налил зеленоватый ликер в голубоватый стакан. Наконец вздохнул». Музыкальная пауза на этот раз заполнилась звуками усталого рояля...

Мужчины снова пригубили «Зверобой» и закусили кто что достанет со стола, было лениво и тепло.

Рояль добротнo закончил. Голос продолжал чтение: «Глафирушка забралась на самый полоч, не пожалела и белого платья, расшитого голубыми с розовыми крыльями фазанами и бирюзовыми цветами на фоне морозного или — нет — закатного вечера — обычного для далеких грезовых далей, ненашенских счастлих и безбедных восторгов. Не пожалела и своих чистых волос, впитавших уже копоть чужой отмытой грязи, дух неизвестных тел. Она задумалась. Улыбка лунной волной скользила мимо ее губ. Ей стало и плохо и рвотно. Тягота подступала снизу к груди, от груди к горлу. Потом эта тяжесть рушилась вниз. Ей было и ветхо и одновременно хорошо. Эти два чувства скользили друг другу навстречу, поднимаясь и опускаясь. Как две гири часов под кукушкой. Снова хотелось плакать о своем одиночестве. Но одиночества не было». Валторна и скрипка коротко поведали и подтвердили: одиночество везде, но не в душе Глафирушки...

Мужчины рассеянно листали кто газету «Увы и Ах» со склочными новостями питерских коммуналок, кто журнал «Огонек» с фотографиями орденоносиц — доярок и свинушек, собравшихся в мужских пиджаках и крендельных шапо-капот в далеком 1953 году, за самоварным столом, с чаевыми сушками (на них видны крапинки тмина и мака) смаковать собравшихся за чашкой кипяточного чая питательную деловитую беседу о судьбах кормооткормки и молочных реках, не говоря уж о росте благосостояния трудсельхозработника и духовном пике задушевных будней партячеек. (Ух — закончена фраза!)

Декламация с пластинки несгибаемо продолжалась: «Федор напряженно смотрел в окно. Хрипловатое сердце начинало отсчитывать светлоту заката. Закат качался в блестящих глазах, качался на росе яблока, висящего пятым снизу во втором ряду слева от земли на дальней яблоне соседнего сада, отстоящего от этого сада на шагов сто или

двести, потому что времени считать шаги нет и есть только ДА в плечах и твердой решимости ставшей настолько твердой, что одновременно и опасной».

Вечерний свет улицы хорошо повествовал близлежащие осязаемости. Ясно была видна трансформаторная будка. Снег присыпал следы вошедшего туда человека в шортах и с ракеткой. Обратных следов не было.

Виктор спросил себя, уткнувшись в резонирующее от трамваев стекло, глядя на падающий снег: что делает в будке человек — спит, садирует, чай распивает? Или читает Баркова?

Дружеская беседа прерывалась между мужчинами разве что поджаркой картофеля и мытьем вилок. Шел полодиннадцатый час вечера. Не совсем теплого для так называемой души, но и не вовсе обычного вечера, близкого уже к всегда кушечной ночи.

Фьюлай.

*Чистый лист, в конце, подпись и самостих
стих готовый; уши шелест берез, веник,
газета, рука немеет, сразу весело болит зуб
таккак так надо, вчера, всегда, сегодня, боль
еда невеста, вестимо ставрида, пирог изюм,
зима в манто метель в отеле, сковрига,
порог, сумятица мятлик, федосеевка, жирен,
овес, под небом жить можно но не на зе,
в запределе сознания возможного, жмых
катарактен ротатор мысльбыстроит, слева
ротонда тоник поник, молитва, литва,
молвит мол, вломить чечетку, впилить
танго, дог рвет коту, доходяга лижет Ягу,
Ягуарна баба, муарен бабтист, киста истинна,
никодим тина, раболет, замок Шпицрутен на
Пишкбергене что альпенштоково светит
лазурь, тисиндиго, вы ли это мадам
Гриазу, коказ обос два эс затем аз
эль мутен, и эн, Энни в мажоре
Пиранделло Леонковалло, много чести
истинно есть, и буква Мы, раздроб дробью,
фьюлай собачий, флюгер, герр...*

Внизу, по блестящему мзглявому снегу прошла живопырка в шубке из мерлушки. Вдали шевелилось травянистое летом растение, истязаемое городским недоумством. Растение это как бы притаилось, так таится боец, услышав звук летящего снаряда, — схоронило растение свою честную несгибаемую душу в корнях, уже второй год подъеденных мазутом и школьной карболкой. Оно звалось крапивой.

«Глафирушка провела ладонью по лбу и облизнула темную суету души. Провела другой ладонью по лодыжке до томления, тяжелой головой покачала от печального света и запаха собственного дыхания. Что было в ее глазах — испуг, сон?»

— На заводе «Пластполимер» Витька Маслаковский работает, помнишь, в 15 номере жил. Так вот он может эпоксидного клея вывезти хоть бидон молочный, литров на сорок. Вооот, мне бы еще вьетнамско-эстонского паркета 200х300 мм достать, он из черного дерева пилится в Прибалтике... Тебе не надо клея?

— Виктор Маслобойников, а не Маслаковский! Это он Быстрову Валечку в бомбоубежище отхарил? — оживляясь спросил Виктор.

— Да, и я там был, за кабелем прятался, потом ему за показ пятнадцать копеек дал. Во как бизнес делали, — сказал Геннадий, — хоть и сопливы были.

— И как это Быструха согласилась с этим охлаемником?

— Ты что, у него тогда больше всех был, забыл, как в Петергофе на заливе после экскурсии Белоухова линейкой мерила всем нам. Ты еще сдрейфил...

Виктор умел слушать не слушая, общаться на советский манер, когда собеседник выговаривается только на одну тему (а на какую еще в этой стране?), тему убожества. Эта тема имела широкую спину. Здесь и ворье в магазинах, ублюдки коммунисты, хищные менты, пузатые профсоюзы и, конечно, обида, что по путевке от завода дальше городской свалки не уедешь.

— Плевать, — сказал тихо Виктор, — очень даже плевать.

Распаяя себя взгоном мысли хотел крикнуть: что за е...й мир, в котором кроме посмешек и печали ничего нет и все подставное, не человеческое и даже (о если б!) не животное.

Одна поганая лужа и какие-то фигуры в кустах: то ли призраки, то ли подельники по саморастерзу. Надо забить асбестом или стекловатой головы, чтоб свистульничать походя, мимо шаркая и зевая от холеры ума. Но вдруг такая жизнь и зовется здоровой. И откуда в сердце нервозность курсистки? Словно перед дефлорацией. Ну вот, понесло на скотство. Какой-то наивняк. Мне-то откуда знать...

— А жена и говорит, что-то ты подозрительно трезвый с работы приходишь, а меня уволили как два месяца.

— Прогул?

— Да, заквасил.

— Утром не пивом, а зеленым чаем на молоке похмеляйся. Литр молока на 50 граммов чая, заварить и пить вместо завтрака.

— Вооот, я и решил заняться.

...Что там чувствуют бедняжки при дефлоре? Соня говорила — после двух рюмок хереса (с димедролом) — что это как словно маленькая операция, как будто ноготь с чутком кожи ножницами отрезали. В Симеизе — приняла я водки — надоело в прибабах святом ходить, задумалась вечером на скамейке с томиком Блока, — и что в нем интересного? — подошла татарка и говорит: смотрю я на тебя и чувствую — утомишься ты, книгу не дочитав, от сердца рехнешься. Пойдем, не вздыхай больно, помогу тебе. — Я молчала, книга упала. Угадала во мне все! Говорю: а зачем, а кто, где?.. — Лепет какой-то. Приводит меня в закрытый дворик. Усаживает в летнем сарайчике. Приносит виноград и рюмку водки: — Сейчас полегчает. Выпей, надо тебе сейчас повзрослеть! Я выпила, полегчало. Она говорит: я много вижу, вы несчастные северные люди! Без любви, без солнца живете. По холодным болотам мордуетесь. Смысл такой, слова, конечно, у нее иные. — А здесь от тепла и ума, и зренья больше.

Вот ты там сидела так... — Да, ну и что? — будто последний день... Видимо любимый не встретился тебе. Но вот сегодня и даже сейчас он придет к тебе. А ты не убегай от него. Он тебе сделает огонь в душе и сердце твое станет горячей. Он тебя обнимет, как невесту... а потом не ищи его ты. Он мой близкий — Хасан звать. Он большой мастер от темных мыслей избавить...

— Вооо-оо-т! И достал я фанеры. Сделал два высоких узких ящика сорок на сорок и на сто двадцать сантиметров, такие вот... Вставил в них полиэтиленовые емкости, из мешка сделал, с закрывашками от трехлитровых банок. Наполнил их сиропом — сперто с Навалочной станции. Кинул туда для брожения томатную пасту.

— Почему паста?

— Не помню, стырили с Сортировочной.

— А на Фарфоровской станции что сейчас крадут?

— Вооо-оо-от! И поставили брагу бродить. В двадцать четыре раза дешевле государственного напитка!

— Позвал бы, а то все один свое пойло лакаешь.

— Для дела поставил. Рубероид ханыги достали, им для расплаты...

... и все гладит меня по спине эта татарка. И хорошо так стало, в голове, словно горячий ветер. И легко, и Блок вылетел, и дом забылся. Будто я родилась в этом сарайчике. Еще она угостила каким-то вином. Я вся, словно масляная, таять начала и сильно вспотела. Вошел кто-то. В темноте не разглядеть лица, но тапочками щелкает по камням. Дымком от него запахло.

— Здравствуй, девушка!

Я чувствую — он улыбается.

- Здравсьте.
- Нравится море?
- Да, хорошо.
- Муся, оставь нас с красавицей!

Татарка вышла. Он сразу начал гладить меня по щекам. Я еще сильнее вспотела. Зачем-то уши тер пальцами. Сильный Хасан, весь какой-то смоляной. Я стала в темноте видеть, наверно от вина так, от татаркиного вина стало так. Он положил мою голову себе на колени и стал кормить меня виноградинами.

– Не жуи их, глотай как есть, целыми глотай. Это чтоб животик раздулся.

Я наверно большую миску ягод проглотила и живот мой и в самом разе стал тяжелым и большим...

Виктор включил радио. Снова брэнчала балалайка, этакий шипковый мазохизм. Раздалась песня. О, эти песни! Эти песни, о! Постоянные сновидческие миражи, дымки, луны, тройки, пурга, пурга, пурга, поручик, бедная Варенька, завтра дуэль, все или ничего. И снова: выхожу один я на дорогу. Убийственная тоска колокольчика, когда и зги и тьмы даже не видно, и пышнотелая Ксения или Глафира растерзана страстью в овине, и это при минус двадцать пять по товарищу Цельсию, – но растерзана, как оказалось по ошибке, – пурга вывела поручика не на Ксению, которая в этот час предчувствий и мольбы гладит табакерку, подарок в прошлый сезон от НЕГО, и все по ошибке..., но вот раздается призыв в поход против басурманов, а затем против самураев, чтоб еще потом против своих, против лысых, в очках, в штиблетах, постоянные походы, ежедневные проводы, то в Компанию, то на строительство Пичуго-Сарбайска, то на важный железный путь до Мудоколамска из Сучьвыгодска, через именно топи, айсберги, наледи, сквозь мшаники, через ущелья и неоткрытые моря, по дну, по самому краю, а потом снова горнист, горнит загорелый паренек на рассвете, не дает закончить палевый пистон: казачий разъезд уже у моста.

– Выключи радио. Хватит и уличной тоски.

– Вооо-оо-от. А придешь домой. Яичницу поджаришь. Я валенцы ношу дома. Даже летом. Тисочки поставишь и что-нибудь из красной меди выпиливаешь лобзиком, у меня пилочки по металлу из Брюсселя. Вооо-оо-от. Из Брюсселя... А потом паяешь, у тебя нет канифоли, я бы тебе ацетона принес, канифоль вся вышла, ты обещал фотки показать.

– С половухой что ли?

– Ну да! Жена хмурая ходит. После холодного борща болт на полшестого. Водяра не всегда помогает. А так посмотришь, как другие милуются и тонус сильнее.

— Да я те фотки обменял на зубную щетку, а щетку махнул на две лампочки, в магазинах-то ничего нет.

— Да-а-а. Воо-оо-от! Я иногда тоже такие махинации делаю, десять розеток для радио и пару колготок махнул на офицерский ремень из кожи, настоящий довоенный ремень. А его обменял на китайские кеды 50-х годов. Помнишь! Москва-Пекин, идут вперед на-а-а-о-роды-ы.

— Помню, налей-ка, я со льдом. Сколько уже?

— Завтра суббота, нет, завтра воскресенье.

— Уже сегодня. Уже ночь.

— Поджарь лучку для завтрака, хм, а то закусить...

Виктор снова подошел к окну. Во многих квартирах мерцал синеватый отблеск. Опять сериал о бездомном детстве бразильской мымыры. И какое бесстыдство авторов: залупить триста серий!

Теперь понимаешь, почему идут в подводный флот, наверно, великая радость смотреть в перископ на торпедированный лайнер. Ах, снова злота. Что я говорю, а еще Библию переплел в замшу. Гнида, гнида я. Но почему гнида? Вон Мишка Сладков — две машины имеет, не работает, крутится где-то. Говорит: мне полчаса на Невском погулять и пять тысяч в кармане. Он что, на инкассатора с вилами ходит? А женка его? Синеглазая растопыра, небось и «сулико» в постели любит, вся в коже на 250-260 тысяч, сапожки под тридцатник, шуба, да, целая шуба из — тысяч под двести — соболя, и где на это заработал? На заводе «Севкабель» в пять смен трудились? Только не надо песен про наследство. Крадут! В открытую тащат, затем вкушают плоды показательных преступлений. Почему показательных? Да-а... А ты живи на мышиную пайку и хмурь свой лобешник...

— Воо-оо-от! Я все вспоминаю седьмой бе класс, помнишь, как в Белоостров ездили? Ты еще грибы насобирали в газетный кулечек, а газета дождем после размокла. А мы со Студенюк Аликом Наденьку Самкину не жили в кустах. Помнишь, ей все букетики ты дарил.

— Да вам... свинство какое... всего-то сколько было?

— Не переживай, она сама напросилась, любила белые чулочки носить.

— Ерундистика... Пустобай ты, Геннадий!

— Спокойно, товарищ майор.

— Ну и как?

— Что как, так же, как и в шестом ве, когда еломкались с Антоновой Лидочкой. В походе под Гатчиной.

— Ну заливаете, Геночка! В шестом у тебя пещеристое тело еще не выросло, романтик хуев! Лук наверно поджарился. Давай-ка попробуем домашнего винца, обрыдла водка, горькая.

На бутылке, где подремывала настойка калины, пронзительно ярцевели малиновые перекаленные ягоды – на бутылке было написано «Fixatore» – останавливающее.

После очередной рюмки Виктор поставил американский диск голландской фирмы с записью негромкого рокотания весенних ручьев в Новгородской области.

– И куда мы идем? Ты верил Горбатову?

– Нет, не верил. Много говорил, забалтывал.

– А как провернули с переворотом? И проскочило.

– Ты думаешь – имитация?

– Да, конечно, почему тогда мою дверь не расстреляли в упор, другие на свободе тоже, я бы на ИХ месте примочил бы таких, как я... Или на стадион – пятьдесят кругов сделать бегом. Они что, Запада стеснялись? В этой стране не место стеснительности.

– Закрутили, замутили. А, извини, где ты был во время переворота? Не подумай только...

– Да и не думаю... Воровал совхозную картошку... Дикость, что делается сейчас на улице... ты видел? В открытую носят убойные ножи, пистолеты. И выстрелы по ночам. Ты слышал?

– Да-а-а! Надоело... все обрыдло. Хорош лучок, по тридцатнику брал? Нет?!

– С Удельной сперто. На Ржевке стаи беспризорных собак кидаются на прохожих, заедают их, вот как! Люди просто исчезают, особенно питанные девушки.

– Их и без лука на столик...

– Я дак просто с кочергой в газете хожу, будто нашел по дороге... несую домой.

– Только газету советую каждый день новую.

– Часы наручные не ношу полгода уже, очки битые надеваю...

– Муторно все, молодежь бандитская, все деньгами шелестит. Противно! И шкуры какие, сметанные, лягастые. На Невском блядей больше, чем прохожих. Шпилятся прямо в такси. И все это, не надо забывать, имеет затяжной характер. И грабительские цены, обман очередных правительств, и соль будет по цене серебра, спички уже прибилились.

– Да-а-а! Картошка в сто двадцать раз подорожала.

– А наступит снова зима, людей прямо на...у Эрмитажа будут, шашлык из убоины, пиво, выступление рок-групп, дискотека.

– Откуда эта грязина поднатекла?

– Она и не уплывала.

Раз, когда забастовал транспорт, пришлось в июньскую жару переть через город по гадкому асфальту, Виктор ощутил «пульс дня». На камнях Дворцовой площади сидели кучки молодежи в американско-университетских майках. Парни и девочки утомились от катания на роликовых досках и курили «Беломор». Сладкий дымок коснулся ноздрей. Около Александровской колонны шла бойкая рукосуевка. Кровь обыденно блестела на диабазе. Вверху носились стрижи, совсем какой-то Саврасов. Потасовка подходила к концу. Сверкнул клинок, метнулась железная труба. Оххх — полувоплъ-полувыдох. Две тени упали на антикварные камни. Замерли тени. Обшарпанная «Нива» без номеров и глушителя взревела, унося небритых бойцов торгового фронта. Никто ничего не видел, народ прогуливался, тени испустили дух. Стрижи жижикали крыльями свист воздуха неба.

Около арки Главного Штаба загорелая уже иная молодежь развлекалась с летающей тарелкой — фрисби. Громко играла радиола. Вертинский. Песня о хризантемах в каком-то далеком саду. Но его, Вертинского перезвучивал неизвестный саксофон. Виктор пошел дальше, под арку, где на цоколе сидел музыкант с блестящим инструментом, дудел, саксофонил. Кепка лежала пустая. Пронзительные звуки, что еще сказать? — шевелящиеся ноты, громко и мощно сакустировав аркой Штаба, вылетали на простор Площади, рикошетили от Зимнего Дворца в газовое небо Ленинбурга, ноты неслись из саксофона как бы с достоинством. Было чувство, что музыканту на все плевать, он так свободен, что — завидуйте, прохожие. Игралась «Темная ночь». Эта «Ночь», вестимо, словно изнутри рвала грудь. Было сладко. От этого. Ветренно.

Подташнивало от вздрага чувств. Мелодия ускользала, обжигала невидимым прилетом.

За спиной еще некоторое время находилась музыка; он уходил, удалялся; музыка затихала, похитившая у него спокойствие и наплев.

А в это время — уже который год — какое время! — в стране сплошняком идет наебаловка. Гангстеры с коммунистической пылью сидирают с народом уже не кожу, а уже мясо. Какие-то замудонские газеты печатают советы: как сделать на балконе курятник, а в подвале свинарник. Свинарник, увы, всюду. Опоздали с советами. Не думал, что доживу до очередной гражданской войны, — думал Виктор. На улицах горят костры, жгут мусор. Грязные газеты залетают в двери метро. Люмпен пьет подпольные лосьоны. Слышны выстрелы. Драки круглые сутки. Автоматная стрельба на рынках — борьба за место. Много парочек с неземными желтыми лицами, нечесаны, возраст то ли 20, то ли 70 лет, походка сонная, с екающей почкой. Фосфорные ухмылки. Обмоченный

низ одежд. Худоба. Вдруг взрев мятого мерседеса без номеров, с прёколотым колесом. Прямо по тротуару. Налево, за деревья. Проходными дворами. От погони... И пустота, пепельная и ледяная. И сухая газета, с объявлением «пожилой состоятельный бизнесмен приглашает для участия в досуге двух спортивных юношей до 17 лет. Вознаграждение гарантируется» — сухая газета танцует спутницей около пешехода, тихо шуршит старая газета. Позавчерашняя. У пешехода нарастает беспокойство, все больше. Все сильнее беспокойство. И вдруг — вот уж и вдруг? — кидается порывом своего газетного тела эта газета, кидается хищно прямо в лицо.

Нищих и увечных с открытыми язвами достаточно много, чтобы разлюбить пешие прогулки. Они лежат в подъездах и особенно в переходах метро.

Поездки зайцем в лес за крапивой. Собираение клевера и ромашки для чая. Письма вскрывают на предмет валюты. Затем уничтожают: «Затерялись по ту сторону границы...». В галереях продают только след. живописные сюжеты: сирень на окне, кони в ночном, бриг в свежий ветер.

Озверелый этнос ходит стаями. Анаша у входа в Собор. Непонятно и дико! Дворы завалены склянками из-под синтетического спирта. Народ в таком состоянии, что как бы хочет сказать слово НУ, но забыл набрать воздух для произнесения...

У Гостиного Двора по Невскому деревянный высокий забор. На нем листовки, газеты с гербом императора: «За великую Русь», «Казачья вольница», «Отечество».

- Идет показательное безумие. И бешенство...
- Все на английском: песни, надписи, реклама.
- Совдепия стала очередным штатом Америки.
- На Западе трясутся небось, а ну как здесь захулиганят.
- Уж во всю Гороховую.

И скоро, что ни говори, энергичный закордон схватит железно за горло этот общинно-бытовой простор Расеи. Схватит еще как эту грязноватую земляпашку, рябоватую синеглазку, исполняющую роль мирового вивария.

- Виват, — поднял рюмку Геннадий.
- Я сделаю лимонад, на пять-десять минут оставлю тебя, — сказал Виктор.
- Я полистаю журналы.

Виктор прошел в кухню, достал лед, лимон, сифон. Неспеша стал взбалтывать, переливать ароматные жидкости из хрустальной вазы в

титановую капсулу, из нее со льдом в чугунный сосуд снова лед плюс земляничный сок плюс жженный сахар. А что там делает друг школьных лет? Виктор отодвинул на стене портрет Есенина с трубкой и поглядел в дырочку.

Мочевой пузырь выпустил от неожиданности пенную струйку. Его товарищ склонился с каким-то прибором над его записной (зеленые квадраты по синему – переплет) книжкой, которая была запрятана под сиденье солдатской табуретки. Друг то ли переснимал книжицу, то ли внимательно ее исследовал. – Ну, бля, дела какие! – острая немота сдавила горло. – Что у него еще-то криминального есть? Телефон обрезать, напоить друга, быстренько напоить лимонадом, с весенним «шиповником», мат-перемат! Сучье племя, что же делать? В себя прийти, съесть витамин «С» – ёстодвадцать, телефон, звонок, ах, лимонад доделать. Доделать. Он, поеживаясь, составил лимонад для двух бутылей, один – аппетитный и детский, запомнить – в желтой бутылке. Вторую бутылку – зеленую – заполнил тем же лимонадом, но выдавил туда «болотных ягод». Они, правда, не совсем были болотными, любили в тенистых перелесках расти, в густых зарослях, любили эти ягоды честную тишину и, быть поэтому может, имели затуманивающее и гипнотическое свойство.

Геннадий рассматривал на стене висящие фото. На одном – белый поплавок с именно гусиным пером замер среди кувшинок. На другом фото – поплавок именно с гусиным пером нет. Он, видимо, скрылся. На еще другом снимке тоже водоросли.

Еще снимок: человек в белых штиблетах, трусах с яблоками и длинных черных – только – носках с носкодержателями, без галстука, – на этом снимке человек с самоваром падает с мостков. Без галстука.

– Загадочно, – сказал Геннадий и прошел в прихожую.

– Витюха, у тебя где тут вакса?

– Вакса? Что это такое?

– Забыл? В армии вместо гуталина.

– Гуталин, тоже слово непонятное... Вон под стулом, там коробочка, – бросил звуком языка Виктор через дверь с армированным стеклом и продолжал вычислять, когда начать операцию «Лимонад».

В комнату вошел Молотиллов, в руках у него была щетка для сапог и стул.

– Очень смелая задумка, – Молотиллов перевернул стул ножками вверх, – Икону прятать под сиденьем.

У Виктора появились «ощущения», которые даже стихами не передать, но попытаться можно

иногда и все чаще и ловче
 мне снится богиня по имени Без
 без имени спится без гимна даже
 я слепо верю в зоркость роз
 при чем здесь они бедные розы
 и вовсе не розовы а зовут и млеют
 я их не очень-то ибо потею
 когда склонившись нюхаю тополь
 и он мне тоже не очень даже
 так как потому что надо так
 злоба по утрам вечером чай без чая
 ямал арлекин лейкоцит ронцеце
 рецепт прост быть рептилией и вот
 я узнаю его увя поздновато
 тулуза лотреку стирает трико
 шумит водопад на речке оредеж
 дежурная часть частик в томате
 матовый блеск томит тевтонца
 дифтонг ах: матов товарищ церс
 стреляет на юге стреляет вверх
 по чашечкам на которых написано
 что вешать надо дном вввв
 рехнуться можно коля арбхис
 зебунчик фикус кефир глотает
 зефир безз наполеон эклер
 монпарнас не по мне по мне пароксизмы
 объясняю коротко
 затем вальс

Молотилов опустил на пол стул и, вынув складной перочинник, отковырял зажимы. Вынул доску.

— Даже в пакет не завернул. Экс-мсе-крґс-мэ. Московская школа? Икона-то? А?

— Не знаю, может и Комсомольская-на-Амуре.

— Слушай, давай махнемся.

Он достал из за пояса, сзади, ржавый пистолет.

— Не хмурь глаз, это для отмазки кислотой испортил, если задержат — нашел, трофейный.

— Это же пять лет свободы носишь на себе, Гена...

— Вот именно, или ты червям на съедение или бандита в расход уложишь. У меня и самодельный глушитель, можешь хоть на улице, в Первомай соседа убаюкать.

— Круто... и как я пони...

— Да, на икону... пистолет на икону, лихая кошунственность, и совсем в духе новых веяний, в духе перестройки. Патроны достану.

Молотилов прошел к телефону, выдернул шнур.

— Сейчас же включи, об этом говорят в ста пяти квартирах из ста.

— Сейчас. — Геннадий «починил» связь. — Порядок, гудит мерзавец. Я бы изобретателя телефона попытал бы на интегральном велосипеде, блинда редкостная.

Виктор горячо был согласен с Молотиловым. Лет восемь назад, когда только что поставили телефон и никто не знал еще номера, буквально через час-полтора позвонил голос и пригласил его на «беседу», «в интересах самого же Виктора», как было присовокуплено в конце. Беседа сия длилась часов пять и закончена была словами «...если не хотите получить по шапке!».

Молотилов прошелся из угла в угол, как бы прикидывая — откуда паркет начать циклевать.

— Мой ржавый стоит с патронами... тянет штук на сорок... стоит тысяч.

— Давай в пересчете.

— Двести зеленых.

— Ну засадил! От силы — пятьдесят, да еще ржавый.

— Ржавый? Значит плохой... Ладно, сейчас докажу... шас проверим, какой ржавый.

Молотилов открыл форточку, затем поднялся на стул с иконой.

— Кого бы продырявить, — поискал головой, — погаси свет.

— Вон в левый край дупла в липе, через улицу, только в самый край, не в дупло... — сказал Виктор, зажигаясь идеей или какими-то планами. Погасил свет.

Геннадий задернул шторы, вытащил снова из-за пояса свой пистолет — из-за спины, теплый.

— Вот и глушитель.

Молотилов вытащил на свет помятую губную гармошку, приспособившая ее к носику оружия.

— Ни одна собака не допетрит, что это глушитель.

Молотилов снял, сдернул галстучную заколку, вставил в край гармошки, как бы штифтом закрепил.

Зазвонил телефон. Виктор снял трубку.

— Алле.

— Это Витя?

— Да, а это кто?

— Пингвин... Позови своего друга детства...

— Да-а-а..., — вздрогнул Виктор, почему-то ощутив во рту вкус лечебного растения каланхоэ, задаваясь вопросом, откуда узнал теле-

фон, напрасным вопросом, я бы добавил: вопросом некорректным и мало того... неэтичным вопросом.

— Гена, тебя к телефону.

Гена «спустил» гашетку. Прозвучал звук, прошлепались звуки упавшего заказного письма из Скандинавии, предположим, увы. Письма многословного, емкого. И послышалась затем губгармоничная нота ре-до. И еще спустилась длинная ля-ля, утекая в шу-шууу. И все эти звуки чуть слышнее чихания трясогузки.

Геннадий ловко подпрыгнул к телефону. Без удивленных вопросов. Расслабившись на стулике внимательно выслушал что-то, глядя на потолок: как бы — откуда белить начинать кистью мелом. Затем, убедившись, что начинают кто как, вернул злодейский аппарат на место. Молча напялил «баретки» славные туфли с дерматиновой пяткой и брезентовым верхом, да еще и с вызывающими шнурками из рыболовной лески в два миллиметра, правда, шнурки на кончиках были украшены крохотными рыбками, подобия колюшки.

— Труба зовет в тартар, — недовольным голосом сказал Геннадий.

— Извини, что если не так.

— Берешь пугач? Я попал в самое то, в самый край. За доской скоро появлюсь. Все равно без дела валяется. Икона должна работать, а не отдыхать.

— Зачем так цинично...

— Пошли, дерево посмотришь, как попала пулька.

— Сейчас.

Они вышли. На улице вихрился снег. Подошли шага на три к дуплу липы. Сделали вид, что закурили.

— Смотри, — сказал Геннадий, поправляя плечо под пальто.

— Вижу... неплохо!

— Да, надо усыпить директора ветчинной фабрики.

— Устремленное чувство твое полно благости, дело ратное — святое, а икону заберешь, но присовокупи еще газовый револьвер.

— Ол райт, партизан.

Геннадий Молотиллов увернулся и словно улетел от порыва, ветра прибивалось, сильный атмосферный загул обещался ночью.

Виктор, прогуливаясь, обогнул квартал. Вернулся к липе. — Да, хорошо попала пулька, в самый край! Затем подошел к трансформаторной, железной, с двухэтажный домик, будке: там он, этот гражданин в теннисных шортах, или нет. Умерло тама чиго-то? — проговорил он подетски. Взял железку. Постучал по двери.

За дверями трансформаторной будки что-то зашипело, заскрипели какие-то детали, раздался треск лопнувшей доски, сосновой, два

сантиметра толщиной, сантиметров пятнадцать шириной и неизвестной длины. Но не более четырех метров.

В легкой демисезонной тоске Виктор стал наводить порядок с бумагами в шкафу. Перелистывал давние «черновики», раскладывал письма по времени получения. Письма из-заграницы — отдельно, их предстояло сжечь.

Попалось неотправленное, без даты письмо... Кому же оно адресовано?

«В Питере грязь, стреляют даже днем, жгут на площадях мусорные костры, взрывают кооперативные лавки, кавказцы, мафиозят с автоматами, 4 июля 92 года офицера милиции расстреляли днем у гостиницы «Советская». Южан громят на рынках, в Москве, говорят, еще круче. Что-то не пишется и не рисуется. Удивляюсь, откуда бралась живость ума, силы, свежесть? Неужели содепия сломала... Ухожу на лежку, в отмок.

В городе гарь, злоба, все лето с апреля один раз дождило, небо свершило робкий омывон, и все. Горят вокруг леса, блевотно от угара, в загород поездка запрещена — штраф 5000 рублей! Запугали. Спасаясь поездками в Павловск, или в Петергоф. Баночку овсяной (с собой) каши съедаю около «Римских фонтанов», или на ступеньках Большого Каскада. Трезв и зол, уныл и жарок что-то я стал. Фонтаны оттягивают душевную тупость и непонятно становится сие время, на фоне содеянного великолепия ХУШ века!

Сегодня 21 августа. Главный обещал улучшения осенью! А пока я сижу у костра и варю щи из крапивы, очень, говорят, полезно для эпидермиса и от плоскоступия, пия зверобойный с листом малины чай и взирая, пока еще не трахомным, но сильно близоруким оком, на морось. Конечно, есть прекрасные луга и веси, овраги и обочины, розмарины и жасмин, Воркута, Дакота, цирковое брависсимо. И всю эту хреновину обидно убирать из поля зрения. А тут еще какие-то разговоры о долге, детях, о неопикуемой «радости» любви! (Доберусь я до этой темы). Стоишь вот так под ласточкиным полетом, под сенью собственных грез и качаешься травинкой, и жалеешь входящих в мир. Конечно, иногда помогают молитвы, где-нибудь на берегу крутояра, над омутом, где на тихом сумеречном дне свернулся калачиком налим, а рыбак уже копаец червей, он сыт, этот рыбак, но проблема досуга и домашний гвалт (беби проглотило пионерский значок, кончилась мука, у дражайшей лопнула пятка, надо смазать калитку...), — досуг изматывает своей ненаполненностью. Рыбак идет к омуту, он уже приблизился, и тут я, в предвкушении звука падающего об или в речку камешка, кидаю предмет по имени Камешек, он вспугивает налима, славную водяную

бестию (с усами еще, не плотвица!) и это существо плавно устремляется, чуть вспугнутое, к тихому неизвестному перекату, под сенью осокорей, — к месту, где можно еще раз послать на три с половиной буквы все, что там рыщет на земле, строит пятнадцатую магнитку, рыдает из-за вязких носков, стрижется под дурачка и превращает свое сердце в пылевидную фракцию.

Сейчас надо перекусить, надо разобрать дрова во дворе, вытащить схороненные от воров прошлогодние сухари, где-то закопал (под грядкой с горохом? — вот память, записку потерял), две банки с крупой; придется налегать на кукурузную сечку, муторно ее перебирать, с жучками она, может зато и калорийнее. Биологи верят (а сами предпочитают клубнику прямо из-под коровы, сметану прямо с грядки), что в пищу можно смело все, что летает, ползает, плавает и прыгает. Наверное, есть можно и тех, кто говорит и советует.

Вообще, мурло продолжает свое «созидательное» дело. Радио слушаю редко. После него трясет, хочется, очень после радио хочется... ты меня понял...

В Питере более 400 газет от «Не скучай» до «Сладкой попки», от «Огородной правды» до «Вечер холостяка», от «СПб литератор» до «Отель» с вездесущей мордочкой. Такое количество изданий на жителей города рекордно. Предлагали печататься, но за символический гонорар. Видимо, этот символизм, это крохоборчество, сдирание остатков шкурки с уже неживой плоти заканчивается со смертью сочинителя, согрустника языковых эманаций. Суки, конечно, и читатели и издатели. Ты много раз, Лев, прав, когда пишешь мне, что текстуху надо печатать в количестве сто экземпляров. В самом деле, по аналогии — почему я должен покупать научные эскизы энтомологодроздофилиста? Или я бы по другому сказал: энтомилани-розгофилистки, муха есть такая — дроздофилка, я знаю, ошибаться не нужно, но можно. Или: почему ты должен рублей по 70-90 платить за томик «Термообработка клеев при строительстве подземных сооружений, занятых использованием и реконструкцией», видел сам такую книгу. Вот и другие, тоже, также, в гробу без тапочек видели наши и ваши «Жемчужины Эпсилона», «Болотную медь», «Зачем я это сделала». Уебище кушает сюжет только в одеянии зефира, а не прикрытую школьными рейтузами «Поэзию» — ответ сам знаешь. Толпа любит всегда одно и то же: пистонелло, мордобой, сыщицкую ерундистику в эполетах чести и славы, да. И потом, дорогой, было бы ужасно, если бы под каждой подушкой лежали «Горе от ума» или «Бедная Лиза», или «Не жалейте флагов». Письмо было без подписи.

10 августа 1991 года.

Вместо цемента подвезли шамот, огнеупорный материал. Но нагрузка на фундамент небольшая, не треснет. Как и оказалось.

Собирал зверобой. Купался в главном и уютном озерце семь раз. Вода чистая, озеро с ключами, прозрачная вода. Желтые кувшинки... Наблюдал за шурятами. Подслеповатые полосатые молнии. Ночью из леса слышно выстрелы.

12 августа.

Поставили в бане пятый венец. Дело идет медленно. Нет сноровки, болят плечи. Безветрие, жара. Спасает озерцо; картошка кончилась; в лесу появились грибы. Вечером у соседки купили муки.

13 августа.

Утром пошел на озеро. По дороге видел, как старуха эстонка стояла в низине с косой, в высохшем болотце и пребывала в состоянии задумчивости. Я слышал, что эстонцы для балды иногда пьют эфир, не нюхают, а именно пьют. От этого может быть слабоумие. А от димедрольной водки — или там портвейна с какими-то нейролептиками? — от этих «напитков» слабомыслия нет? И вот та старуха, выпив эфира, стояла лицом к закату и хорошо стояла, с косой.

Я подошел к озерцу. К его другой стороне причалил самосвал и легковушка. Я был радостен чуточку и купабилен. В тишине-то среди небесной воды и шурша стрекоз, сытый и не отравленный водопроводным чаем, — я вот так наслаждался наслаждением, пока из самосвала не скинули легкую лодочку, в озеро отплыли две бляди неизвестной парторientации с закуской, а с капота легкового авто запел огромным голосом магнитофон — Алла Пугачева «Миллион красных роз». Конец! — подумал я, — и сюда добрались. Нет... Обязательно счастье должно быть скоротечным. Сверкнула молния, вспыхнул дуб. Быстро сторел. А путнику удалось от молнийного огня озоном вздохнуть да и прикурить — счастье!

С озера возвращался — старая косильщица все же что-то накосила и копалась в своем небольшом картофельном поле, вокруг которого на столбах были увешаны плоские консервные банки из-под сельди, для отпуга кабанов. Ветер с полей принес строки:

*На старой ферме крикают утки
и гуси крикают слышно едва ли
валя сидит и рисует собаку
босую мохнатоглазастую
она щерится на лице октябрьское
у нее в голове оттепель после утренника
в ремонте у меня же опель*

*и рита в кувейте
или наобо как бы борот
и я один. Точка ВЧ. Кием
пинаю шар бильярдов
рассержен хочу поглазеть
невидаль сочная на монтевидео
город невель такой не знаю какой
реке на стоит и стоять сколько
резервуар желудочный пуст
орезуар завтраку, завтрак уже в кустах
на траве и дама бегаёт по мене,
на монетном дворе воровато очень
зеленая елка весьма красиво
стоит на поляне, ее любя
я протираю очки простирая очи
протягиваю длань и пью росу с ее изл
обезьянка в платице зажигает лампу
нюхает керосин ей нравится запах
затем потом она открывает
коробку с зефиром «кремлевский»
предварительно усладившись
видом рекой-пленерой-москва
над перелетные птицы которой летят
обезьянка ест медленно
спешить на работу не ей
она сейчас скокнет в качалку и
почитает историю ВКПб
Буанарте сидит в партере
не спал весь день
за партией всю ночь
телефон молчит испорчен что ли
Буанарте весьма не прочь
выпить столичной, либо пшеничной
или бургундского из симеиза
или чего уж сошел бы и кьянти
и весьма пригубил бы чашечку чачи
или конец на худой sake
под шелест агавы
под шепот дубравы в штате айова
у границы с тобаго, где это я не особенно
знаю такое находится
Буанарте елка я с обезьянкой собака
и кьянти — — мы все ожидаем*

15 августа 1991 г.

Ездили с товарищем для его семьи за хлебом во Псков-город. Давали по одной буханке. Пришлось переодеваться за углом, чтоб снова купить по одной буханке. Гвоздей нет, краски нет. На рынке огурцы меняют на

сахарный песок. Во Пскове неуютно. На скамейках задумчивые люди сидят, головы подперев ладонями, будто арбуз мозговитый кидать сейчас в воду вместо головы. Тяжело. Детей веселых с улыбкой не видно.

19 августа 91 г.

Долго спал, болят от топора плечи. Поел с холодным чаем каши. Рубить не хочется. Но за работу кормят и есть возможность купаться, а не дышать выхлопом родимых сопаспортников. Плохое настроение во всем доме. Молодой овчар Полкан виновато бегаёт, поджав хвост. Дети намеревались «проучить» его в очередной раз. Глуповатая, но милая псина; на ней печать конечности мира. Полкан, видимо, пантеист.

Пошли с ним в лес за мхом для стен бани. Скоро конопатить. Полкан катался по влажному нежному болотному мху, лоснил свою шерстину. От избытка доброй злобы погрыз костлявую валежину. Похрумкал пару молодых сосенок, со смолой. Хорошо ему; плевать на отдел кадров, на газеты, на Спасско-Тауэрскую башню, на Лутовиново. Знай за икры чужаков лямзай, чтоб от клыков у тех гузка херела, а хозяйке псиной — радость: вот, вскормила волчину, защитника, и еще кое-кого...

Страх, он питательнее шоколада, если его нагоняешь на других.

Часов до четырех дня укладывали камни, подгоняли седьмой венец. Я даже на бревне расписался. «19 августа 1991 года. 17.35». С дорожшоссе Псков-Рига доносится грохот. Огромная колонна уборочной техники? Необычный и тяжелый гул. Что так долго? Слишком много техники! Танки? Учения? Возможно, Война? Ну и что! Даже интересно! Хотя какие-то перемены.

Вдруг приятель кричит с чердака, там стоит телевизор: скорей сюда, скорей смотри. С восторгом и захлебом, с таким злым восхищением кричит: в Москве танки, беги, сейчас наверняка выключат... Вот почему мутило с утра, не работалось. Поднимаюсь на чердак. На экране телевизора из Эстонии с английскими субтитрами прямая трансляция из Москвы. На проспектах белокаменной и златоглавой танки. Люки, правда, открыты, но не у всех. Солдаты в боевом изголове. Бронемашины. Много людей. Толпа очень густа. Кто-то кидает цветы на броню. Молодой мужчина с рукой на перевязи, в тельнике жмет в лок руку танкиста. Понимающе кивает головой: мол, суровое время, но мы пойдем друг друга, браток (постсоцдеповское амикашенское обращение).

На чердаке объясняют мне: в СССР введено особое положение! — Что это — не пойму, — такое? Москвой и броней любовались минуты две, три. Пока в округе не выключили электричество. Так власть приступила к «операции». Приемник молчит. Батарейки сели. Пришла соседка. Ее сын видел на шоссе много танков. Шли на запад. Колонна огромная. Шли больше часа. Собрались мы в доме, в общей комнате. Что делать?

надо решать. При свечах сидим. Тихо. Печально. Колет в сердце. За окном — сразу пустыня. Подсчитали продуктов. Маловато. Надо идти в совхозные поля за картошкой. Воровать... Магазины, небось, теперь закрыты надолго. Что теперь будет? Аресты, тюрьма на стадионе имени Кирова и Немировича-Панченко. Зона на Масляном лугу в ЦП Культуры и Коммунистического Отдыха, где гонял шайбу в 50-х годах зимой.

Где Горбатый? Убит. Ничего не ясно. Что делают войска в Москве? Утром съездил на шоссе, видел — оно перекопано гусеницами. Ночью стреляют в лесу. Охотники? На кого? Кого-то все никак не могут добить, убить, окончательно уничтожить. Во какие задачи!

Смеркается.

Липкий дождь. Пока искали мешки — стемнело. Берем лопатки, тачку, ножи. Идем по скользкой, следеждовой дороге. Воровать «свое». Страна взаимных краж.

Спешно. Шепотом. Копаем, социалистическую пока, картошку. Кто-то здесь уже поработал. Только бы охрана без собак была!

Лучи автомашины в темноте полутьмы-полумглы осветили верхушки ботвы, наши макушки. Мы вжались в землю. Лает собака. Мы снова притаились. Завтра возьму для защиты вилы. Снова машина. Сильный свет словно ищет нас. А на самом деле, возможно, мужик ляльку везет пощекотать.

Мы ползем с поля под кусты. Руки ободраны. Воруем, и не стыдно. Государству-то не стыдно нас обирать, с заработанного рубля четыре копейки зарплаты давать.

Жадно разгребаем грядки, в мешок кидаем клубни, скорей, скорей. Рвем землю, ищем, тащим. И все ради завтра. Будет ли оно?

На шоссе, — оно рядом, — снова грохот. В доме, у нас, окна зашторены. При свете печки глотаем успокоительные таблетки. — А тебя дома, наверно, уже рышут. — Конечно. — Поздновато, вообще-то, я бы на Их месте вперед за год «обласкал» таких вот непонимал. — Может, пронесет. Почти что не заснул.

20 августа 91 г.

Автобусы не ходят. На утренних попутках добрались до Пскова. Почитать бы газеты. Что же происходит? Но главное достать хлеб. Вставали в очередь несколько раз, снимая очки, меняясь ватниками, кепками. Набрали буханок десять. На заборах и стенах домов наклеены листовки. Россияне, не подчиняйтесь приказам преступной группы ГКЧП. Голова тупая, ничего не понимаю. Какая-то дурь.

20 августа 91 г.

Но лица у псковян не задавлены, чуть усталые, задумчивые. Паники нет. Транспорт ходит. Почитали газеты. Оказывается, вчера введено

чрезвычайное положение. Всем подчиняться «временному комитету по чрезвычайному положению». Горбатый в Крыму на отдыхе, заболел. «Дьяволиада» по Булгакову или еще как!! Никому не верю. Театр, выдумка, от скуки жить. Пошли на телефонный узел звонить в город Ленина. Или Олина, Танина...

Позвонили родным, что живы. Один из нас — пацан 11 лет — спросил у своей матери по телефону: «А как там в Ленинграде, много танков?» И сразу связь оборвалась. На автовокзале съели по четыре пирожка. Кофе как всегда в СССР отвратный помоечный. Пахнувший духами и казармой. Интересно, закончится покорностью очередной опыт над народом или продолжится Великий Уебон. Смешно и душно. Ехали мимо десантного гарнизона. На КПП пятнистые ребята выгружали из военной машины дыни. В окно автобуса доносится уже иная песнь полей и пространственных чащ. Нет светоты, какая-то наплеванность и пьяноватый озноб. Да, пейзаж действительно меняется в зависимости от наполняющих тебя чувств. Сейчас он казенный и серый.

10.07.92 г. Псковская обл. Глубинка, глушинка. Удивительно, в огородном маленьком прудике водятся малюсенькие карасики. Глаза у них очень чистые, а питаются илом...

Косовица трав еще не началась. Душистый клевер на берегу заочневшей лесной дороги. Следы медведя. А где-то утверждает план — отстрелять в этом сезоне столько-то. Из окна комнаты, где на шатком столе лежит этот план, видна баня райцентра или другого наспункта. Очередь ветхозаветного населения: ватники, косынки, кирза. Спецоджда безголосых рабов, знающих о свободе лишь по полету стрижей. Шевеленье куц, ивняка похоже на истому омота.

11.07.92 г. Изредка тишину нарушает звук тррт-дт-д-т, тррт-дт-д-т. Это слева из леса. С паузой 5-6 секунд. Птица? Медведь чихает? Справа из леса с паузой в 2-4 секунды в перерывах левых звуков доносятся звуки клхреегх-тши, тши, чичичи, зииси. Клхреегх-тши, тши, чичичи, зииси. Что за непонятие?!

Вольготные звуки леса. Интересно, какие звуки сопровождают вылезание из земли боровичка?

13.07.92 г. В 01.30 ночи замечено большое передвижение лягушек из пруда к огороду. Наблюдением установлено: пепельная жабка делает пять медленных галопирующих шажков и замирает, прислушиваясь к опасностям. Если обойти топоча вокруг грядки, можно заметить обилие деловитых земноводных. Я их всех называю Дусями.

Прохлада. Туман. Грезы.

Колодец пересох. Жители деревни варят земляничное варенье. На вопрос: где посоветуете собирать ягоды — ответ: (сухмылкой) она еще не поспела. Это

мне напоминает «приветливого» рыбака. Я спросил у развилки дорог мужичка, он шел с озера: «Стоит ли сегодня половить рыбешку в том вот озере?». Ответ: «Там всю рыбу отравили удобрениями с полей». Я немедленно собрался на озеро и наловил там на славную ушлицу.

Так же и с грибами. «По этой дороге нечего ходить, здесь все уже собрано», – сказала старуха, возвращаясь с полным лукошком из леса. Я пошел именно по этой дороге и нашел превосходные боровики. И даже лисичек. И даже волчат...

14.07.92 г. Утром надо бы полить огородные грядки, но прохожий сказал, что поливать надо только вечером. За ночь растения насытятся влагой и им будет ладно. К вечеру собрался на озеро. Копал червей, но земля сухая и там ни одной живой души. Пишу, а ко мне по столу приближается муха.

Улет мухи №6 состоялся по причине, что я наступил авторучкой ей на левую заднюю ножку.

Взял сухарей, спички, пошел на озеро, 2 километра. Комаров и слепней нет. Собрал шитиков в спокойных водах побережья. Один раз был ужален кровососущим насекомым. Как раз в точку уха от головной боли. Полежал на песочном пляжике. Понежился на солнце. Даже есть расхотелось. Да и нечего! Сухари. Крапива. Правда, припрятаны консервы, третий год НЗ. Ловил удочкой часа три. Только одна поклевка была. Ветерок шумит. Желтые кувшинки качаются. Волна блестит.

Пошел на другой берег. Там настоящие непроходимые джунгли. К ночи стала плескаться рыба. Стайки мальков искристо прыгали от окуня. Снова колыханье макушек берез от ветра. Мудрый шепот неслышимых листьев. Странно и необычно. От лесного окружения и озера веет холодносладким воспоминанием или предчувствием удивительной чистой жизни. Без сомнений и головной боли, без денег и унизительных песнопений.

Пронеслась сугубая оса, перечеркнув тенью по диагонали этот листок. Пойду заварю напиток из чаги.

Возвращался по пыльной дороге сквозь кипрей, иван-чай, легкую стройную летнюю травку, весьма юную. Она не пахнет и своим множеством означает забытые отвалы земли, где не посеян редис и глупая клубника. Где всегда сказочно и тихо.

Из ивняка взметнулось облачко пыльцы и донесся голос:

*смерть погладила нежно сердце
и улетела ночной совой
отель «савой» таймыре оракул
орнитолог батут батат
коралловый риф на нем филер*

*лапландия папиросит дукат
 спит в лондо, не москва спит
 улан удэ улан батору шлет уланов
 ульянов сипит папироса горит
 в гори не пьют типичная сцена
 рогожа корыто шиповника лист
 силосует нина авдотьевна овен
 тихо голосит нес-политанский залив
 заливае шкипер сиповке горло
 в казани ане ничего не фартило
 фортиссимо трюмо триолет олдми
 тортилла запяосит сиплая осень
 дождь заплава лба на лице
 нелли сказала что завтра
 она не будет со мною а с кем
 ей не по душе моя вилла
 и способ общения
 и способ везения
 и даже способ бить по сопатке
 нелли я тебя не понижаю
 ведь ты была лейтенантшей
 не так ли ау*

Однажды я посмотрел на дождевую промоину на склоне дороги. Вокруг была светлая зеленая благодать. Птицы стремительно и гладко виртуозили над кронами дерев. Мне стало неожиданно больно за землю, за молчаливое лицо ее, по которому топтался я глуповатой походкой. Мне было сострадательно за стенку, откос оврага, прорезанный еще одной бороздой после ливня. Земля не плачет? Почему же! Вон она какая многозначительная... Я задумался, видимо ища какой-то вопрос или каверзное слово к себе. Окинул славное болотце искренним взглядом, как бы сочувствуя ему в хорошесть послегрозья и после-молнья. И в порыве стеснительного откровения, какой-то неможести под сердцем наклонился, погладил землю: не беда, что обочина пыльной безымянной дороги. Я с тобой. Друзья мы!

16 июня 92 г. Город задыхается, никогда еще так много пыли не было. Вокруг пожары. Синий очаровательный дымок сопровождал романсы белых ночей. Приятели хитрят, к телефону не подходят. Еще два школьных товарища получили инфаркты. Сам с дурной одышкой передвигаюсь, как в оплеванном сне. Народу на все большой толстый положить... Злое оцепенение. Иногда пронесется в зарешеченных машинах ОМОН. В военном поезде (Ленобласть) два солдата расстреляли своих командиров и с тремя автоматами намеревались «пробиваться в горячие точки СНГ». Одного уже схватили. «Спбведомости» восклицают: неужели мы до того дошли, что жизнь пятерых хороших

людей стоит трех автоматов. (1 автомат — 30-40 тыс.руб.) — Восклищай, тов. журналист. Совесть уже проели.

По радио сегодня («Маяк» тоже в «ногу» времени) передали. В Ульяновской области во время очередной серии «Богатые тоже плачут» (мексиканский фильм для микроцефалов) молодой отец выбросил двоих своих детей в глубокий колодец. Следовательно этот папаша отвечал: «Я очень хотел курить, дети кричали, а жена снова беременна».

Люди оборзели с деньгами. Все ходят и считают, считают. Листают. Слюнявят. Даже дошкольники. Пацаны делают бизнес: торгуют сигаретами, газетами, спичками... Я только в фильмах о партизанах видел таких детей: злых, грязных, в военных сапогах, рваных штанах. Леня искать сравнение: маленькие пенсионеры без пособия.

Нашелся листочек с «концом поездки» во Пск.область, в глубинку, в молчанку. Вот он.

22.06.92 г. Простой летний день. Ясное небо. На душе спокойно и как-то невнятно. Встал рано. Не прощаясь и умывшись (сварил овсянку), взял хлеба, пошел... Солнце светило достаточно, чтобы помнить о лете. На станцию поезда прибывают обычно с опозданием. Билеты на поезд Псков-Луга, без очереди. За год подорожали в 10 раз. На шпалах ожидали местные жители ящики с хлебом, с поезда.

Выстроилась очередь никчемных озабоченных пенсионеров. Очередь упиралась в ремонтный барак... Хлеба еще нет, а очередь этот хлеб уже сжевала мысленно. Со щами, с луком, с пойлом, с так называемым чаем тоже. Помятые, словно дорожным катком костюмы, сильные ладони, к волосам явное наплевательское внимание, какая-то косыночка со шпилькой, веревочка, тряпка вместо кепки. Все настолько неприхотливо, словно наступила полная свобода, и от вещей тоже. Но не свобода то была, увы, а предел нищеты. И государству оставалось только еще снять шкуры со своих лихоподанных, и этими шкурами отхлестать сынков по морде. За все отхлестать. За безголосую покорность тоже.

17.07.92 г. Все опостылело. Удушье и печаль какая-то окостенелая. Уехал в деревню к приятелю. Приезжаю, а в доме снова были воры. Деревня заброшенная, всего 5 домов. Воры разобрали потолок, унесли консервы, топоры, а фотоаппарат оставили в спешке. Это уже третий раз залезают. Дверь в сенцах разломана ломом, мои бумаги раскиданы. Куда бы оставшийся скарб прятать, в землю зарывать?

Гайдар все обещает, обещает. Авиадиспетчеры бастуют (время нашли — конец лета), требуют повышения зарплаты до 30 тысяч. В народе поговаривают, что «социальный взрыв» будет зимой. Отключат свет или

забастуют энергетики. Ну дня три погреемся народ у костров, а дальше что? Пойдет бомбить все подряд.

Из поезда видны горящие леса, поля, как в «Сталкере» Тарковского. Ржавчина, помойка, шприцы вместо хлеба, вместо молока — метиловый спирт. А тут еще массовые отравления в Центральной России грибами. Всюду пыль и стрем. Пишу, а в окно стучится обваренная на солнце сирень. Лягушек зеленых не видно, только черные. Надо — для след. лета — расчистить и распахать небольшой участок, хотя бы под морковь. Небывалая засуха. За все лето один хороший дождь, да и то лишь пыль прибил. Почта на запад ходит с «ошибками», конверты «оттуда» приходят потрошенные... Почтамт — очень славная лавочка...

В пригородах усилилось воровство овощей и яблок. Нанимают для охраны милицию. Фермеры России закупили в Туле для самообороны большое количество ружей. Хлеб подорожал, но еще ожидается подорожание. Мне не пишется, и не рисуется. Какая-то гадкая тяжесть. В электричке контролерам показал вместо сегодняшнего билет недельной давности. Прокололи компостером, так для проформы. Никаких вопросов.

А Павловск замечателен! Роскошные аллеи, скульптура. Будто и смуты никакой нет и люди в городе не падают. Побродил недавно по сочным лугам парка, все мило, ухожено, радует глаз. И скромный бюстик В.И.Ленина не с отбитым носиком, только два негра в Амфитеатре закусывали, да вокруг Аполлона бляди пили спирт и весь пах у него был расстрелян, видимо, из пневматического пистолета.

Посетил дважды славный Петергоф. «Самсон» на отдыхе, «Лев» тоже — не фонтанирует. Большой Каскад взрезан, вскрыт, видны свинцовые листы, вековые промоины в камне и... запах тайны... из ржавчины.

Финский залив в дымке, влажно. Упрямые дубы, сень лип, оркестр старинной музыки, флейтисты в париках ХУШ века. И вертится на уме загадочное слово «Адажио».

17.07.92. Поставил сетку вдаль от тропинок и людей. Искупался. Набрал шитиков. Половил рыбу на поплавочную удочку. Две поклевки. Два часа загорал. Хорошо. Никого нет. Блещет солнце. Вода нежна и приятна. Просторная березовая роща выходит прямо к чистому берегу, вблизи которого изредка встречаются чистые валуны. Тихо плеснет хвостом щука или выбросится из воды стайка мальков, спасаясь от хищной рыбины. Немного искупался. Долго ходил по прибрежной осоке босиком, наблюдал за стрекозами. Возвратился на лодке на другой берег. Выбираясь у берега из лодки, опрокинулся, неуклюже барахтался в тине. Сеть проверю завтра.

18.07.92 г. Собирал ягоды с коринки. Легкие облака, июльский теплый ветер с сенокосья. В колодце воды чуть прибавилось. Набираем

баночкой от «монпансье». Караси попадают в ведро для поливки, плещутся на грядке, между укропом и морковью. Появился местный кот, он здесь хозяин. Гоняет привезенных котов с шумом на дикой скорости. Погоня не на жизнь. Все киски его трусят.

Пошел на озеро проверить сеть. Шел по дороге и в обход лесом. Много темно-стройных папоротников. Огромные осины выворочены ветром. Встречаются кущи орешника. Вот где удочки резать. Сетка оказалась без рыбы. Оставил до вечера в озере.

18.08.92 г. Сплю по 16 часов. Сон хороший, на чердаке, на сене свежем. В окошко светит луна. Комаров нет. Веет ветерок. Утром шуршат бабочки о стекло, будят меня из сна. Да еще птица царапками по старой крыше царапает. А я лежу. Вроде я и не я. Где? Чего? Вдали в Питере волнение сердец и умов. Спешащие поезда, сердитые начальники. А здесь шумит рябина, запах сена и полупьяная от воздуха голова. Счастье это когда в июле ночью стучит дождь по крыше, а ты лежишь на чердаке развалюхи и радуешься, что вода стекает в метре от тебя.

19.08.92. Собирал цветы липы. Расстелил на чердаке. Запах неопишущимый. Купался на речке. Видел и выловил угря. Как он забрался в эти места. Читал и загорал на берегу песчаном. Тихо журчал небольшой водопад. Светило солнце, пробиваясь сквозь зеленые кущи.

Сварил ши из крапивы со шавелем. С сухарями очень вкусно. Собирал землянику и тут же ел ее. Изредка лай проезжей собаки.

20.08.92. Деревенская жизнь протяжная физзарядка. И это лишь предлог, что, мол, надо заготовить сено скотине, вырастить репу и собрать горох. Это не главное. Основное – пребывание на природе. Присутствие среди лугов и хуторов. Нахождение и шевеление окрестных предметов не для себя, а для Окружения.

Деревья в некоторых местах пооблетели. Желт лист. Засуха. Передо мной плавают три карася в банке. Наблюдаю, как они дышат, шевелят плавниками. Надо заменить им воду. Они заглатывают у поверхности воздух вместе с ряской. А потом резко ее выплевывают. И еще стрекохот кузнечики. Черемуха уже поспела. Надо ее собирать для чая зимой.

Закрыв глаза шучьей отрезанной голове, перед опусканием в воду кипятка. «Спи спокойно, дорогая друг», – пальцами нежно погладил плоскую голову, отогнал муху, приложился щекой к костлявой лбине. «Прощая» и разомкнул пальцы над кастрюлей.

Из газет: полное провисание ротоглотки, приводящее к (храпу) перекрытию дыхат. путей – «закупоривающее» сонное АПНОЭ (З.С.А.). Из газет: так, около 10 лет назад в челов.моче был найден «фактор С», из 3-х тысяч литров мочи было выделено всего семь тысячных долей

миллиграма «фактора С», но этого оказалось достаточно, чтобы ввести в глубокий сон на 6 часов пятьсот подопытных кроликов.

Вот она проблема досуга...

Будущее представлялось в виде раздавленной селедки на коммунальной кухне... и еще почудилась Виктору почему-то верба.

Сегодня год, как была попытка военного переворота. До сих пор гадают, что за переворот был? И не лучше ли было бы, если бы Хунта победила, Союз не развалился, флот не делили бы, землю по 30 соток (или по 15 соток? не запомнил) дали бы каждому. А так и без земли, и без хлеба, и без закона. Яма, а не бытие. Лифчик женщина покупает за 500 руб. Это значит за месяц она зарабатывает на 5 лифчиков!

Сейчас в деревнях идет дождь, прохладно. Но земля все одно сухая. Батарейка для приемника новая и сразу сдохла, так что остался без новостей. Забегает славная соседская собачка, верткая, глаза, как у моей школьной географички, — даю хлеб, растертый с четвертью карамельки «Подушечка»: она слюняво слизывает с лопуха и виляет хвостиком. Природная собачка, шерсть достойна уважения. Не городские шавки. Где-нибудь в Итальяндии на какой-нибудь вилле «Перголезе» юная сеньора-гретхен (тхеньера) нюхает розмарин и думает: после полдника, — парная козлятина со сметаной и баклажаны с оливками, — думает: пойти обмочиться в заливе или посидеть в тиши подле ирисов у бассейна с фонтаном чистойшей и мокрой воды из природы ручья, что из Альп истекает, а может из Анд... плохо я гео да и графию тоже неважно учила в скуле экольной.

Читая томик Боккаччо, все никак не понимая, где же гнездится тайна любви, все вроде понятно, но все как-то не по-человечески, не по существу. Поеду в Милан, к «семинаристу», он растолкует. Но нет, пожалуй, жарко лучше завтра с Микеле прогуляюсь на яхте, он такой ловкий и так здорово управляет моей яхтой, и вежливый, или заняться чем-нибудь в ботаническом саду, маменька так много для меня старалась, чтобы сад поместить под крышу и влажность держать, ах как много солнца хорошо что нет снега, гадость какая, и как это в иных странах он всю зиму падает, да еще падает иногда осенью и весной. И рабочие, которым и так передвигаться тяжело, все время ходят в ватниках и в громких сапогах. Неужели и они способны на любовь, ведь их грубые спитые души давно их покинули. Их — это кого? Ах как сложно... И как тепло ногам. Что-то Фред не пишет с Канарских островов. Обещал прислать в коллекцию дюжину салфеток под кофе и несколько гербариев, но все наверное некогда. А Марчелло, мой друг, школьный друг меня удивляет. Эти молчания, слишком многозначительные, сопро-

вождая меня в горах, и там вечером, у костра..., нет, он что-то думает, а меня не пускает в свои мысли... удивляет... да...

Сейчас подошел сосед по этой выморощенной деревне, я спросил: как это вон у реки ваша там картошка не сгорела? Он говорит... сказал необыкновенным по-отечески голосом: У-у-у родимица ты моя! как ты воды то достала, ведь я не в силах носить водицу, родненькая для тебя!!! Помолчал. Потом: трудненько, милая, пришлось, видно, одной росой да туманом с реки поилась. — Покачал головой.

21.08.92 г. Керосина для ламп не достать. Ухитрился купить в художественном магазине пару банок разбавителя для живописи — очищенный керосин, свет стоит дороже. Дом приятеля, где я иногда появляюсь, чтобы в очередной раз заколотить окно и повесить, вместо вывернутого, новый замок, — дом стоит в 5 км от станции, в вымершей (3 дома осталось) деревне. Когда-то здесь была школа, звенел колокол церквушки, 50 домов было. Теперь плуг выворачивает очень крепкие кирпичи и заслонку от печки. Очевидцы рассказывают, что в деревне сытно жили, крепко. Лягух, как я, не ловили, на пиявок не засматривались. (Так и не нашел пару рецептов приготовления свадебных блюд из лягушачьих ножек-лапок). И вот в старом доме я сижу в бегах от ужаса мегаполиса, этого придатка, огромной фабрично-заводской общаги, стерилизатора душевных волнений. — Вокруг него вечно горящая фекально-дрекольная свалка, глинистое дно города пробито, прогрызено — чтоб быстрее добраться от фильма «Богатые плачут» до зуборезно-карусельного станка и обратно. И снова туда, проев плешь на коматозной подушке, все мимо и мимо. Немного отвлекся. Немного осекся... И вот стоит этот небогатый домик со всякими старыми ведрами на чердаке, с чайником и блюдечками (непрерменно с отбитым носиком), никому не мешает. Лет пять назад, на двери, даже записочка была «Просьба двери и окна не ломать. Икон и самоваров нет, все вынесено раньше.» Так вот каждый год взламывают двери, окна...

Не удается бандитам двери и окна разбить (засовы крепкие и сильные ставни), шпана потолок разбирает, выносят инструмент, щипчики для сахара даже, не говорю уж о простынях и топорах.

В некоторых деревнях оставляют (не на виду) отравленный спирт — лакай, бандюга!

И вот я прибыл напилить дров и насобирать крапивы для зимы. Вхожу: то ли обыск, то ли погром, решетка в сених выломана, три полубревнины с потолка вырвано, сброшены мусор, земля на столе, на полу. Птичка у окна бьется. Вечно трясохвостка залетает. Эскизы моих работ раскиданы. Керосин в лампах сожжен.

Пойду сейчас пособираю сухих листьев тополя и ольхи для самокруток. Курить на свежем воздухе очень хочется.

Снова смотрю теперь на мокрую, но обгорелую сирень. Колышется за окном морось, туман уже начал шевеление. Мышей не слышно. Чай готовить тяжело, дрова не наколоты. Ничего. Попью раздавленную рябину, красавицу, жеманницу.

Пришел в деревню прошлогодний пастух. Зашел без стука в дом.

— Воо, сколько самоваров?

— Извините, чай только что отпил, а это ... лом, не самовары.

Садитесь, отдых ногам...

— Эх погода, сыро, а была сушь, — это он.

— Всякая погода в меру хороша, — это я.

— Скотина-то сыта в этом сезоне? — снова я.

— Тяжко по окоемикам леса гонять было скотину.

— Да-а... скотина тоже утомляется, совсем.

Помолчали.

Пастуху, загорелому, то ли достаточно испитому или йога какая-то деревенская, — можно было дать 28-70 лет, глаза говорили, что ему лет за сорок, — а голос — за восемьдесят. Сухошавый с выветренной самобытностью, лицо среднее между прибалтом и монголом, скромная ленивая лепка лица, изуродованные сельской землей руки.

— И к чему все это кончится? — сказал я, отдавая дань этике гостевания.

— Это только начало, ик, — он икал.

— В городе уже списки составляют на (...)

— Во как!

— Клюква имеется на этот год?

— Есть.

— И много клюквы?

— Да-а... так...

— Себе-то собрали?

— Все некогда, работа ... (ни одного местоимения не произносит).

— В городе мед по 700 руб., в прошлом годе по 200 был.

— Здесь на госприемке по 400 руб. берут, не сдает никто.

— Ласточек уже нет! — это я.

— Улетели! — это он.

— Мало видать их, они обычно до 23 сентября, иногда до 30 сентября.

Не спешат на юга. Стреляют там, на югах-то.

— Поздно вылупились. Да и чего им здесь-то летать? Мошкары нет, нет и все. Летай не летай, а голоден будешь. Стреляют везде.

— Медведя здесь не видно?

- Видно, след на глине оставлял.
- Опасен воще-то этот медведь... на человека, съест? – это я
- Да съест, не съест...
- Даа, от нас табаком и стаканом несет, и червь-то не съест, вытошнит, – пошла разработка темы.
- Но лучше подалее от него. Не встречаться.
- Нападает поди, вдруг, подло? – снова я, любитель диалога...
- Ну если шатун, подняли с берлоги, тогда да, опасен. Или ранен, тогда схватит.
- За мягкое место и башкой о пенек!!
- (без улыбки) Покорежит, помнет и бросит.
- А что на вашем озере? Удача бывает?
- Кто как сможет (пять с плюсом за ответ!)
- И сеточкой?
- И сетями. Удочкой некогда. Огород, скотина ждет. Это дачники любят балотья (удачно он сократил слово).
- Вчера над озером гуси.
- Гуси (вздыхнул) много... улетели. Много, большие стаи, тяжело махали... Далеко лететь, улетели... А не время лететь...
- Туда ли двинулись, – это я с сомнением о верности направления гусей. – Туда ли?

Разговор зашел в романтический минор. Мы помолчали, я собрался в огород что-то суетунничать. Подарил ему пару «подушечек» (боле нечем угостить, 100 грамм не нашлось) и мы «раскланялись». Вежливый прием, вежливый визит. Он составил обо мне (и о предметах моего окружения) свое мнение. Я – свое о нем.

Когда он ушел, я залез на чердак, лег на сено и стал смотреть в небольшое окошко. За ним виднелась, самобытилась, росла красовела во всю денурийную мощь, и цвела, отцветая в облаке жалонесущих насекомых, собирающих мед, очаровательных маленьких самолетиков, – стояла за окном огромная липа. Все время хотелось кусить ее, как арбуз. Я погрузился в перебор чувств. Они примерно отразились в след. строчках:

*Твердый диван и жидкий стул
Колобахой по лбу, ах мимозы
Я пью фьердоранж оранжево тверд
плюшевый пенниссист Огайо
плыву по реке затем по асфальту
весна слева справа агава
что такое пассатижи
никак не увижу звезду Ита*

льянское мезальянское
 и так я пью оранжад
 даже тошно как хорошо
 играет флейта мальчик
 ест пластилиновый торт
 медведь нюхает валидол
 овсяник мохнатый мишулит
 Албания обалдела пишет луна
 в теме небном ностальгию
 пружинит мох в молодом болоте
 рано утром часа в четыре виктор и зина
 наблюдают цветение голубики
 шль куманики нет ежевики, вики
 ночью туман

Виктор только что вернулся с очередной деловой пирушки. Залез в ванну, отмочился в морской соли, несколько мешков которой лежали под взвизгивающим диваном — жуткий аптечный дефицит, преодоление которого быть возможным стало с помощью шуток, прибауток и доставаньем мягкого самиздата для заведующей аптеки — Розы Официантовны, обделенной мужскими игрульнями по причине чрезвычайной шерстистости и даже щетины на теле, особ — на лопатках и животе. Бедолага Заваптой не могла докумекать, что месье Виктор делал ей утехи для опыта написания рассказа, для чтоб написать заостренный интим из жизни квазиинтимной, — итак, усладив эпидермис соленой ванной, он одевался в одежды и шел к звезде своего сердца — Лизон.

7 лет он ухаживал за Лизой. Еще шесть лет дарил ей и цветы тоже. Много и часто. И еще три года увивался за ненаглядной лушилищицей кокона, следом, всюду! Полысевший и чуточку трахнутый своим любовным сыском.

Надо отметить, что целый день павлинно волочась за фурией души он чувственно весьма накалялся. Хвала небу — он имел про запас «компромисс». После изматывающих волочений он являлся к селедочнице, продавчихе из рыбного магазина и, распив с ней желудовоцикорийный кофе — напиток «Балтика» (ГОСТа 18-36-71) по 40 копеек за двухсотпятидесятиграммовую пачку, — а перед этим он разбивал молотком замороженные плиты мойвы, мыл скользкий торговый зал. Имел затем с селедочницей эмоциональный «разгрузон», имел прямо на глыбах скумбрии и льда, под присмотром кошек. Она по окончании говорила «однако», вздыхала удивленно и в который раз читала его профсоюзный билет.

Потом оба шли к ней и смотрели по ящику передачу «Наш сад» или слушали пластинку с хором имени Андреева, забыл инициалы.

Виктор набивал для просушки на ночь ее ботики толькочтой газетой «Сельская жизнь» («Гудок» не подходил для этой цели, краска вонючей), сам шел к себе через Волковское кладбище, чтоб там у себя, за своим волшебным столом словесного выдумщика склонить в самотрясе чепуховину мозга и вывести именно тушью на бумаге «Снежинка» заглавие очень личного рассказа.

Великий или тихий или гневный океан, кемарит ласточка в полете, ромео метеор стирает в луже, желудок язва полкило ума, полет авось или отнюдь отчего, лифт замер в небесах скользит коса, и одеялен липкий запах спится, поежится плечами у костра стодвестинож, ка ха ха стула латы на алтын, аршин без молдаванки без адесы, седалище для поедания слив, власяницей щелеет мордулет, шеллак без кадмия миазм пошады, достчечка стчекотанница деряба, редееет Лист у книги звездолет, летальный агрегат регатен мир печали.

Утром речка играла сквозь взрослый снег. Поваленная береза — отдыхала — после невзгод. Близился март, пьяный апрель, что за ним — я не знаю. Чуть слышно сопел за дальним подлесником сугубый волчище. Апчхи, тряхнул толстой лобярой и этак суглинисто шевельнул загривок в проединах молю: в пролет военсамолету. И подумал — только глазом — одним только глазом — подумал, а летчик-то болен печенкой, ну и хрен лисий с самолетами ихними. Пойду-ка похрумкаю озерцовый ледок, весна во дворе, во лесах. Ах, славно я зайку гонял в декабре! И еще погоняю в апреле...

Лев РУБИНШТЕЙН

МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ

1 Если говорить вполне серьезно

2 То уже поздно

3 А так все нормально: ветер иногда
вост, иногда молчит

4 А мокрая ветка в окно стучит

5 Мокрая ветка в окно стучит

6 – Не понять ничего

7 Муха на стекле раздавлена –

8 – Спать в одиночестве

9 Дитя в люльку напрудило-

10 – Левое с правым спутать.

11 Мертвое тело на дороге –

12 – Спичка сломается.

13 Крыша посередке протекла –

14 – Гостям пожаловать.

15 С краю крыша протекла –

16 – Соседу позавидуешь

17 Черный кобель –

18 – Прямо у ворот гриб найдешь.

19 Пришел, кого не ждал –

20 – Подумасшь:

21 Разбуженный могучим взмахом

22 Неосторожного крыла

23 Внимаешь с трепетом и страхом

24 дела

25 Пока с душой играсшь в прятки

26 Протоколируя судьбу

27 без оглядки

28 в гробу».

29 Крыса воду пьет —

30 — Гость до ночи засидится.

31 Коса не заплетается —

32 — Самовар прохудится.

33 Дед с палкой —

34 — Живот прослабит.

35 Лодка с одним веслом —

36 — Кривого полюбишь

37 Черный таракан —

38 – Чужой дядька напугает.

39 Рыжий таракан –

40 – Забудешь, чего хотел.

41 Вместо меда говна поел –

42 Мечта сбудется.

43 Об камень споткнулся –

44 – Скажешь:

45 «Сегодня мне не до искусства –

46 Прости, прости, уж спать пора –

47 чувство

48 игра

49 Но не игра на понижение

50 без преград

51 движение

52 наугад».

53 Девка голая –

54 – Мизинец прищемить.

55 Кузнец сватается –

56 – Безымянный прищемить.

57 Цыган спичку зажег –

58 – Средний прищемить

59 Зерню просыпано –

60 – В темноте проснешься

61 Книжку читаешь –

62 – Платком махать.

63 В лесу цветы собираешь –

64 – Начнется не в срок.

65 В поле цветы собираешь –

66 – Как войдешь, так и выйдешь.

67 В зеркале себя не узнал –

68 – Вспомнишь:

69 «Пока не спросишь, не ответят –

70 не дадут.

71 ветер

72 труд

73 презренной прозы

74одного на всех

75смех

76 Невидимые миру слезы».

77 В болото залез —

78 — Не с кем и поговорить будет

79 Курица соловьем поет —

80 — Смерти не миновать

81 Надешься неизвестно на что —

82 — Борься с мучительными
сомнениями.

83 Поражаешься собственной
нерешительности —

84 — Цепляться за жалкие остатки
собственных представлений

85 Произвольно раздвигаешь
границы общепринятого —

86 — Фатально приблизишься к тому
моменту, когда все это решитель-
но потеряет всякий смысл.

МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ

87 Не заметил, как ветер утих и
погасли последние звезды —

88 — Позабудешь, что все позади и
что время ушло безвозвратно

89 Исчезаешь куда-то, затем
возникаешь неожиданно-незванно —

90 — Вдруг поймешь, что пора
уходить. Но куда?

91 Ничего не понятно —

92 — Мокрой ветке в окно стучать

93 — Мокрая ветка в окно стучит

94 Воеет ветер, вода журчит

95 И хотя все это уже давно и хорошо
известно

96 Почему-то все равно интересно.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

ДНЕВНИК НЕИЗВЕСТНОЙ

*«В том жарком городе, где нам
Прошедшего не жаль...
Где грезится сазандарам
Святая старина,
Где часто музыка слышна
И вьют Знамена».*

Я. П. Полонский. «Н. А. Грибоедова».

*«Я весело въехал в заветную реку
и добрый конь вынес меня на ту-
рецкий берег. По этот берег был
уже завоеван: я все еще находил-
ся в России.»*

А. С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум
во время похода 1829 года».

... Как-то под утро мне позвонила знакомая писательница и рассказала: такого-то числа, сего месяца, привиделось ей во сне, начнется третья мировая война. В ужасе пробудившись, она стала тормозить своего сына-подростка и теперь вот они складывают в чемоданы необходимые вещи, чтобы бежать туда, где, по ее мнению, можно отсидеться, то есть в одну из независимых северных республик бывшего Союза; может быть, туда не докатится.

Потом позвонила снова — уже оттуда. Кажется, обошлось, по крайней мере ни по радио, ни по телевидению не было никакой информации по поводу.

Зато в означенный день, сообщила она, были развязаны военные действия в другой независимой республике, чья виноградная лоза, взлелеянная южным солнцем, многие годы дарила нам молодой хмель и старинное отдохновение — во дни сомнений и тягостных раздумий.

А еще какое-то время спустя всплыли, казалось бы, из небытия эти записки неизвестной...

* * *

«... в беспорядочной перестрелке был убит старший сын моего Крестного Отца, мальчик Гиорги, солдат 28 лет. И потянулись по весело цокающей брусчатке черные процессии с увеличенными фотографиями юных красавцев в изголовье гробов.

Гиорги был трудным ребенком своего отца. Он ушел на войну, чтобы защищать свою Родину-мать. И мне неизвестно, какие слезы лили его родители, что говорил ему на прощанье мой Крестный, из уст которого я никогда не слыхала ни одного воинственного слова.

Его голова, однако, всегда была в цене золота у всех тиранов и кровопийц нашего времени. Слава и авторитет сего доблестного мужа уже в те годы, когда мы повстречались, была заслуженной и непомерной — человек, ставший легендой, книгой, голосом... Легкая сванская шапочка на его небольшой породистой голове поневоле выглядела воинским шлемом, хотя, конечно, не могла уберечь от пуль — не его самого, так сына-первенца и ему подобных; за что, о за что и кому это нужно, кто послал их на смерть беспощадной рукой?..

Помню, как сидя с нами, гостями города, в одном из самых уютных и немислимых жилищ, щедрым безумием его хозяина-альпиниста превращенным в одну сплошную стойку бара, он своим хриплым, перенесшим страшный недуг голосом рассказывал нам тюремно-лагерную одиссею — удивительную и почти авантюрную историю собственных посадок, отсидок и побегов. Житие благородного разбойника сталинской эпохи. И мне казалось, что и доселе скачет он всадником по родным горам и долинам, сверкая если и не белым плащом с красным рыцарским крестом, то, по крайней мере, косматой буркой; он скачет и мгlistое пространство за его спиной волшебным образом расслаивается на три отдельных, основных цвета: белый, красный, черный. Мир божеств, мир людей, мир усопших...

Меж тем руки его, лежавшие на поверхности праздничного стола, совершали какую-то необходимую ему работу, то и дело сгибая, разгибая и соединяя по-иному тонкий и упругий ствол лозы — до тех пор, пока вдруг не вышла видимая фигура, сходящаяся своими частями к единому центру и разбегающаяся от этого центра во все четыре стороны. Птица с раскинутыми крыльями. Человек с распростертыми руками. Деревянный крест. Еще одно движение — и его вертикаль была вогнана в оранжевую плоть спелого плода. Фигурка — это орудие пыток, страстей и мук — обрела понятную устойчивость. Я сидела как зачарованная.

— А ведь это и есть символ вашей великой, гостеприимной земли, — охотно заметил кто-то из приглашенных. — Лоза, крест и спелый плод...

Однако неожиданное соседство крестообразной фигурки с хурмой придало нашим рассуждениям какое-то новое направление. Все согласились, что крест на шаре более напоминает другой символ — власти и торжества империи, столь обширно раскинувшейся вокруг нас. Счастливые и хмельные, сидели мы за бескрайней стойкой перед деревянной самоделькой, как перед знаком развилки, расчленения пути, где налево, как в сказке, — смерть, направо — жизнь, но где право, где лево, никто не знает...

Близилось утро, и головы пирующих уже клонились, пытаясь прильнуть к милой ладони земли, чья бы она ни была — своя ли, чужая ли. На прощание я сказала, что мои родители, давшие мне вполне привычное для русского слуха имя, вряд ли знали об его корнях и думали о святой покровительнице сих мест. Тем более не заикались они о таинстве Крещения — времена были такие или нравы, но я всю жизнь без всяких к тому оснований ношу чужое благородное имя, откликаясь то на Нинку, то на Нику, то на Нинон в зависимости от скоротечной моды родных дворов.

Он в ответ лишь улыбнулся, и та же быстрая рука записала на белой, окрапленной кровью кахетинского, салфетке номер машины. На следующее утро я была подхвачена черной «Волгой», унесшей меня на своих отполированных крыльях в древний и славный, насчитывающий без малого девять столетий храм. Там, в маленьком домике чуть поодаль состоялось то, о чем я так давно мечтала. Мое имя было возвращено мне, но уже как дар и благословение. Повинуясь жесту священника, я ходила малыми и большими кругами, в лицо мне брызгали прохладной водой — и, наконец, на грудь лег тяжелый гагатовый крест, больше похожий на черный траурный самолетик.

С непокрытыми головами мы вышли под ласковое зимнее солнце и вскоре очутились в глубине самого храма.

Крестный замедлил шаг у одной из икон, висевшей в тихом полумраке свечей. Это было изображение Георгия Победоносца, нашего русского Егория Храброго — небесного покровителя «христоролюбивого воинства», как указано в энциклопедии. Обычно мы привыкли видеть этого героя всадником, восседающим на коне, копыта которого попирают извивающуюся гадину. Я помню разящий жест руки, коей смелый рыцарь вонзает копьё прямо в отверстие пасть, в ядовитый пламень языка. Белое, красное, черное...

Но здесь перед нами был совсем другой Георгий, темный и задумчивый, стоящий в черно-коричневой мгле с собственной отрубленной головой — живые глаза головы были устремлены в высь небес, уста открыты для молитвы...

— Пока я жив, ни один волос не упадет ни с твоей головы, ни с головы твоих детей, — тихо и торжественно произнес Крестный. — На этой земле, под этим солнцем тебя всегда ожидает счастье и покой, пока я жив...

Вся моя неутоленная детская душа рванулась навстречу этому человеку, стоявшему передо мной в великолепии своей старости! Я молча поцеловала его руку. Он в ответ взял мою, каждый палец в отдельности, как берут виноградины, нежа сладкую плоть губами, погружая ее в чашу рта до самого неба, и ненадкусанной, непролитой отдавая обратно. Невиннейшая, первая и последняя ласка, лишенная остроты, коей человеческий пол, мужской либо женский, жалит чужую суть, тревожит и разверзает живые ткани жизни. Ласка, в которой наше единое, не разрезанное на две половинки естество жило в своей целомудренной, отцовско-дочерней завязи: Отец и Дочь. Казалось, наше соприкосновение передается всему окружающему пространству. Все вдруг соединилось и сплелось. И то, чему суждено было, состарившись, разрушиться, став безымянной каменной рутинной, и то, чему должно было по этим камням пройти легкой женской стопой... Лиловые кисти винограда и контур замка, высоко парящего над светлыми водами, каменные карнизы и плоские кровли, балконы и решетки, крутизна гор и тень заросших плющом садов, башенки церквей и томительные звуки зурны, покой царственных могил и блеск молодого полумесяца, шум водопадов, цвет граната, прохлада горного ручья, ветер, зной, мгла, свет — все, что только эта земля могла подсказать воображению чужестранки, на секунду переплелось во мне, позабыв о вражде. Над царством, здесь некогда бывшим, над призраками соборов, дворцов и башен, рождаясь, вставало какое-то новое неизвестное царство...

Ровно через три месяца я покинула родной край, поменяв место жительства навсегда, ибо, как говорится, не та родина, что тебя родила, а та, что дала имя.

Мой родной отец, Степан Иванович Восторжин, к тому времени уже скончался — ровно за год до моих крестин, так что для любящего его взора остались скрытыми многие события моей женской биографии: развод и раздел имущества с моей первой любовью, распавшийся брак со второй и наконец третья, вполне счастливое замужество, которое еще только ожидало меня в чужих землях, с благополучным разрешением от бремени двумя здоровенькими и синеглазыми — в деда — близнецами.

В очередную годовщину смерти перед самым отъездом я посетила могилу отца на одном из московских кладбищ. Образованное в 60-х годах нашего столетия вместе с районом новостроек, оно не имело роскошно-похоронного исторического шлейфа, но и не зияло комму-

нальной убожеством — это кладбище всегда встречало меня опрятностью памятников, деловитой житейской скорбью посетителей и домашним полисадником рябин, акаций и берез. В пору же моей печали на могилах и памятниках всегда лежал толстым слоем ваты тополиный пух, с которым в городе давно уже устали бороться, а здесь и по давню. Все ж я постояла, покурила, помахала веничком... Освободившись от белого налета, портрет отца на памятнике сверкнул своей ослепительной красотой, и я подумала, что это надо умудриться — изобразить покойного так точно и так непохоже. Ни одной черты моего папы не узнавала я в этой искусной халтуре! На фото, с которого срисовывали, был заснят человек в военном мундире, в шегольской курящей позе — здесь же, согласно воле близких, он был переодет в штатский костюм. Осталась та же законченность жеста, но папа из костюма словно бы ушел. Я никогда не видела его при жизни в военном, всегда только в штатском, но с другим, домашним выражением лица. Поэтому, когда на похоронах играл военный оркестр, и все в один голос говорили, что отец был прежде всего солдатом, — это казалось мне торжественной, пустой метафорой. Папин же военный мундир и ордена, которые несли за гробом, выглядели атрибутами какого-то печального маскарада. Но вот с портрета на меня смотрел как бы вторично переодетый в штатское папа, а ощущение костюмированности не исчезало, а наоборот, почему-то усиливалось. Я с беспокойством озиралась вокруг себя. Керамические лица стариков, детей, людей в военном и штатском смотрели на меня из искусственных цветов и блестящей похоронной мишуры. Отец здесь был как бы на месте, словно член дружного коллектива — как когда-то при жизни принадлежал он другим каким-то коллективам: солдат армии, служащий ведомства, член партбюро, работник невидимого идеологического фронта. Он снова был на месте, а я — нет. И мне просто некому было, смеясь и плача, рассказать о моем папе, ибо у меня его опять не было. Но был ли он сам у себя?

С годами мне все легче его вспоминать, но рассказывать — все труднее. Уста мои замкнуты, на них лежит печать предательства, потому что бессловесность — то же предательство. Хотя, если разобраться, в чем моя вина? И кому это вообще интересно —

как однажды, будучи в самом нежном возрасте, я ухватила жадной ручкой за роскошный цветок кактуса, а потом руку лизнула. В розовую плоть впила добрая сотня маленьких игл, и мой язык после этого лучше всего было бы отрезать, но папа, усадив меня рядом, в течение нескольких часов удалял иголку за иголкой, пока ни одной не осталось;

как в один прекрасный день мы ехали куда-то на автомобиле с вкусившим яда зеленого змия папой, ехали все время задним ходом,

потому что он начисто позабыл, как включаются все остальные скорости — и все же благополучно доехали;

как глаза его всякий раз наливались слезами, когда при нем кто-нибудь упоминал о его покойных родителях, моих дедушке и бабушке. Он не плакал, просто взгляд его в секунду подергивался влажной поволокой, и я думала — вот бы мне так помнить и любить своих родителей. Однажды даже в одной из строгих заграничных анкет посреди пунктов о родственниках за рубежом, общественной работе, партстаже, свободе от суда и следствия рука его сама вывела: «мама умерла в Москве...»

И, конечно, совсем уж неуместно вспоминать его советско-шпионское прошлое — жизнь человека, одетого в этот самый мундир. Да и откуда мне знать, как оно все было? Что, к примеру, испытывал лично он, когда 1-я армия Войска Польского, в рядах которого он прошел всю войну, находилась у той исторической черты, на берегу реки, по другую сторону которой жители города подняли «несвоевременное» восстание? Как стояли они там с молчаливыми орудиями и свернутыми знаменами безмолвующим множеством, — когда другое множество их братьев погибало от пуль, тщетно ожидая поддержки... Что он при этом чувствовал — в час всеобщего предательства, поголовных призывов, побед и поражений...

давно уже канули в мутную речку времени и его послевоенные фельетоны и политические радиопьесы, в которых так красноречиво (не сбросить со счетов двух курсов литинститута, в котором он до войны учился) опровергались ложные сведения о «якобы политических целях одного советского рыболовного судна»; оказывается, под предлогом лова рыбы в Атлантике оно будто бы содействовало проникновению мятежников в ряд стран Южной Америки — так отчего же, саркастически замечал папа, до сих пор не захвачены ни Аргентина, ни Уругвай, может быть, стоит подбросить этим, так называемым, рыбакам бузуки и новейшие виды отечественного вооружения? «Утка» с стюлькой» — как сейчас помню, назывался тот фельетончик, заканчивавшийся фразой: «Такова уж рыба участь — быть пойманной!»

Или вот вам некий босс из Америки и его помощник Боб, птичка помельче, но тоже очень вредная — запивая валидол виски, беседуют, подонки, о сферах влияния в тех же странах Южной Америки, столь небезразличной папиному сердцу. А попутно пытаются составить некий идеальный портрет правителя: под генеральские эполеты, наскоро прикрепленные к либеральной тоге, нахально ташут они характерные черты таких «политических выроdkов», как Дювалье, Трухилья, Самоса и т.д. «Кризис углубляется наличием стран военной диктатуры,

но, к счастью, появился также ряд других стран, желающих освободиться от грубого давления со стороны «северного колосса», добиться своей экономической и политической самостоятельности», — с облегчением заключает папа...

Кто кого обманывает в этом мире, кто кого предает, допуская бесконечные подмены в уже который год, который век идущем маскарадном шествии; когда наконец стихнет нестерпимо веселая музыка, смолкнут звуки трубы и барабана, исчезнут шеренги марширующих, мертвых и живых, молодых и старых, всех, всех, всех — и раздастся в тишине один чей-нибудь голос, не солгавший и предавший, просто человеческий голос?..

...Закрыв на проволоку калитку могильной ограды с четырьмя облупленными факелами по углам, я медленно уходила прочь от папиного портрета, а тополиный пух все лез и лез мне в глаза, в уши, в ноздри, все цеплялся и цеплялся за черный ворс моей кофточки и отодрать его не было никаких сил.

Ровно через месяц я в единственном числе, одна-одиошенька поднялась в воздух.

Самолетик высоко летел над цветными гобеленами юга. Радовало глаз крайне удачное сочетание зеленого и синего, золотого и красного, а также геометрическая замысловатость равнин и степей, вдруг сменявшаяся клубящимися узорами гор в сине-зеленых прожилках водопадов. Скоро мой взгляд зафиксировался на одном ярчайшем клочке пространства. Вокруг плавала какая-то завораживающая дымка, мешая окончательно разглядеть главные, лежащие внизу изгибы улиц, но посадочные огни точно обозначили траекторию спуска, и мы безошибочно приземлились прямо на светлый асфальт, по которому, как по ковру, брошенному тебе под ноги, можно бегать босиком даже зимой.

Действительность превзошла все мои ожидания. Желанной гостьей входила я в этот златотканый городок, жизнь которого казалась мне одной сплошной цепью веселья, удовольствий, дружеских застолий и приветственных жестов. В живых хитросплетениях цветов и линий, среди роскошных деревьев и трав, в легкомысленной игре света и тени виделось мне, мерещилось: чье-то скрытое лицо время от времени вспыхивает в этой вечной зелени лета, горит и жжет, как уголь костра. Было ли это лицо отражением моего собственного юного лика, или же какой-то дух здешних мест являлся мне, искушая бедный женский ум? А может, это был он, демон здешних мест, жадный и страстный, разметающий по склонам гор перистые руки-крылья? Все равно — земля, на которую я ступила, была истинным уголком рая, расцветшим

мне на вечную радость. Но нет ничего вечного ни под луной, ни под солнцем. Недолго уж мне оставалось радоваться...

...Рассвет мы встретили высоко в горах, в выдавшем виды духане. С потолка усталыми гроздьями свивали головки лилово-розового лука и жемчужного чеснока, жалающие языки красного перца и полные света кисти винограда. Грязный пол был засыпан охапками растоптанных цветов. Остывающие от пламени сковороды на низких деревянных столах распространяли едкий, как похмелье, запах умершей, развороченной снеди. Пусты были наши еще недавно полные чаши.

Час спустя я вместе с одним из пирующих очутилась в стенах своего временного жилья, где наскоро прикрепленное кнопками, высоко и укоризненно висело фото моего родного отца, Степана Ивановича Восторжина. Взглянув на его офицерские эполеты и нездешний мундир, мой товарищ-рыцарь, усмехнувшись в молодые усы, задал каверзный вопрос:

— Кто ж этот фашистский генерал?

В ответ я не нашла ничего лучшего, чем разрыдаться. Предательская влага извергалась из моих глаз без звука и счета, вытеснив все подступающие в горлу слова, а проклятый обидчик ловил этот соленый водопад губами в твердом намерении пересчитать каждую каплю и не дать добру втуне пролиться на начищенный до блеска пол. Через несколько дней я от непереносимой обиды, бессилия и любви пообещала выйти за него замуж. Наше венчание, к радости окружающих, происходило в том же храме, что и мои крестины. Спустя девять месяцев я принесла милому супругу двух синеглазых ангелят с нежными перчиками между толстеньких ляжек, и всеобщему восторгу уже не было границ. Главное, отмечался тот факт, что я, чужая по крови женщина, не ударила в грязь лицом и обслужила мужа согласно местным традициям, по первому классу — не подсунула ему какие-нибудь столичные розовые бантики и ленточки. На моем пальце засверкало кольцо с двойным бриллиантом чистойшей небесной воды. Лишь тогда муж признался мне, что моя первоначальная реакция на его вольное замечание в адрес отца была ошибкой слабой женщины: употребив выражение «фашистский генерал», он, оказывается, не имел в виду ничего плохого, напротив, произнес эти слова в «положительном смысле», о возлюбленная моя жена!..

Я приоткрыла было рот, новоявленная Валаамова ослица, но младенцы в колыбели заголосили таким слаженным дуэтом, что мне вновь не достало слов. Даже дух перевести и то было некогда в те счастливейшие дни! И только потом, когда мой драгоценный супруг повесил себе на

плечо эту проклятую игрушку, новенький железный автомат, вспомнилось мне его признание.

Все переменялось в один момент, и теперь, продолжая свои записки, должна я начинать совсем другую материю...

Но прежде — о том городе, где я тогда жила и в котором, быть может, никто из читающих эти строки (если только придется прочесть их хоть одной живой душе, для коей я и пишу), никто никогда не был, должна я сделать следующее описание:

город тот был полон, как небо звездами, старинными улочками, плавным амфитеатром поднимающимися к самой вершине горы и спускающимися обратно, к реке. Все его пространство, плотно заставленное рядами домов, напоминало собой архитектуру театра, обнаруженного недавно в древнегреческом городе Эпидавре: его акустический эффект был таков, что даже зрители последних рядов могли слышать шорох тончайшей бумаги, разрываемой рукой актера. Вот и здесь мы, казалось, ощущали каждый звук, каждый вздох, идущий к нам издалека, и, сидя на многоярусных балконах, на увитых зеленым плющом террасах, слышали тихую потаенную музыку. Для нас, благодарных и восторженных зрителей этого театра, цокали по брусчатке чьи-то грешные каблучки, срывались с губ влажные лепестки поцелуев, отпевали дорогих покойников, тешились в семейных сражениях участники бесконечного городского представления. Это для нас светлым зимним утром, спустившись по деревянной лестнице, побежал вниз по узкой улочке гениальный толстый волшебник, делатель дамских шляп и бессмертной красоты — прыгнул и завис на секунду всей фигурой в воздухе, где и висит на фотографии по сию пору, уже после смерти, прими, о Господи, и его живую многогрешную душу!..

Вся жизнь наша была шедевром театрального искусства — в божественной подсветке луны и солнца, в подлинности бедного сегодняшнего жеста, вкрапленного в общее движение многовековой драмы, с долгими паузами сердца, пруступающими, как кровь, посреди выверенных временем монологов.

Но вот однажды, прямо по ходу идущего мирного спектакля раздалась какие-то нестерпимо резкие звуки — и голос известил о падении тогдашнего правителя. По улицам города под пушечные выстрелы и плач современников провезли величественный желтый гроб с черным плюмажем. Отовсюду слышались крики: «Прошло наше время! Теперь уж не будет, как раньше!»

Выглянув в окно, я разглядела внизу, в море цветов плоско лежащую фигуру, напоминающую собой каменное изваяние. Но тут же крышка гроба с грохотом захлопнулась, и я упала без чувств.

Через три дня, вновь свесившись с балкона, увидела я нашего нового властителя, избранного поголовной волей народа.

То была церемония его восшествия на освободившееся место, и он объезжал город в белом лимузине. На крыше машины восседала роскошная птица. Когда процессия поровнялась с нашим домом, хвост птицы широко раскрылся, как драгоценный веер, и сине-зеленые, похожие на нарисованные зрачки узоры уставились прямо в меня. Я снова упала без чувств.

Вся моя жизнь в тот миг раскрылась передо мной, как этот хвост, ни одной складки своей не угаила. И угадала я в величии царственной птицы собственное ничтожество и скорую погибель. Престрашен был вид того, кто сидел под изумрудно-зеленой, небесно-синей ее сенью в белой лимузинной утробе. Отвратительное лицо он имел, хотя в отдельных его чертах и узнавался сын своей земли. Гордое было лицо, но пустое, с очами светлыми, но мглистыми.

Скоро предчувствия мои начали оправдываться. Уже ходили по городу в обнимку странные полупьяные слухи, уже докатились до нас слова, сказанные новым властителем отнюдь не в молодом хмелю власти, а со зрелым политическим прицелом: «И дома той фамилии я не оставлю на этой земле».

Для многих семей, ранее бывших в почете и славе, теперь наставали злые времена. Кажется, и солнце в те дни не торопилось вовремя взойти — утро стало, как вечер, а день, как ночь.

Дай мне, Боже, забыть то, что было! Дай довести свои записки до конца, будучи в здравом уме и твердой памяти!

С первой моей Родины то и дело летели телеграммы, призывающие меня вернуться, но хоть и не была я рождена на этой южной земле, все же по праву могла считаться ее дочерью. Да и не находила я возможным оставить товарища, многострадального своего супруга, во всех злоключениях должна я была оставаться верной ему спутницей. Поэтому, когда повесил он себе на плечо автомат, я тоже приняла решение скрыться в горах вместе с ним.

Перед самым уходом, надевая на детей теплое, я как-то незаметно стянула с пальца кольцо, две драгоценные слезы закатились неведомо куда, но я даже не огорчилась — вся жизнь куда-то катилась, пропадала... Мы покидали родные места не под прощальные песни друзей, не под плач домашних, а под стук лопат, роющих уличные траншеи, под хлопки одиночных выстрелов. Как тайные враги, проходили мимо затемненных террас и балконов, где вместо восторженных зрителей теперь зияла пустота и так легко можно было разбить боевые точки для

перекрестного боя. Ночь сковывала город, а впереди его ожидало мглистое утро...

Ярусы домов молча наблюдали наше бегство, словно требовали от нас какого-то последнего слова и жеста под занавес, но я боялась даже вздохнуть, не смела даже оглянуться, чтобы еще раз увидеть ту улицу и тот дворик, где недавно играли мои дети, взглянуть на окна, за которыми уже больше никогда не будет наших теней — дабы не окаменеть от горя, подобно Лотовой жене. Путь наш лежал только прочь, только вперед, в зеленые недра земли, туда, где горы еще способны были защитить своих сыновей от предательской пули. Там надеялись мы обрести новое братство среди таких же, как и мы, гонимых и ссыльных.

В первые же сутки нашего путешествия начались всяческие несчастия на воде и на суше. Когда переплывали мы на ветхом суденышке реку, напал на нас великий ветер, и началась жестокая непогода. Словно какой-то злой дух преследовал нас, напоминая о том, что не за тем судьба определила нам жить, чтобы покоиться на этом свете.

Боже, зачем ты испытываешь нас?

Дождь лил день и ночь, потоки низвергавшейся с небес воды переполнили реку до краев, и разлилась она морем-океаном. С наших одежд стекали мутные струи, словно мы вышли из пучины. Я, ранее не видевшая ничего, кроме тихой нашей реки Москвы да светлых и быстрых южных струй, стала свидетельницей настоящего светопрествления на великой и гневной реке, имени у которой не было. Однако не телесные тяготы терзали меня. Главным источником моих страданий было то отчаяние, которое я читала в глазах моего сострадальца, безвинно гонимого супруга. Рука его судорожно сжимала бесполезное оружие, словно, кроме бури, нам каждую секунду угрожала другая, более страшная опасность.

Лишь к вечеру достигли мы берега и наши потерявшие всякое чувство опоры ноги ступили наконец на твердую землю. Наскоро обсушившись, двинулись мы вглубь незнакомой территории.

На землю опускалась тьма и, как тень Норны, перед нами встал вопрос о ночлеге. Где было преклонить головы? К кому обратиться за помощью? Должны ли мы были направиться в ближайшую гостиницу, где у нас тот час же потребовали бы наши неблагонадежные паспорта? Или же следовало просить приют у хозяина одной из здешних сакль и укрыться под сенью его скромного, но гостеприимного крова? И то и другое казалось нам одинаково неприемлемым. Не то, чтобы мы сомневались в добропорядочности своих соплеменников, нет. Просто,

видит Бог, не желали никого из них свергать в невольный грех предательства.

Лучшим местом для ночлега показалось нам место под открытым небом — там мы были под защитой далеких холодных звезд.

Нами был выбран небольшой зеленый луг, идиллической картинкой проступающий в ночи. Мы взошли на его спасительный покров, но какой-то тяжкий дух, поднимавшийся от земли, вдруг ударил нам в ноздри, заложив их дурманом. Головы наши отяжелели и поникли, непереносимая слабость овладела всеми членами — и мы провалились в глубокий обморочный сон... Он длился недолго. А когда мы очнулись, продравшись сквозь странное забытие, то увидели: над нашими головами встают два солнца, одно большое и светлое, как при пробуждении в детстве, другое маленькое и черное, как пуля.

Чего только не произошло с нами во время нашего путешествия: громы и молнии, дожди и бури, страхи и ужасы чрезвычайные! Однако худшее, как оказалось, было еще впереди. Под конец пути попали мы в сплошной белый туман, из которого не было никакого исхода. Мы ступали неуверенной ногой по облачным горам, не чувствуя ни верха, ни низа, готовые каждую минуту провалиться в какую-нибудь опасную щель. И вдруг неожиданно туман стал разжижаться, и мы увидели себя стоящими на ровной, открытой глазу плоскости, в преддверии горных отрогов.

Неподалеку, преграждая нам путь, возвышались огромные ворота тесного ущелья, в суровом молчании поджидавшие одиноких путников. Только вместо кованного железом дерева вход защищали сцепившиеся каменные глыбы. На самом высоком, висящем над нашей головой камне, не то попирая его когтистыми лапами, не то удерживая, чтобы не грохнулся вниз, сидел орел. Под камнем же сидел человек с автоматом, одетый в черный маскхалат и особый жилет с карманами для оружия и пуль.

Он выразил неподдельное изумление, увидев нашу небольшую семейную процессию, но когда мы вкратце объяснили, кто мы такие и откуда, превесело рассмеялся.

— Ну, раз уж дошли, оставайтесь. Здесь вы в полной безопасности, в кругу друзей! — В доказательство своих слов он, на минуту покинув пост, отвел нас в сторону, к самой границе, за которой начинался туман, и на наших глазах выдрал из земли сочный зеленый клок. Посветив внутрь фонариком, он показал нам бледно-зеленый металлический цветок, растущий в земле как настоящий.

— Противотанковая мина, — коротко пояснил наш новый знакомец. — Взрывается даже под ногой ребенка. Даже если пальчиком чуть-чуть

дотронуться, разнесет в клочья. — Он ухнул, как филин, в сторону моих пооткрывавших рты близнецов, и те дружно загалдели:

— Мама, мама, сорви цветочек!

— Тише, тише, дети...

— Идите за мной смело, дети мои! — скомандовал постовой, и мы двинулись за ним. Муж прижимал к себе автомат, а я — кудрявые головы сыновей. Мы шли крайне осторожно, стараясь попадать след в след, пока вновь не достигли каменных врат и не протиснулись в узкое отверстие.

Не стану описывать нашего житья-бытья там, по ту сторону. Скажу только, что мы очутились в совершенно отгороженном от всего мира зеленом пространстве гор и, забираясь на высокие камни, могли с легкостью наблюдать все, что происходило внизу, в мире долины. Однако эта отгороженность лишь на первый взгляд была выгодной и безопасной. Уже к вечеру того же дня небо над долиной вспыхнуло красными угольями трассирующих пуль; как сучья огромного адского костра, там и тут трещали автоматные очереди, наугад, но без промаха били крупнокалиберные пулеметы ДШК, раздавались короткие очереди АКМ, и в сотне метров от нашего лагеря полыхало старое дерево, искры от которого летели в развороченные небеса.

Ровно в полночь на минуту воцарилась странная, жгучая тишина, и я услышала голос, старческая хрипота которого была многократно усилена стальными глотками репродукторов. Ровное сухое тепло голоса распространялось по воздуху не прямо, а волнообразно, как идет световая волна, пока моих ушей наконец не достигли слова:

— Братья и сестры! Бросьте оружие! Не лейте свою кровь и кровь своих сыновей! Помните, что все мы — дети одной великой земли, ни пяди которой мы не отдадим никому! А если вы не образумитесь, то пусть сплошной сокрушительный огонь наших орудий падет на ваши головы и головы ваших детей!..

Я узнала голос моего Крестного Отца. А через пятнадцать минут со стороны противника вступило в бой оружие массового уничтожения «Ураган».

На следующее утро в лагерь принесли убитых, среди которых было и тело нашего нового знакомого. Пуля со смещенным центром вошла чуть выше ладони и огненным пунктиром прошла все тело насквозь, застряв где-то в районе лобной кости. Внешний вид молодого человека, однако, почти не пострадал, и тело с разорванными внутренностями сохраняло покой и достоинство смерти.

Дети мои, меж тем, росли не по дням, а по часам, играя в свои любимые детские игры посреди темных громад. Как сказочные эльфы

прыгали они с камня на камень, ежесекундно рискуя свалиться вниз, в пропасть, но всякий раз уберегались, словно светлые крылышки действительно трепетали у них над худыми лопатками. Каждый божий день в лагерь приносили убитых, нас становилось все меньше и меньше, но детский смех не убывал, не редела шумная веселая толпа. И пока матери выли и плакали, дети продолжали радоваться и резвиться на воле.

Наконец пришел черед и моей семьи.

Ровно в пять часов вечера перестрелка неожиданно прекратилась, и я подумала, что сейчас я снова услышу знакомый голос, — как вдруг из долины повалил розовый, умиротворяющий душу свет. Повинуясь какому-то предчувствию, я вышла к самому окончанию ущелья и, забыв об опасности, встала на высокий камень.

Прижимая ладонь козырьком к глазам, всматривалась я в даль.

То, что я разглядела, было небольшой толпой людей, упорядоченно продвигавшихся в пространстве долины. Они шли, ступая медленно и торжественно, как будто бы в вечности, как тридцать витязей прекрасных в волнах розового света, и я, замороженная этим движением, желала лишь одного — чтобы продолжалось оно как можно дольше. Но вечность кончилась, прямо передо мной вдруг выросли их огромные фигуры. В самом центре замкнутой, молчаливой группы я увидела защитного цвета плащ-палатку, которая обычно спасала нашу семью от дождя и непогоды. Занемевшие руки товарищей, вцепившись намертво, держали брезентовую материю за все четыре угла, как будто пытаясь подстраховать падающее с высоты человеческое тело. Но это тело уже было там. Это был он, мой супруг, лежащий на брезенте, — и я сразу же узнала его, хотя туловище и было разрублено на отдельные части, среди которых, как полноправный член, покоился автомат. Голова, наспех прижатая ко всему остальному, уже не была головой живого, принадлежавшего мне мужчины, она казалась высеченной из пыльного камня и обращенной к небесам, как собственное надгробное изображение.

Не было ни военного оркестра, ни парадного балдахина, ни черных траурных коней, ни лавровых венков, ни пушек с повернутыми назад жерлами, ни опущенных штыков; не дымились факелы памяти, не пел хор, не вторили ему горы; не было могилы среди древних гробниц, под сводами алтаря, куда несут свои моления женщины и дети; ничего этого не было. Кое-как соединенные части тела вновь отторгли друг от друга и, не предавая земле, вознесли на самую высокую вершину, откуда разбросали на все четыре стороны холодного сверкающего пространства. Я рада, что не одно какое-то место на этой земле, а в с я она стала ему пухом, снегом и льдом, сплошной нетающей снежной могилой.

Девять дней я лежала в беспамятстве, девять дней дети мои без материнского присмотра играли в толпе таких же, как и они, сирот, под звуки нескончаемого боя и пьяные поминальные крики...»

* * *

Эти записки неизвестной были найдены в развалинах одного из монастырей на юге нашей бывшей Родины. К тому времени уже вся местность была объята пламенем войны, охватившим ее подлунное и околосолнечное пространство, разрушившим все видимые и невидимые границы, стершим различия природного ландшафта, человеческого пола, возраста, национальности. Цветущая земля сделалась одной мертвой долиной. Ежедневно свершались здесь массовые ритуальные убийства, и над раскинувшейся кровавой свалкой теперь нужно было постоянно поддерживать огонь, чтобы трупная зараза не достигла небес и не поглотила их без остатка. Орудия саперными лопатками и разыскивая под развалинами человеческие тела для костров, наступающие войска наткнулись на старое монастырское кладбище — там, в изголовье свежей могилы валялся пыльный сверток, в котором и оказались эти записки с приложенным к ним неотправленным письмом:

«Дорогие мои сыночки!

Сегодня опять молодой снег пал на нашу обитель, он падает и падает — значит пришла новая зима. Жизнь моя клонится к закату, и я все чаще забываю, что путь мой был темен и прискорбен. Когда проливается на меня этот снежный розовый свет, я поневоле благословляю Всевышнего за то, что не попустил меня вкусить сладости мира сего, ибо — «горе нам смеющимся, яко восплачемся». Безропотно принимаю я все, что со мной случилось под луной и под солнцем!

«Беды в горах, беды в градах, беды и в пропастях земных», — не раз повторяла я еще в пору своей прекрасной юности. Повторяю и теперь, но уже совсем, совсем с иным чувством, названия которому пока не нахожу. Может быть, это страх Божий, а может, что-то другое. Знаю только, что скоро, совсем скоро я окончательно соединюсь с той силой, без ведома которой, как известно, ничего не свершается на этой земле. Скоро рано или поздно мы все соединимся, вся наша семья... Храни вас Бог, дорогие мои малютки! Вы были славные, хорошие мальчишки-близнецы. Вы боялись высоты. Но ваш отец так хотел, чтобы этот страх навеки оставил вас, поэтому он заставлял вас ежедневно прыгать вниз, с самого высокого камня. И вы послушно прыгали. И однажды пребольно разбили себе колени и ладони. И тогда вы прибежали к

маме, но я в тот момент готовила еду и болтала с соседками по нашему военному лагерю. Вы не решились перебивать старших и молча терпели боль, пока я не договорила, славные, воспитанные мальчишки, принявшие на этой войне счастливую смерть: в ночь под самое Рождество, когда вся земля скорбит, молится и ожидает, сама не зная чего. Господи! Прошу принять меня в Твое доброе светлое лоно, в тесные ряды моих братьев, сестер и детей, впусти меня в свои заоблачные высоты, далеко-далеко от этих расцветающих под солнцем мест. О, бедная моя Родина! О, мой отец!..»

* * *

«...Как-то под утро мне позвонила одна знакомая писательница и рассказала: такого-то числа, сего месяца начнется третья мировая война...» Как тебе такое начало для рассказа? — спросила я свою бывшую, разведенную любовь, позвонившую мне по телефону с целью общих воспоминаний.

— А война никогда и не кончалась. Ты посмотри, что творится вокруг. Об этом еще твой покойный отец говорил: война — наше естественное состояние. И вообще писали бы вы о чем-нибудь другом...

— О чем же? — спросила я несколько обиженно.

— Ну, например, о любви.

— Да разве кого-то интересуют наши чувства? — рассмеялась я в ответ. — Ровным счетом никого. И это справедливо. Чувство — провокатор, предатель, оно лишь уводит от сути, искажает лицо истины, так сказать.

— Скажи-ка лучше, как поживают твои сыновья.

— Слава богу, здоровы.

— Георгий и Ираклий, кажется?

— Георгий и Ираклий...

— Я всегда говорил, что ты слишком много придумываешь и сочиняешь, а придумывать и сочинять не надо, иначе будет сплошная литература.

— А я и хочу, чтобы была литература.

— Пиши, пользуясь приемом внутреннего зрения.

— ?

—

— Если у меня и есть какое-то зрение, то, наверное, боковое. Тихонечко обхожу вокруг собственной оси и, зайдя сбоку, рассматриваю: я это или не я? Вроде бы я, а вроде и нет...

— Опять придумываешь и сочиняешь.

— Хорошо, не буду...*

...Я и не придумываю, хоть и сочиняю. И вот что знаю достоверно: тогда в гостеприимном южном доме знакомого альпиниста, который несомненно мог втащить на любую снежную вершину любой груз, в том числе и человеческое тело, тогда все точно было живое, настоящее, полное огня и смысла: и наши наполненные весельем души, и сухой старческий голос, и самодельный крест из лозы. Вот только когда на следующее утро стали мы искать драгоценную рел квию, как ни шарили, как ни мели, как ни разгребали остатки пиршества, так ничего и не нашли — как ничего не доискала я и в тот, другой день, шагая прочь с московского кладбища, а слепая предательская память липла к моему дочернему трауру белым тополиным пухом.

* Ловлю сама себя на слове и свидетельствую: в чисто литературных целях автором, то есть, мною, был использован подлинный голос одной из прекрасных русских женщин 18 века — Натальи Долгоруковой или Долгорукой. «Великой страдальицы» своего времени, по словам историка, попавшей под его «огненную колесницу». После смерти очередного царствования и прежних фаворитов муж ее оказался в опале, и она последовала за ним в далекую ссылку, где пробыла без малого 11 лет. Совсем еще молодой претерпев всяческие лишения, закончила она свои дни принятием схимны в Киевском монастыре под именем Нектарии. На ее надгробной доске нет никаких надписей: когда через Киев шествовал новый император, митрополит Киевский по непонятным причинам велел перевернуть чугунные плиты гладью вверх. Вследствие чего через ее могилу ходил потом всякому не лень. Зато после смерти Долгоруковой сохранились «Записки», написанные слогом живым, торжественным и сладчайшим — несколько чуждым современному слуху. А может быть, именно интонации этого голоса и нужны сейчас нашему воинственному и бесчувственному веку (*Астор*).

Сергей РЫЖЕНКОВ

ИЗ ЦИКЛА: «РЕЧИ БОРМОЧУЩЕГО»

ор

когда кончался кофе в арлекино
иль налит был в граненые стаканы
и слабого взаимодействия в силу
разлученных с собой самими знаков
алфавита эллинского но по
менандру и шекспиру и в транскрипции
метафизической эдгара скажем по
которые одни имеют спины
в стекле особенно же в гранях и другие
в воде доведенной до стадии кипенья
плюс прах кофейный потому и тиной
палеонтологического эля
предметы эти столь не агдрогино
совокупляющееся по воле
печеньем женщин пахнущих плюс авто-
матической для саксауловарки
парящей установки впрочем волю
ля ль приписать бездушному устройству
вопрос который и поныне многих
не самых глупых мудрецов займет
(случай с фарфором всякий сам поймет)
немного отдают тогда казалось
все наконец-то

байрон в горбольнице

он в белом как в плаще халате
ему же из открытой двери поясница
а из другой ключица
стеклянной трубкой булькает и кстати
бедест подоконник где больница

то металлическую смертью кровати
 то лужей хлорки длится
 то теткою в окровавленной вате

он весь в кудрях и в югославских сапогах
 ему же из открытой двери поясница
 а из другой ключица
 стеклянной трубкой булькает и кстати
 белеет подоконник где больница
 то металлическую смертью кровати
 то лужей хлорки длится
 то теткою в окровавленной вате

он подбородок вверх с улыбкой тонкой
 ему же из открытой двери поясница
 а из другой ключица
 стеклянной трубкой булькает и кстати
 белеет подоконник где больница
 то металлическую смертью кровати
 то лужей хлорки длится
 то теткою то новое лицо
 выходит на больничное крыльцо

* * *

С.П.

мама рот открывает
 ногу младенца сосет
 сладкий мой говорит
 в попку целует
 так бы и съела
 съела бы прямо
 и все

приходитуборщицаубиратьсяссыномсанькойисобакой
 шарикомпокамоетконторумыводворешарикзалезн
 ашельмучитаюжурналсенькаюлитподворуприподвы
 пердываягубами

перегар помятыч перечисляет
 коля электрик умер и сухарь
 троллейбус

мастер как его звали
трясется
жичкин да жичкин умер
давка
умер сынок и жора
смеется
никитич умер
смеется
на нем фуражка
кепка от солнца
речфлот

aliens alliance

белковая белка
кукушонок-схематозойд
прямо по марксистским таким волокнам
токашто не благоухая кирзой
торится где-то в подвале ненашего солнца

или что как известно то же
в комарьем клубке
в приватной угольной гемозлектростанции
освещающей на волне исполняющим танец
весь этот ликбез

(и улицу имени остановись
и закоулок исполнись
и площадь dahin
и не-оспоривай-сейф)

воистину многоствольна ряба господня
пусто длящееся
мановенное ль густо
крезей
потерявший нить и не встретивший буку
не выбирает
алкая
поклевки проклевки слепой
но всем трупом своим

тянет немые глюки
пэри объять
объяться ль
черной черной рукой

* * *

не говорю блины и жаворонки
но даже ромовая баба булка с маком
цветка плода большого сада малый
ракуший оттиск ну там хворост
смешно какой поддерживать костер

но эти пляски у огня огня
пшеничий труп гомункул птичий
воды лиенье порошков бросанье
и в вязком лоне как бы скажем стилос
амрита эта

не говорю просфора и кулич
но даже торт раешный рай птолемиада
восхода и заката вымя сочник
пирог ковчежец с пережнойными дарами
и пешка пневмы пышка

не воском и не ладаном конечно
и курится скорее чем курится
имбирь и сахар дрожжи и ваниль
в минус картинку форточки живую
и дальше к небосводу неба

Наум БРОД:

У меня хранится один лист бумаги... я его все не выбрасываю ...попадется на глаза: «Надо, — подумаю, — выбросить» — и не выбрасываю, снова закидываю в ящик стола, между бумаг, как бы совершенно безразлично, но на самом деле какая-то осторожная мысль чуть придерживает руку и вот уже сколько лет лист все не затеряется.

На нем напечатаны на моей машинке три строчки: сверху, посередине и чуть ниже середины. Печатали их человек, явно не умеющий печатать, опытному глазу сразу заметно, к тому же я знаю, кто печатал.

...В тот вечер я где-то болтался и даже нарочно тянул время, чтобы попозже приехать домой, а она в это время ждала меня у меня дома. Ей я, конечно, сказал, что у меня дела, и она, кажется, поверила. Она младше меня лет на пятнадцать, все, связанное со мной, вызывает у нее безоговорочное уважение, по ее словам я для нее «немыслимая, заоблачная высота», но иди знай, что на самом деле роится в голове у такой молодой женщины. Высота высотой, а если что-то нужно конкретное, претензии предъявляются так, как будто и нет никакой высоты. Попробуй, например, «высота» полениться в постели... Пока, правда, для нее я и в этом вне обсуждений. (Как мне казалось. Теперь я вообще осторожен с тем, что думают обо мне, тем более в таких вопросах).

Чем дальше я не шел домой, тем приятнее мне становилось от того, что там сейчас кто-то находится; легко, без грохота определяет в моем кавардаке каждой вещи свое точное место — так, что, когда я войду, прежде всего я удивлюсь тому, что в моей маленькой комнате так просторно, что захочется походить по ней.

(Я не называю ее по имени потому, что это имя я очень не люблю: оно мне кажется холодным и, кстати, ей совсем не подходит и вообще неуместно выделяется из строчки: Люда. Одно «ю» чего стоит. И еще «д» за ним! И это имя совсем не соответствует тому состоянию, которое возникает во мне, когда на глаза вдруг попадает этот лист с напечатанными строчками).

Ее появление было для меня и кстати и некстати. Вначале «кстати», так как «кстати» чаще всего предполагает какую-то частность, по крайней мере — в данном случае. Она собиралась приехать, когда мне было совсем тошно. В это время я как раз был один, все от меня разбежалось — время от времени такое случается, причем, действительно, пространство вокруг меня разряжается полностью, у меня не бывает так, чтобы спокойно, без театральных эффектов, сохраняя плотность

почти одинаковой, кто-то сменял бы кого-то — нет, во всем у меня или пусто, или густо. Конечно, всегда можно, наплевав на самолюбие, кого-нибудь вызвонить для временного утешения, но обычно после этого ко всяким внешним пакостям добавляется еще и отвращение к себе. А эта девочка как бы возникла сама с собой, я даже из нуждающегося в утешении превращался в некотором роде в того, в ком нуждаются.

Можно было не поехать на вокзал — раз все так. Но совершать такие поступки для меня не естественно. Я всегда завидовал тем, кто на это способен. Демонстративно — я могу, но что толку от демонстрации? Легче не становится, а стыдно — да: и из-за наигранности, и из-за того, что начинает заедать совесть и жалость. К тому же она могла решить, что я не получил телеграмму и заявила бы сама. (Хотя могла и постесняться...)

«Кстати» еще и потому, что она человек милый, без претензий — легкий, как говорят о таких. Ее присутствие, сколько я помнил, было не обременительным. Правда, пока это всегда были только гостевания, то есть пока только праздники. Но она и внешне... особенно, когда в колготках отходит к окну одеваться: стройненькая, ноги длинные и так далее, в контражуре — тоже кажется легкой.

А «некстати» относилось к в о о б щ е — к вообще человеческим свойствам, в данном случае — не лучшим: эгоизм, лень, подлость и в таком духе. Можно сказать, что в тот момент, когда я узнал, что она едет ко мне, я был выразительным представителем именно этих свойств — вся эта гнусность разом заклокотала во мне, пока там соберешься, чтобы унять это!..

Телеграмму я получил около десяти вечера. Я только пришел откуда-то, еле ввалился. В телеграмме было, что поезд приходит в пять утра — сразу проблема, как добраться. Такси — крайний вариант, денег, как всегда, не было, а жил я в новом районе, далеко от метро и без телефона; зато с соседкой, полы под паркет, второй этаж, в моей комнате лоджия.

Соседка, кстати, сидела в это время в кухне, чаевничала, в байковом халате с сиреневыми цветочками; искоса она заметила по моему лицу, что телеграмма озадачила меня — я действительно какое-то время поторчал у двери, соображая, а сделать лицо непригодным я никогда не успеваю; почему-то всегда, если кто-то есть, я должен выразить свою эмоцию; тут же, еще не успев излиться, понимаю, насколько она неуместна для посторонних ушей, что только вежливое терпение заставляет людей сочувственно кивать, тысячу раз клял себя за это и все равно ничего не могу с собой поделать. Самое смешное, что я, знающий за собой эту слабость, считаю себя скрытным, умеющим собой владеть. Ерунда какая-то...

Раз человек приедет, его надо чем-то занять. Хотя меня у в а ж а ю т и постараются сделать так, чтобы не доставлять мне хлопот, тем более,

если я сразу оговорюсь, что занят. Но все равно... Остаются вечера, будут еще какие-то часы выпадать — человек из провинции, захочет перехватить чего-нибудь столичного. А я, между прочим, не из этих. Для этого ни должности, ни денег, ни подходящего характера. Были бы деньги, можно было бы куда-нибудь сводить, хотя бы для того, чтобы самому не было скучно. А так — сиди, привязанный к своему микрорайону, комната с лоджией, второй этаж, улучшенная планировка. Когда один — еще ничего, привыкаешь, с самим собой не скучно, хотя это и пахнет патологией, но на самом деле объясняется просто: скучно — это когда чего-то ждешь, а что можно ждать от одиночества? А когда ты с кем-то, да еще с молодой, да еще откуда-то?.. С такими юными созданиями можно иметь дело только тогда, когда можешь им покровительствовать, проще говоря — откупаться щедротами. Современный мужчина вообще плохо знает, что такое доставлять радость себе тем, что можешь доставить радость женщине. Ладно, если она взрослая тетя, уже все сама прибрала к рукам. Но когда ты оказываешься связанным с молодой... В моем распоряжении оставалась только полторная тахта. Так ведь и то не двупальная и не в отдельной квартире с кафельной ванной, кухонным набором, кофемолкой... свежемолотый кофе... виски с содовой... журналы с нерусским шрифтом на атласных обложках. И не валяться же целыми днями в постели. Уже не мальчик. Часам к одиннадцати хочется позавтракать, газетками пошуршать под кофе, поворошить в голове разные приятные планы на будущее... Хотя девочка аппетитная. Правда, интерес у меня к ней уже давно не тот — дело прошлое.

Но встречать надо было. Вот не помню: это было летом или зимой. Она приезжала несколько раз, то, что это был не первый, совершенно точно: для первого раза был бы совсем другой ход рассуждений. Один раз она приезжала на вступительные экзамены, один — проездом из Ленинграда — тоже летом; пару раз — зимой, просто так, за покупками и в командировку: отрядили от работы покупать елочные игрушки. Долго она была только один раз — когда поступала в институт, и то я тогда уговорил ее остановиться в общежитии, а ко мне — пожалуйста, в любое время и насколько хочет. (То есть в любое время я мог отправить ее в общежитие — не на улицу). Но теперь быть с ней больше трех-четырёх дней мне тоже могло показаться, что это «надолго». Поскольку она приезжала в пятницу, могло статься, что она собиралась быть три дня; хотя могло быть, что и дольше, а субботу и воскресенье она, естественно, прихватила заодно.

Встал я в четыре... (Вот совершенно не помню: было светло или темно. Потом, когда мы шли по вокзалу, было светло — значит, вряд ли

зима. Скорее всего, задержавшаяся весна. По поводу того, что «я в четыре утра выхожу из дома», возникают на равных правах две картины: слева темный торец соседнего дома на небольшом пригорке, от него по периметру тротуар и проезжая часть, потом круто вниз травянистый склон, опять тротуар, шоссе, тротуар противоположной стороны и густо заросший довольно глубокий овраг — так вот, в одних случаях все это белое, кроме черной полосы шоссе, в других — тротуары и шоссе светлосерые, по летнему смиренные в такой ранний час. Но в перспективе всегда один и тот же светло-сиреневый цвет). Вдруг меня осенило: позвонить на вокзал, узнать, не опаздывает ли поезд — этот часто опаздывает. Действительно: опаздывал! На три часа. С одной стороны, я обрадовался: решалась проблема, как добраться, не надо было тратиться на такси; с другой стороны, разозлился, что зря встал в такую рань. На улице пустота — ни людей, ни машин. Еще и погода дрянная. Противно все.

(Нет, точно не летом: судя по погоде и по тому, что на вокзале, когда я приехал, было сумеречно и только к подходу поезда стало светло, правда, относительно, потому что погода была мерзкой — дождь не дождь, холодно, пасмурь...)

Еще и на вокзале пришлось ждать час — поезд опаздывал уже на четыре часа. Дома я не стал завтракать, а теперь захотелось, но к вокзальному буфету очередь. И коллеты сухие. Присесть тоже негде; купил газет и не могу почитать...

Да, мне еще нужно было куда-то успеть, по делу. В самом деле, по делу, без туфты, примерно в это же время, хотя известно, какая у нас теперь пунктуальность, тем более, когда у одной стороны личная заинтересованность, а у другой — только государственная. Личная была у меня, так что мне бы только спасибо сказали, если бы я не стал беспокоить. На свое «дело» я мог бы наплевать, почти стопроцентно зная, что ничего из него не выйдет, но пока оставалось немного надежды — я еще и в связи с этим дергался: то ли потащить ее с собой, значит, где-то болтаться с ней по такой погоде, пока не выйдет время идти — это часа два, или сразу мотнуть домой, оставить ее, а потом уехать. Дело в том, что я теперь не мог дважды в течение дня мотаться из своего района, а я привычку выработал: если выбираюсь, то так, чтобы сразу сделать все дела. Иногда, чтоб лишний раз не возвращаться в свою железобетонку, приходилось часами просиживать в кафе за одной чашкой кофе, а какие в Москве кафе — объяснять не надо: проходные дворы, все в пальто, ну или, по крайней мере, в головных уборах, которые не любят принимать гардеробщицы... грязь месят, не знаешь, куда шапку деть; а если чуть попримличней, уже неудобно ждать с одной чашкой кофе: через десять минут начинаешь нервно водить задницей

или, наоборот, весь собираешься в кулак, готовясь к борьбе за выживание, мысленно репетируешь обличительно-защитительные речи, в голове делается горячо, пока вдруг не спохватишься, что такая борьба глупее, чем сдать без боя... Или приходится просто гулять, а это я совсем не умею: *п р о г у л и в а т ь с я*. Говорят, что тогда хорошо думается. Перед каждой такой вынужденной прогулкой я настраиваюсь на то, что сейчас мне будет «хорошо думаться» — хоть такая маленькая радость послужит компенсацией неудачно сложившемуся дню. Но именно тогда-то в голову начинает лезть всякая дребедень и, ладно бы, дребедень — как назло, вся с короткой жизнью: не успеешь о чем-то подумать, как и думать уже не о чем — начинаешь думать, о чем бы еще подумать. И время в таких случаях тянется страшно. Даже думанье о предстоящем деле и то сразу обрывается, никуда не развивается — *н е и г р а е т*.

Да и дела тоже... такие, что всякий раз, произнося слово «дела», я стараюсь быстренько забить его соседними словами, чтобы не дай бог у собеседника не возникло искреннего желания поинтересоваться: «Какие дела?» Чушь какая-то, почти всегда унижительная: это я шебуршусь под всеми, напоминая, что я еще есть, еще жив, хотя кому напоминать, зачем? Ну живу... ну не живу. Я настолько никому не преграда в моем нынешнем существовании, что, пожалуй, каждый, кому я напомню о себе своим шебуршением внизу, может обратить на меня внимание по-доброму, ничем не рискуя, хотя бы потому, что *к а ж д ы й (!)* будет совершенно свободен от каких-либо обязательств перед таким человеком, как я — совсем внизу.

Она, правда, сама смотрит на меня снизу вверх, что тоже раздражает: уже не тот возраст, чтобы обольщаться подобным самообманом. Если бы она смогла понять и разделить со мной мою оценку моего общественного положения, то даже будучи сама ничтожной сошкой, мелочью, она бы не смогла удержаться от презрения ко мне. Потому что ее собственная ничтожность почти вровень с тем, что можно от нее ждать — молодой женщины из тупого маленького городка; а моя ничтожность — взрослого мужчины, почти сорокалетнего, из столицы, с замашками эпикурейца — прежде всего вызывает удивление, а когда не находится ей удовлетворительного объяснения, удивление, по идее, должно смениться презрением. Надо быть очень добрым человеком или тюфяком, или просто безразличным, чтобы не презирать неудачника.

Пока я так бездарно соображал, как все устроить, пока топтался на привокзальной площади... со всех сторон тебя толкают, орут... и эта пакостная погода... и жрать хочется!.. ее абсолютная безропотность: «Делай, как тебе лучше»... по мне лучше, если бы ты вообще не

приезжала... некстати, ей богу!.. девка она неплохая, но куда мне с ней сейчас возиться?.. денег нет... и даже не в этом... тащить ее в коммуналку с эрцаз-паркетом и лоджией — непонятно, зачем она мне, только холоднее в комнате... пока мы шли от вокзала к метро, под ручку и я никак не мог отвязаться от ощущения нелепости: я, затурканный, затерявшийся среди мириад таких же неприметных точек встреча-а-а-ю на вокза-а-а-а-ле какую-то юную даму в периферийной шляпке... так шляпка — еще ничего — сумка у нее интересная: из зеленого кожзаменителя, скорее, школьный портфель, разбухший и похожий на головку ветчины, только зеленого, несъедобного цвета и поэтому еще больше действует на нервы, а держу, конечно, я, хотя он и нетяжелый, но ведь еще и в о с п и т а н и е у меня!.. — пока мы медленно шли к метро — то ли шли, то ли не шли, а я тем временем держался, чтобы не прорвалось наружу, как мне некстати ее приезд, потому что она-то совсем не виновата, я бы места себе не находил, казнил бы, если бы она поняла это и сама бы решила оставить меня, но чтобы все-таки дать выход своему раздражению, я стал глуповато шутить на эту тему, а она смотрела мимо меня, немного оглушенная и Москвой, и вокзалом, и встречей со мной и улыбалась — легкая, прозрачная улыбка, —

пока все это как раз дотянули до десяти, когда уже можно было т у д а позвонить (по «делу») и мне сказали, что меня сегодня не ждут.

И мы поехали ко мне.

(Странно: сколько раз он попадался на глаза, сколько раз за эти годы я перетряхивал свои бумаги — сколько выбросил!.. Человек хороший? Ну и что? Все хорошие... Она «хороший человек» пока рядом, когда успеваю привыкнуть, разглядеть. Разумеется, я и без этого считаю, что она «хороший человек», но когда мы отдаляемся друг от друга, когда я забываю о ней, меня ведь не может д о с т а т ь, какой она человек. В это же время рядом со мной какой-то другой человек — меня интересует уже этот человек. А вот лист, тем не менее, храню. Хотя это след отношений с женщиной, которая теперь для меня ничего не значит. Какое-то время сохранялась инерция первых страстей, потом долго пытались найти какую-нибудь иную основу для отношений — дружеская не получалась: слишком далеки друг от друга во всем, — а что-то другое... Я убеждал себя, что всегда держу про запас готовность оказать ей любую услугу, но две-три ее скромные просьбы выполнить не удалось, и она больше не обращалась, а я вполне искренне злился на нее за это — мол, что могу, то могу, а что нет, то нет, нечего дуться, я всегда готов ей помочь... Какое-то время обменивались письмами, в которых я ревниво выискивал признаки охлаждения и, к своему удивлению, не

находил, после чего небрежно зашвыривал в общую кучу писем, даже с легким раздражением, что она напомнила о себе...)

По мере нашего приближения к дому настроение менялось. Вокруг нас становилось все просторней, разряженной, немного взбадривало и то, что мы как бы двигались навстречу основному потоку: рабочий день разгонялся, все направлялись к центру, а мы наоборот — от центра, в мой микрорайон. И автобус был почти пустой и подошел сразу — редкий случай, одно удовольствие! была бы еще погода получше...

И все равно, раздражение не оставляло меня. Казалось с всем нелепым, что я в свои сорок лет, что называется «в расцвете сил», все дела, все, что мог сделать, все, на что был способен и на что был готов... и что ждал! — все заменил тем, что вез молодую женщину в периферийной шляпке с зеленым мячом-портфелем к себе домой (и утром! — самое время для подвигов), чтобы что?..

Все же в два часа я стал запоздало придумывать какое-то новое важное дело — надо, мол, — засобирался, быстро-быстро, а она виновато отмахивалась: «Конечно, конечно». Вот тогда было самое гнусное настроение. Мы уже встали, уже пришли в себя, с ее шеи уже сошли красные пятна — всегда перед этим она покрывается красными пятнами, — но все равно в голове еще было пусто... два только что разлепившихся тела... гадость!.. и если бы еще хорошо получилось, хотя бы соответствующее настроение для этого — нет же, все равно не мог повременить... ко всему еще ее благодарный вид, а я-то знаю, что благодарить было не за что. Когда есть, тогда есть. А тут — одно старание...

На улице мне стало немного полегче. По-прежнему было сыро, холодно, бестолковая толчея возле метро, но мне хоть было приятно сознавать, что на улице среди этой неуютной бестолковщины был я, а она была в доме, в чистенькой комнатке, с почти паркетом, второй этаж довольно милого дома рядом с автобусной остановкой, хотя и в отдаленном районе, но днем там самое то: простор, легко дышится, людей мало, нешумно, а на второй этаж забежать, чтобы нырнуть в свою чистенькую комнату, ничего не стоит.

Я пошел в холод, грязь, а ее оставил в тепле и чистоте — хоть такое добро мог начислить на свой счет.

Потом я с кем-то встречался.

На какое-то время я забыл, что у меня дома кто-то есть, а когда вспомнил, стало совсем скверно: с одной стороны, с кем я общаюсь, хотя и без какой-либо пользы для себя, а им так и вовсе не нужный; а, с другой стороны — кто меня ждет и кто, если мне понадобится, по моему малейшему намеку готов сделать так, чтобы обнадежить меня.

Такое неожиданное наглядное соотношение моих притязаний и возможностей. Куда я рвусь и куда мне приходится возвращаться, несолоно хлебавши. На большее, следовательно, я и не могу рассчитывать, кроме как на такой случайный приезд почти несуществующего милого человечка из почти несуществующего городка. (Сколько ни называл его, никто — ну абсолютно никто! — не слышал о таком. Хоть он не так и далеко: от Москвы ехать ночь).

Был, правда, момент, когда я подумал: едри твою так, а чем эти лучше? Ну ждала бы меня какая-нибудь расфуфря из э т и х — легче мне стало бы? У этой хоть ничего деланого, все свое (даже обходилась без косметики, ну или так не грубо могла обмануть мужчину). И не дура: во многом наивна, но от простодушия, а не скудоумия. По мне лучше своя глупость, чем заимствованная мудрость.

И все-таки я слабый человек, ползлый.

Пока я общался с теми, я непременно должен был намекнуть, что меня ж д у т . «Да-а?!» — и все бы поняли, кто меня ждет. «Ну ты молодец!»... дал бы понять, что п р и е х а л а , с в а л и л а с ь . «А-а! Ха-ха!».. поня-ятно, мол, знакомая ситуация, у всех у нас... непременно должен был поддержать слабенькую молву обо мне, что я большой мастер по дамской части (как будто не знаю, что такой «молвой» может похвастать любой мужчина, даже импотент). Если в тот раз я этого и не сделал, то делал в какие-то другие разы, иначе откуда во мне было взяться стыду за это?

Вернулся я довольно поздно, но не настолько, что уже неуютно общаться: громко не скажи, есть уже не хочется, за стенами только храп, хрип, кашель и тяжелое молчание спящих, а еще вокруг нашей маленькой комнаты... с лоджией на втором этаже блочного дома... облегченно позвякивала вечерняя жизнь — все дела позади, но ко сну еще рано, можно потянуть. (Все время в этом месте вклинивается такая картина: вечер; автобусная остановка у нашего дома, все съезжаются по домам, последнее оживление перед сном, когда уже и не злит, что весь день ушел на то, чтобы рано уехать на работу, проторчать там до вечера и поздно вернуться в переполненном транспорте; один фонарь выделяется своим освещением; а я стою на противоположной стороне и вроде бы жду автобуса, на котором... сам же должен приехать).

Соседка закрылась в своей комнате, там, через матовое стекло двери, почти неслышимый, светится телевизор — квартира стала казаться полностью нашей.

У нее тоже были какие-то дела, она даже ходила звонить — вот какой она молодец (к торцу соседнего дома), сходила в универсам (точно: появилась еда), соседка ей открывала, очень приветливая старушка. «Ну

вот видишь, как все хорошо...» Я уже со всех сторон успокою свою совесть, стану свободным от забот, чем бы ее занять – между прочим, с Полного ее согласия; после ужина она еще останется на кухне, а я, благодушный, пойду в комнату ждать ее: теперь в оставшиеся час-полтора всему возвращалось свое время и место. Тогда я увижу в машинке лист с тремя строчками:

Наумчик, я тебя люблю!
Как тебе не стыдно?
ходишь где-то я тебя жду
а

(Опечатки ее).

ЧАС ПИК

– это время возможностей

"ЧАС ПИК"

– это газета петербургской интеллигенции

Редакция газеты

"ЧАС ПИК":

191040, С.-Петербург, Невский пр., 81.

Тел. 279-25-65. Факс (812) 277-13-40.

E-mail: news chaspik.spb.su

индекс подписки 55049

ПУБЛИКАЦИИ

М. Соковнин: «СУПОВЫЙ НАБОР»

Михаил Соковнин родился в 1938 году в Москве. Закончил филологический факультет Московского педагогического института им. Потемкина (этот институт слили с МГПИ еще в 60-х). Там познакомился с поэтом Вс. Некрасовым, сильно на него повлиявшим. Лианозовской живописью (имевшей для поэзии Вс. Некрасова принципиальное значение), впрочем не увлекся, поэтому всегда оставался несколько в стороне от лианозовской группы. Но объективно — как поэт — М. Соковнин очень близок лианозовскому поэтическому конкретизму, в первую очередь, конечно, через поэзию Вс. Некрасова. К концу 60-х годов у М. Соковнина вырабатывается оригинальный жанр конкретистской лирически-описательной поэмы — жанр «предметника», в котором его поэзия достигает высшей точки своего развития. В прозе основные произведения — книга «Вариус» — сборник миниатюр, выдержанных в абсурдистском ключе, и повесть «Обход профессора». Несколько десятков стихотворений, абсурдистски-пародийные «Замечательные пьесы» дополняют состав основного корпуса произведений писателя. При жизни ничего не публиковалось (за исключением одной миниатюры из «Вариуса», напечатанной, правда, с искажениями, в журнале «Знание — сила» в начале 70-х годов). Умер М. Соковнин в 1975 году (он болел с детства — какая-то редкая болезнь соединительных тканей). В конце 70-х в детской книжке «Между летом и зимой», составителем которой был Вс. Некрасов, напечатано несколько стихотворений М. Соковнина. Примерно в это же время в парижском журнале «Ковчег» (редактор — Николай Боков) опубликованы два предметника, «Замечательные пьесы», повесть и фрагменты «Вариуса». Первая значительная публикация на родине — журнал «Московский наблюдатель», №3, 1992.

Владислав Кулаков

Михаил СОКОВНИН

СУПОВЫЙ НАБОР

(предметник)

*Посвящается И.В.Я.*На Пушкинском на дворе...
(русская народная песня)

1.

Болдино
и около.Перевозка через Ужовку,
Починки,
Шатки,
яма,
колдобина,
обочина,
яма,
дорога на Болдино
и на Лукоянов.Жабы. Луна.
Выпаривание блина.
Две свиньи,
газеты и соловьи.Крепостная контора,
крепостная работа,
урны-забор,
уборная,
есть такое слово «нужник»,
рыба в заборе,
Римма Петровна,
скамейки,
штaketник,
Пушкин.
Красные жуки,
«Пушкин и мужики»,
бабы,
фляги,
парное мясоИз Арзамаса,
русский народ,
суповый набор,
писем из Казани,
клумба с красными жуками,
Борода,
доброта,
ЦГАЛИ.Полдень
В Болдине.Старый мерин,
Пушкинский современник
Садик,
Садик,
седеющий хвост,
везет от усадьбы,
везет? — не везет.
Эх, бедолага,
трогай!
дорога,
телега,
доски,
подскоки,
вожжи,
завхоз
завозит гвозди
на маслозавод.Болдино
Вдолблено
этим вот местом:

пожарное,
 заразное,
 Большое или Базарное,
 Болдино
 или Еболдино,
 «что под большим мордовс-
 ким
 черным лесом».
 Болдино
 подлинно,
 как-то обойдено,
 как-то запущена
 вотчина Пушкина -
 нет огородников,
 плотников,
 дворников,
 мало сторонников,
 нужен Андронников.
 Барский дом,
 барский пруд,
 дело в том,
 был не тут
 но сколько дум,
 какой здесь вид,
 вот этот дуб,
 под сенью ив,
 на дерновой скамье,
 на скамье,
 рекамье,
 На-тали,
 на долги,
 бра-
 светец,
 брат-
 отец,
 Лев Сергеич -
 Сергей Львович,
 Григорий
 Григорьич,
 и просто
 Григорьич,
 сторож
 Петрович,

грач,
 Сергач,
 чай шярга,
 ясно, лошадь,
 раз рога.

Самовар
 догорал,
 Дрыгалов,
 Расстригин,
 г-н
 Соковнин,
 А кто побегал в магазин?
 Мне, что ли, дунуть?
 Можно подумать...

Еж
 или дождь
 копошится правее
 в траве
 к иголке иголка
 колючая горка,
 или Егорка...

Станови
 стаканы!
 Выпьем за вотчину!
 Выпьем за Пушкина!
 Вот она водочка,
 Вот и закусочка
 (и водочка
 и закусочка).
 Плохо тебе?
 Спасибо тебе...

2.

Крепостная контора,
 шум мотора,
 пилорама,
 рама,
 рано...

Утро,
утварь,
девы-мевы:
Ира-Ира,
Валентина,
и Тамара,
Коля,
я,
и Борода,

звук помойного ведра.

Не пора ли нам пора?
Лодырь.
Ворвань.
Надо вовремя.
Ты — клевет!
А ты — плеврит!
Хорошо говорит.

Утренний мостик,
белый, горбатый,
идем на работу,
работка,
рыбешка,
солнышко,
тинка,
тихая тинка,
тихая тинка,
тинка,
бутылка.

Голубые полосы,
золотые волосы.

Время перерыва.
Жар и скука.
Из куста сирени
выпорхнула трясогузка,
села на перила.
Ира-Ира,
Ирэн,
Ирина.

Дорога в «Лучинник»,
когда-то березовый,
озеро,
магазин,
машина,
починка,
туман из низин,
вся кавалерия,
кроме Валерия.

Тихий свист.
Свет
в овсе,
и над всем,
над овсом,
надо всем
шелестит
шелестит
тихий свет.
Широко.
Хорошо.
Роцца, как островок,
странный остов ворот, —
городок
мертвецов,
деревянных крестов,
мир цветов,
ягод,
яблок,
могил,
голубая накидка,
могилка,
калитка...

Тропа
у пруда,
тихо и сыро,
и сиротливо,
Ира и ива,
ива и Ира.

Тем и почтили

темный «Лучинник» —
около,
возле,
по лесу
ходим,
но не находим.
Где он, колодец?
Кажется, здесь.
Вот он, колодец!
В нем — четвертинка.
Брякает жечь.

Сколько в колоде?
Все тридцать шесть.

Барский дом.
Подойдем?
Подойдем.
Под окном
ходит он, серый кот,
что-то чуется коту,
знает кот-то,
значит, кто-то
в доме кто-то —
Тук-тук-тук!..

Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Ясно лошадь:
полночь —
НОЧЬ.

3.

Хорош подарок!
Попов порядок.

«Тажная этика»
«Партийность художника»
«Путь в будущее»
«А поезд ушел...»
На Курской ж.-д.,
на Казанской ж.-д.,
на Октябрьской ж.-д.,
ж.-д, на ж.-д,
далее везде,
«Трень-брень»
«Про нас»

«Добро пожаловать в Арзамас!»

До утра
в дурака.

Кофе.
Заря.
Ради чего дня?
Неизвестно какого дня...
Едем в ухаб из ухаба,
смерть в хорошей компании.
Город.
Эрзя.
«Руками трогать нельзя»
«Испанка»
улыбка,
квербахо.

А это потом:
возле села
аэродром,
люди,
солнце как полоса,
серенький флюгер,
все позади,

сядь-посиди
у стеклянных небес,
«Медный всадник»,
медленный Садик,
Беседка сказок,
скамейка бесед,
бесполезность,
бессловесность,
идиот,
остаток,
воздух, земля,
Можно? – Нельзя.
Через секунду сядет
на стебелек,
на стебелек,
вещи,
подлетающий самолет,
все еще самолет,
самолет,
улетевший.

Нижний Новгород,
Минин,
Строганов,
много людей и вагонов,
трамвайное
Канавино,
звоны,
диваны,
ковры,
пыльное солнце в окне,
солнце на коньяке,
Мне как-то неловко.
Будьте добры.
Музей на Бродвее,
Рокотов,
Рерих,
между дурувьев
синяя Волга,
песок
и откос.
Как все это все
иррационально,

Наверно,
нормально,
ступени Кремля.
Как все снопоподобно,
корма
парохода,
платформа,
подножка
вагона,
стопкран...

Потом поплыли потолки,
по стеклам стук локтей.
Иконы-Птицы тонкий лик
простер глаза, как тень,
обрыв платформы!..

Телефонный,
междугородный,
переговорный,
черная Волга,
серая Волга,
белая Волга,
из-за куста –
Свет-Пустота!

Великий лицеист,
потомок Рачи!

Осенний солнца лист
песок горячий...

1968

Шмуэль АГНОН

ВО ЦВЕТЕ ЛЕТ*

Перевод, вступление и комментарии Исраэля Шамира

*Посвящается А.
в ее семнадцатые именины*

«Во цвете лет» — еврейская «Лолита», или точнее — анти-«Лолита». Рассказ ведется от лица девушки (Лолиты, а не Гумберта). Она сама выбирает себе взрослого кавалера вопреки установкам общества. Агнон выбрал форму не дневника, но мемуара — героиня по имени Тирца вспоминает и рассказывает о том, что произошло с ней за несколько последних лет, с тех пор, как умерла ее мать. Действие происходит в конце прошлого — начале нашего века, в австро-венгерской Галиции, в еврейском городке. Тирца ведет свой рассказ не на разговорном еврейском (идиш), но на иврите, которому ее учили учителя, то есть на книжном иврите Библии и славословий. Живого иврита в те времена не было, отсюда архаичность и псевдо-библейский стиль повествования: рассказчица просто не знает другого письменного языка. Его языковым эквивалентом были бы французские дневники образованных русских барышень конца XVIII века или латинские записи европейских девушек. Язык этого рассказа Агнона резко отличается от языка прочих его произведений. Он написан на «женском иврите» — в то время как мужчины учили Талмуд и другие произведения, написанные по-арамейски, женщины обходились Библией с ее иной лексикой. (Так в Японии времен Мурасаки Шикибу мужчины писали по-китайски, а женщины — по-японски).

Начало рассказа написано белыми стихами и в первом издании печаталось как стихи, а не сплошным текстом.

Посвящается А.: Этот рассказ не случайно не переводился ранее ни на один язык: он очень сложен. Я пытался несколько раз переводить его, но всегда в отчаянии откладывал. И вот в январе 1993 года я вернулся из пасмурной и слякотной Москвы в Святую Землю. Я так стосковался по солнцу и свету, что, не теряя времени, уехал на берег Красного моря, в Эйлат. Несколько недель я сидел у воды и смотрел на солнце и светлую синь спокойных волн, время от времени заплывая к кораллам в цветники тропических рыб. Там я впервые был счастлив за много лет, как будто я проснулся после

* Агнон использует редкое выражение, встречающееся у пророка Исаии (38:10).

долгой спячки, отупляющей душу и сердце. Я встретился на набережной с резкой и нежной мотоциклисткой, она била меня по руке в знак согласия, как делают шоферы дальнбойных грузовиков, колени ее были поцарапаны – упала с велика, умницей она была редкостной, как бывают только девочки из маленьких провинциальных городов, и я думал о том, что только с годами начинаешь понимать и ценить просто – прелесть юности. Сверстники этого оценить не сумеют, а значит, и у Козлодоева было преимущество, которого не понимал автор «Мочалкина блюза»: не деньги, не номера люкс, но подвластность юности. В гостинице висело объявление «модаэй газцев», что я прочел как «познавшие грусть» и применил к себе. Это шел симпозиум по невропатологии, что пишется на иврите так же. Но грусть пришла и ушла, а мне писались «японские» стихи, вроде: «Эйлат – город затмений // Ночью – луны // а днем – двух лун», или вспоминалась судьба моего прапрадеда, приехавшего в Святую Землю с разменным полтинником помирать и отхватившего себе тут тинэйджерную краплю (она родила ему четверых в их доме на берегу Генисаретского озера в Тивериаде). Тут же перевелся между делом и этот непере-водимый рассказ, муза которого была сверстницей героине.

Во цвете лет ушла мать. Тридесять годов и год прожила. Недолги и горьки¹ были дни ее жизни. Весь день сидела в дому и из дома не выходила. Подруги и соседки не приходили навестить и отец не кликал званых. Молча пригорюнился дом наш, двери чужим не распахивал. На ложе лежала мать и рекла мало. А в речах ея раскрывались чистые крыла и влекли меня в блаженные чертоги. Сколь любила я ее глас. Много раз открою дверь, чтобы спросила: кто это. Ребячество² было во мне. Иногда сойдет она с ложа и сядет у окна. Сидит у окна, и одежды ея белы. Вовеки белы ея одежды. Приключился дядя отца в город, узрел мать и чел ее сестрой милосердия, обманули его одежды и не понял, что больная она. Недуг ее, недуг сердечный долу примял ее жизнь. Летом слали ее лекаря на целебные воды, но лишь уедет – вернется и скажет, что от тоски нет ей покоя. И вновь сидит у окна или лежит на ложе.

Отец торг и ряд умалять стал. И в страну Немецкую, куда ездил из года в год толк весть с сотоварищи, ибо купец отец мой и бобами торгует, не поехал отец на этот раз. В те дни и в то время забыл пути света. И гозвращаясь в вечерний час домой, сидел возле мамы. Левою рукой³ подопрет голову, а правая в ее руке. А иногда приложит она уста к руке его и поцелует.

Зимой в год смерти мамы семижды смолк дом наш. Мама с постели не вставала, лишь когда стелила Киля постель. На пороге положили

ковер, дабы поглощал ковер звук шагов. Запах целебных снадобий тек по всем комнатам, и во всех комнатах тяжелая тоска. Лекари не отступались от дома. И без зова приходили. Спросят их о ее здравии, скажут – от Господа исцеление. То есть иссякла надежда, целенья недугу нет. А мама не стонала и не жаловалась, и слезу не роняла. Молчком лежала мать на одре, и силы ее таяли, как тень.

Шли дни, и надежда тешила нам сердца, что жить еще поживет. Зима прошла, миновала⁴, и дни весны пришли на землю. Мама будто забыла хворь. Воочию зрили мы, как слабеет недуг ее. И лекаря утешали нас, мол, есть надежда. Лишь придут весенние дни, и свет солнца оживит ее кости.

На пороге стояла Пасха. Киля справила все нужды праздника. И мама заботилась, чтобы нехватки не было. Как хозяйка блюла⁵ домашний очаг. И новое платье справила себе.

За несколько дней до Пасхи встала она с постели. У зеркала встала и новое платье надела. Мелькнули очертания ее тела в зеркале, и свет жизни озарил лик ее. Сердце мое ликovalo. Прекрасен был ее облик в том платье. Но не отличить новое платье от старого платья, оба белы, и платье, что сняла, было, как новое, затем что пролежала мама всю зиму и одежд не надевала. Не знаю, в чем я узрела знак и надежду. Может, весенний цветок, что приколола у сердца, издавал аромат надежды. И запах лекарственных снадобий прошел, миновал, и сладость нового запаха пронизала дом наш. Много благоуханий узнала я, но такого не нашла. Однако вновь обоняла я этот аромат в сновидении. Откуда взялся этот запах? Ведь мать не умащала плоть женскими благовониями⁶.

Мать сошла с постели и села у окна. У окна стоял столик, а в столе ларчик. Ларчик заперт на замок, и ключ к ларчику висел на шее мамы. Беззвучно открыла мать ларчик и пучок рукописей достала, и читала их весь день. До вечера читала мать. Дверь открылась дважды и трижды, но не спросила она: кто там, заговаривала я с ней – не отвечала. А напомнили ей испить лечебных снадобий, махом испила ложку снадобий. Лица не скривила и слова не молвила, будто иссякла горечь их. А испив, вернулась к рукописи.

А рукопись исполнена совершенным почерком на тонкой бумаге, длинными и короткими строками писана. И видя, как мать читает, сказала я в сердце своем, что навеки не оставит она эту рукопись. Снур ключа на шее соединял ее с ларчиком и с рукописью. Но на исходе дня взяла мать рукопись и перевязала ее нашейным снурком с ключом, поцеловала и бросила ее вместе с ключом в печь. А вьюшка закрыта. Лишь уголья мерцали в печи. Язык пламени лизнул тонкие листы,

бумага вспыхнула, и дом полон дыму. Киля ринулась в светлицу распахнуть окно, но мать удержала ее. Рукопись пылает, а мать сидела⁷ у ларца и до вечера вдыхала дым рукописей.

Тем вечером пришла Минчи Готлиб проведать маму. Это подруга ее Минчи, что училась с ней вместе в девичестве у Акавии Мазала. Госпожа Готлиб села у постели мамы. Два, три часа сидела. — Минчи, — сказала мать, — дай напоследок гляну на тебя. Минчи вытерла слезы и сказала: крепись, Лия, еще возвратятся силы твои как прежде для жизни. Мама молчала и грустный смешок витал на ее пылающих устах. Вдруг взяла мать Минчи за руку и сказала: иди домой, Минчи, справь нужды субботы и завтра пополудни проводи меня на погост. Был вечер четверга, канун сретенья субботы⁸. Госпожа Готлиб погладила ладонью руку мамы, простерла персты и сказала: Лия. И сдавленные рыдания сдержали речи ее, и пали мы духом.

Отец пришел с работы из лавки и сел перед постелью. Мать поцеловала его, и ее грустные уста тенью скользнули по его лицу. Госпожа Готлиб встала, укуталась и вышла. Мать встала с одра, и Киля постелила ей постель. Рукава белого платья забились в воздухе полутемной залы.

Мать села на постель, и отец напоил ее лечебными снадобьями, и испила она. И взяла руку его, положила себе на сердце и сказала: спасибо. И брызги слез и брызги снадобий текли по его руке. Мать собралась с духом и сказала: ступай в столовую и вкуси вечернюю трапезу. И он ответил ей: нет, не в силах я. Но она упросила его, и пошел он в столовую и со слезой ел хлеб свой и возвратился.

И собралась с силами мать и села на постель, и взяла его за руку, и отпустила сиделку и отцу велела, мол, пусть не заходит. И убавила свет лампы и прилегла. И сказал отец маме: мог бы я спать, пошел бы, но Госвподь не дал сна, посижу рядом, понадоблюсь и кликнешь. А нет, так буду знать, что мир тебе. И не вняла мать речам отца, и пошел отец в опочивальню и прилег. Много ночей сна не знал, как прилег отец, так и задремал. И я легла и уснула. И вдруг пробудилась, перепугалась. Соскочила с постели глянуть на маму. И вижу: мирно покоится она на одре, но дыхания уже не слышно. Разбудила я отца. И горько крикнул он в голос: Лия!

А мать мирно покоилась на одре, ибо возвратила душу Богу. Мать возвратила душу Богу, и в канун субботы в предсумеречный час на погребение унесли ее. В канун субботы⁹ умерла мама, как праведница умерла.

Все семь дней сидел отец молчком. Подножие мамы¹⁰ поставил перед собой, а на нем — книга Иова и «Наставления скорбящим». Люди,

которых я отродясь не видала, пришли утешать нас. До поминальных дней не знала я, что столько людей у нас в городе. Утешители толковали с отцом о надгробии, а отец стих и слова им не сказал. На третий день пришел г-н Готлиб и сказал: принес я надгробную надпись. Увидали люди и дивились: имя мамы первыми буквами стихов, и в каждой строке намек на год ее кончины¹¹. Заговорил Готлиб с отцом о выборе надгробья, но отец не слышал его речей. Так прошли поминальные дни.

Прошли, миновали поминальные дни, и год траура почти истек. Тяжкая кручина легла на нас и весь год не отступала. Вернулся отец к делам, и, возвращаясь с работы из лавки, безмолвно ел хлеб свой. А я в горе говорила: забыл-позабыл меня отец, позабыл, что жива я.

В те дни перестал отец читать заупокойную¹², и пришел ко мне отец и сказал: пошли, справим надгробие маме. Надела я шляпку на голову и в руки взяла перчатки и сказала: вот я, отец. И отец удивился мне, будто до этого дня не видел, что я в трауре. Открыл дверь, и вышли мы из дому.

Идем мы, остановился отец и говорит: ранняя весна¹³ в этом году. Провел рукой по лбу и сказал: не запоздала бы год назад, еще жила бы она. И вздохнул. И пошли мы по стогнам града, и взял отец меня под руку и сказал: пошли туда.

И дошли мы до опушки. И се: старуха копает грядку. Поздоровался с ней отец и сказал ей: скажи нам, добрая женщина, здесь ли г-н Мазал? Отставила старуха лопату и сказала: да, барин, г-н Мазал у себя. Взял меня отец за руку и сказал: идем, дочка, пошли в дом.

Муж лет тридцати пяти открыл нам дверь светлицы. А светлица мала и хороша, и бумаги горкой на столе, и дух печали витает над ликом мужа. И сказал отец: вот я пришел к тебе, составь надгробье. И муж будто узнал, кто пришел к нему, и прикрыл рукописи и поздоровался, а меня по щеке погладил и сказал: как ты подросла¹⁴. Увидела я мужа и вспомнила мать. Так же рукой провел он, как она проводила. А отец стоял против мужа. Стояли они лицом к лицу. И сказал отец: кто гадал, что Лия покинет нас. И озарился лик мужа, что в горе сравнил его отец с собой. Не понял он, что обо мне говорил отец. Поднял он скатерть, вынул лист и вручил отцу. Взял отец лист и прочел, и слезы его покрыли следы слез на листе. Увидела я лист и письма, и удивилась, ибо такой лист и такие письма уже видала я. Так бывает у меня, вижу вещь и думаю: уже видала. И следы слез не чужды мне были.

Отец прочел стихи до конца и слова не молвил, застряли слова его в горле. Нахлобучил шапку, и мы ушли. И пришли в город и вошли домой, когда Киля зажигала лампу. Я готовила уроки, а отец читал эпитафию.

Подготовил камнерез памятник, как велел ему отец, и начертил на больших листах слова надгробия, что написал Акавия Мазал. Я и отец встали одесную и ошую, подбирая буквицы для надгробия. Не нашлись письмена, что по духу отцу. Стоял в доме книжный шкаф. Однажды отец глядел на листы и никак не мог найти пригожие письмена. И достал отец книгу и посветлело в глазах у него. И еще смотрел он в книги. И рука милосердия простерлась над нашим домом. Почти забыл отец маму в те дни, когда искал письмена для надгробия. Как птица в полете не устает собирать ветки для гнезда, не уставал отец мой.

Пришел камнетес и увидел книги и письмена, и выбрали мы буквицы для надписи. А дни — первые дни весны были. И вершил камнетес свою работу во дворе. Ударил по камню, и буквицы сложились в стихи, когда били слова по камню и в звук вливались содружно. И сделал камнетес памятник, из мрамора сделал памятник и вычернил буквицы. Так сделал с буквами надгробья. А заглавье вызолотил золотом. И свершилось деяние надгробия, и в указанный день стоял памятник на могиле. Пошел отец и люди с ним на кладбище вознести заупокойную молитву. И положил отец голову на камень, а рука его держит руку Мазала. И с того дня, как поставили мы надгробье, изо дня в день ходили мы с отцом на могилу, кроме дней Пасхи, ибо не посещают могилы в праздник. И вот были срединные дни¹⁵ Пасхи, и сказал мне отец: пошли, погуляем. Надела я праздничное платье и подошла к отцу. Сказал отец: новое платье у тебя. И сказала я: праздничные одежды это. И мы пошли.

И в пути подумала я: что я натворила, сшила себе новое платье. И господь опечалил душу мою, и стала я. И спросил меня отец: почто остановилась? И сказала я: думу подумала, зачем надела я праздничное платье. Неважно, сказал отец, пошли. Сняла я перчатки и радовалась холодному ветру, овевающему мои руки. И вышли мы из города.

Вышли мы из города, и повернул отец и пошел к дому Мазала. И пришли мы к дому Мазала, и се: Мазал спешит нам навстречу. И снял отец шляпу и сказал: обыскал я все ее ларцы, и смолк отец перевести дух. Затем открыл уста отец и сказал: попусту трудился я. Искал и не нашел.

И увидел отец, что не понял Мазал слов его, и сказал: решил я книгой издать твои стихи, искал во всех ее ларцах и не нашел. Мазал дрожал. Плечи его тряслись, и слова не ответил. А отец переминался с ноги на ногу, протянул руку и спросил: нет ли у тебя списка? И сказал Мазал: нет. Услыхал отец и смутился духом. И сказал Мазал: ей я писал эти стихи, затем и не оставил себе списка. И взялся отец за голову и застонал. А Мазал ухватился за углы стола и сказал: а она умерла. Умерла, сказал отец и смолк. День совсем истек, вошла служанка зажечь

лампу. Попрощался отец, и мы вышли. Мы вышли, а Мазал потушил лампу.

В те дни начались занятия в школе, и я весь день сидела за уроками. А вечером приходил отец с работы из лавки, и мы ужинали. Молча сидели мы за столом и слова не молвили.

И вот весенним вечером мы сидели за столом, и отец спросил: Тирца, чем займешься сейчас? Я сказала: уроки приготовлю. И сказал он: а иврит забыла? Сказала я: не забыла. Сказал он: найду тебе учителя, и научишься ивриту, и нашел отец учителя по сердцу и привел его домой, и повелел отец учителю, и стал тот учить меня грамматике. Как весь народ, считал отец грамматику главным в иврите. И стал учить меня учитель ивриту, и правилам, и спряжениям, и смыслу слов «превыше скота»¹⁶, и силы мои иссякли. А кроме грамматики, учил меня меламед-наставник Пятикнижию и молитвам. Ибо привел мне отец учителя учиться грамматике, коей девиц не учат, и наставника, дабы научил тому, что ведают оне¹⁷. Изо дня в день приходит наставник, и Киля подносит ему стакан чаю и пирог. А если сглаз или порча у нее, подойдет к наставнику, и он заговорит ее. И в речах смешинка блестела у него в бороде, как в зеркале.

Утомили меня правила грамматики, и смысл слов перфект и плюсквамперфект и совершенное причастие не понимала я. Как попугай говорила я непонятные слова. Раз скажет учитель: впустию твои старания, напрасно силы тратишь, а раз похвалит слова мои, потому что повторила я речи его слово в слово. И сказала я разуму — уходи прочь, а память сказала — пособи!

И вот однажды пришел учитель, а наставник в дому. Ждал-ждал учитель, когда уйдет наставник, но не ушел наставник. Сидели они, и пришла Киля из кухни, и сказала Киля наставнику: сон мне снился, и перепуталась я. Спросил он: что снилось, Киля? И сказала она: маленького немца в красном колпачке видала. Спросил он: и что же он делал, немец этот? И сказала: рыгал и зевал. И я как встала — все чихаю. И сказал ей наставник: встань, и прочту я заговор, унесет ветер твоего немца за тридевять земель, и чихать перестанешь. Встал и закрыл глаза и плюнул трижды в сторону учителя и нашептал ей заговор. И не успел кончить наставник, как вскочил учитель и вскричал: обман и жульничество, невежеством женским пользуешься. А наставник крикнул ему: безбожник, над обычаями Израиля потешаешься. Рассердился учитель, повернулся и ушел. И с того дня как подкарауливал наставник учителя, как ни придет ко мне учитель, а наставник уже учит меня. Тогда перестал учитель приходить. Стал наставник учить меня недельному уроку¹⁸ по Библии. Раньше не целый недельный урок проходили, а как перестал

учитель приходите, стали мы проходить весь урок. Помню, напев его улаждал мой слух, ибо дух прелести и молитв осенял меня.

И были летние дни, и золотые кузнечики взлетели, и стрекотание их раздавалось вокруг нас. Распустят тонкие крылья, и красное брюшко золотом сияет в свете дня. А то слышен в комнате тихий стук, это кузнечик дерево долбит. И испугалась я, вдруг умру. Ибо смерть предвещает этот звук.

В те дни стала я читать книгу Иисуса Навина и Судей, в те дни взяла я книгу из книг покойницы мамы, и прочла я два столбца в книге, чтобы выговорить слова, которые мама-покойница говорила. И изумилась я, что поняла их. Так я стала читать книги. А когда стала читать, увидела, что знакомы мне эти рассказы. Так ребенок слышит, как мама его агукает и верещит и вдруг понимает, что это его имя она произносит, так было со мной при чтении книг.

Пришли каникулы, и школа закрылась. Я сидела в дому и перешивала платье, которое надевала до года траура, потому что не по мере моей стало оно. Отец был дома, и пришел к нам врач. Обрадовался его приходу отец, потому что с врачами он водился во все дни жизни покойницы мамы. Сказал врач отцу: что вы сидите дома, когда на дворе лето летнее. Взял меня врач за руку и пульс измерил. Почуяла я запах его одежд: и запах его одежд, как запах мамы во хвори. Сказал врач мне: как ты подросла. Еще несколько месяцев, и на «ты» к тебе не обратишься. И спросил: сколько тебе лет? Сказала я врачу: лет жизни моей четырнадцать годов. Увидел он шитье и сказал: и рукоделием ты владеешь? — Пусть чужие уста, а не свои тебя славят, — ответила я. Закругил врач свой ус двумя перстами, засмеялся и сказал: молодчина. Хочется, чтобы славили? И обратился к отцу и сказал: лицом она вылитая мать, мир праху ее. И обратил отец лицо ко мне и посмотрел на меня. Вошла Киля в комнату, принесла самовар и варенье. И сказал врач: какая духота, и открыл окно. На улицах тихо, прохожих нет, и беседа наша течет вполголоса. Выпил врач чаю и накрыл варенье и сказал: полно вам сидеть в городе, пора ехать на дачу. Кивнул отец головой в знак согласия со словами врача. Но видно было, что в духе его нет согласия.

В это время пригласила меня г-жа Готлиб провести остаток каникул в ее дому. Сказал отец: ступай. Сказала я: как я пойду одна? И сказал мне отец: я буду к тебе приходите и навещать. А Киля стояла у зеркала и вытирала пыль. Услышала слова отца и подмигнула мне. Увидела я ее рот и гримасу в зеркале и рассмеялась. Увидел отец лицо мое в веселии и сказал: знал я, что послушаешься меня. И ушел.

Когда вышел отец из дому, сказала я Киле: смешная ты была, Киля, когда лицо перекосила в зеркале. И рассердилась Киля на меня. И сказала я: что с тобой, Киля? И сказала она в гневе: неужто ослепли очи твои и не видят? Воскликнула я: Господь с тобой, Киля, говори и не отмалчивайся, не мучь души моей загадками и намеками. Гневно утерла она уста и сказала: если не знаешь, голубка моя, погляди на отца своего и на вид его. Как тень по земле бродит, ничего от него не остается, кроме кожи и костей. Чистила я его башмаки и не могла понять, где он грязи набрал, пока не узнала, что это кладбищенская земля, ибо семижды в день посещает он ее могилу, и следы его я там нашла. Тогда поняла я мысли Кили и ее намеки в зеркале, поняла, что имела в виду Киля: если пойду к Готлибам, а отец навещать меня станет, то могилы посещать перестанет. И взяла я наряды платий и уложила их в сундучок, и в утюг насыпала угольев, погладить две-три сорочки для прихода в дом Готлибов. А на другой день послал отец мой сундук с сидельцем, пообедали мы вместе в полдень, встали и пошли.

Дом Готлибов на окраине города, на дороге к станции, но меж ним и городом поля простираются. А в дому парфюмерня для благовонных смол, и хороших, просторных комнат там много, и не живут в них. Ибо построил Готлиб курильню и сказал: если прославятся мои благовония по свету, хватит тут комнат для всех моих работников. И прошли мы городом и пришли в дом Готлибов. И Минчи вышла из сада, где собирала вишню. И увидела нас Минчи, и побежала навстречу нам, и привела нас в сад и сказала: добро пожаловать. И Парчи пришла на глас ее и принесла две миски, и угостила нас Минчи собранными вишнями.

День клонился к вечеру, и Готлиб пришел с работы в рукодельне. Парчи накрыла стол в саду. И ночь, голубая ночь, обняла нас своей сладкой теплотой. Месяц вышел на небо, и твердь усыпана звездами. Чистой свирелью запел крылатый певец свои лучшие трели, и железный свист слышен со станции. Завершили трапезу, и Готлиб сказал отцу: закуришь? — Во тьме? — спросила я в изумлении. Почему же не курить во тьме? — сказал Готлиб. — Прочла я в книжке, — сказала я, — что услада курильщику огонек и дым курения, затем не курят слепые, что не видят слепые огонь и дым, потому что слепы они. — Да неужто еще неведомо тебе, что мудрость книжек твоих — суета, — шутя сказал Готлиб. — Я в темноте научился курить. На ложе по ночам, как свалит дрема отца, зажигал я сигарку и курил. Боялся я курить при нем днем и курил ночью. Парчи, принеси сигареты и сигары и спички, и пепельницу не забудь. Г-жа Готлиб сказала отцу: если муж мой курит — это добрый знак. Г-н Готлиб сделал вид, что не слышит, и сказал: но я расскажу то, что я читал, раньше закурит человек — забьют ему трубку в нос, чтобы

неповадно было, и притесняли власти людей, что промышляли табаком. А сейчас, девочка, посадили одного из моих рабочих в холодную за привоз табака из-за границы, потому что у властей монополия на табак. Всегда Готлиб жаловался на власти, потому что не ладил он с чиновниками.

В тот вечер не долго сидел с нами отец, сказал: пусть учится Тирца сидеть с вами без меня. И г-жа Готлиб привела меня в светелку и поцеловала в лоб и ушла. А в светелке железная кровать, и стол, и шкаф, и зеркало. Легла я в постель у открытого окна. И веет ветер между деревьев, а я лежу у окна, как будто лежу в качалке в саду. Утром рассвело, и новый свет озарил мое окно. Птицы распевали в выси, и солнце славилло их крыла. Вскочила я с ложа и вышла к колодцу, и умыла лицо живой водой. И позвала меня Парчи к столу. А дом Готлибов не знал радости. И судил Готлиб о каждом блюде, что готовила жена его, так: что это я ем, солому? Потому что без приправ готовила, чтобы обоняния ему не испортить, ибо благовониями занимался он. И Парчи, дочь покойной сестры Готлиба, не приносила блаженства в дом: что бы ни сделала, хозяйке было не по вкусу, ибо невзлюбила та девушку, затем, что в ссоре была Минчи с матерью девушки и вину матери возложила на дочь. И Готлиб бранил ее, чтобы не сказали: за племянницу заступаешься. Редки были гости в доме Готлибов. Г-н Готлиб принимал своих дольщиков в конторе курильни, и Минчи не водилась с женами града. Этим похожа была на покойницу маму. Как два австрияка, что встретились за городом, и один спрашивает другого: куда идешь? И сказал он: я иду в лес в поисках уединения. А тот ему: и я люблю уединяться, давай пошли вместе, — так и оне. И так я сидела с г-жой Готлиб, а других людей с нами не было.

А г-жа Готлиб женщина проворная, и в саду работает, и в доме, и не заметно, что занята она. Хоть посреди работы станет, и то кажется, что работа сделана, а она пришла посмотреть на труд. Семижды в день искала я ее и не почувствовала, что мешаю ей в ее трудах. В те дни вспомнили мы маму покойницу, и в те дни рассказала мне Минчи, что любовью любил Мазал маму, мир праху ее, и мама любила его, но не отдал ему ее отец, ибо посулил он дочь в жены моему отцу.

И на ложе по ночам спрашивала я в сердце своем: если бы вышла мама за Мазала, что сейчас было бы? И кем я была бы? Понимала я, что тщетны сии помыслы, но не покидали они меня. И как миновала дрожь от этих помыслов, сказала я: несправедливо обошлись с Мазалом. И стал Мазал в глазах моих как муж, что умерла у него жена, а она ему и не жена.

А дни стояли летние. Под дубом и под березой лежала я весь день и смотрела в синь небес. Или приходила в курильню поболтать со сборщицами трав. Так птицы полевые оживляют свою душу, чтобы не пасть в худой день. И сказала я: буду бродить с ними по лесам, и забуду свою тоску. Но не пошла я с этими женщинами, и в леса не сбежала, и лежала пустынно весь день. — Сейчас наша милая подружка проглядит дыру в небе, — сказал шутя г-н Готлиб, когда увидел, что я гляжу весь день в небеса. И я засмеялась с ним от сердечной боли.

Омерзела я себе, стыдилась, не зная чего, то жалела отца, то гневалась на него. И на Мазала я негодовала. Вспомнила я кузнечика в доме, как он стучал в стены дома в начале весны, и смерть не устрасила меня. Сказала я в сердце своем: зачем до горечи расстроила меня Минчи Готлиб воспоминаниями о былых днях? Отец и мать — муж и жена, муж и жена — одна плоть. Что мне думать об их тайнах до моего рождения? И все же жаждала душа узнать еще. Не успокоилась я, не стихла, не отдохнула. Да, сказала я себе, Минчи знает все бывшее, и она мне скажет суть дела. Но как раскрыть рот и спросить? Стоит подумать — и лицо алеет, а тем паче спросить. И я отчаялась, мол, больше не суждено мне узнать.

И пришел день, и Готлиб уехал в разъезды, и позвала меня Минчи спать в ее спальне. И в спальне стала сказывать Минчи снова о маме и Мазале. На что я не надеялась, было мне поведено.

Еще юн годами был Мазал, когда пришел сюда. Из Вены вышел посмотреть на города и веси Галиции и заглянул к нам. Поглядеть на город зашел, и с тех пор из города не уходил уже 17 лет. Тихо рекла Минчи свои речи, и прохладой веяло от ее слов — как прохлада надгробия покойницы-мамы на моем лбу. А Минчи провела ладонью по лбу и сказала: что рассказать тебе, что я еще не рассказывала. И зажмурилась, как во сне. И вдруг пробудилась и достала альбом, из тех, что вели барышни прошлого поколения, и сказала: читай, я переписала из записей Мазала все, что писал Мазал в те дни. Взяла я альбом, что списала г-жа Готлиб, и положила в сумочку. Не читала я в спальне Минчи ночью, затем, что не могла Минчи уснуть при свете свечи. А утром прочла я все, что написано в этой книге.

«Любы мне городки Галиции летом. Смолкнут улицы града, цветы и растения выглянут наружу из окон, а их никто не видит. Горожане попрятались, разошлись по домам от зноя, и я один брожу по мирной земле. Я студент университета, и Господь направил меня в этот городок. Стою я на улице и вижу женщину в окне. Она выставила на подоконник миску с просом на солнце. Поклонился я ей и сказал: птицы склюют все

ваше просо. Не успел я договорить, как девица появилась в окне и посмотрела на меня и засмеялась моим словам. Я почти смутился. И чтобы не узнала девица, что я смутился, сказал я ей: напои меня водицей¹⁹. И протянула мне стакан в окно. Сказала женщина девице: что ж ты не позовешь человека в дом, чтобы отдохнул, он же странник в чужом городе. И сказала: заходите, сударь, заходите к нам. И зашел я к ним в дом.

Дом зажиточный, и муж зрелых лет сидит над Талмудом. Задремал он за книгой и пробудился. Поздоровался со мной и спросил, кто я и что в городе делаю. Поздоровался и я с ним и сказал: я студент и пришел посмотреть на эти края в каникулы. И услышали они мои слова и удивились. И сказал муж девице: видишь, образованные люди издалека приходят посмотреть на наш город, а ты хочешь оставить нас и город, даже и не думай теперь. Услышала девица и смолкла, и отец ее сказал мне: значит, медицинскую премудрость постигаешь, врачом стать желаешь. И сказал я: нет, сударь, философию я изучаю. Изумился он моим словам и сказал: а я думал, не учат философию в школах, а кто размышляет над учеными книгами и понимает их, тот и есть философ.

День клонился к вечеру, и сказал муж девице: дай мне пояс препоясаться и вознесу пополуденную молитву. Сказал я ему: и я помолюсь. И сказал он девице: подай мне молитвенник. Поспешила она и принесла молитвенник. Взял он молитвенник и открыл, указать мне, где слова молитвы. И сказал я: не надо, сударь, обучен я молитве. Изумился муж²⁰, что знаю я молитву наизусть. И указал рукой, где восток²¹, в какую сторону смотреть при молитве.

А в восточном углу висела вышивка и прочел я, что написано на ней:

Блажен тот, кто Тебя не забудет,
и тот, кто посвятит себя Тебе.
Ибо ищущие Тебя вовеки не споткнутся,
и уповающие на Тебя не осрамятся²².

И по завершении молитвы похвалил я «восток», эту чудесную вышивку. И как лучи заходящего солнца упали на «восток» в надвигающихся сумерках и лишь край его осветили, так и слова мои лишь чуть славили его.

Женщина накрыла на стол и пригласила меня к трапезе. Поставили перед нами еду, и мы поели. Еды было немного, только кукурузная каша с молоком, и все же по вкусу была трапеза. И рассказал мне муж все свое бытие, что был он богат в старину и с помещиками вел торг, давал деньги в счет урожая, как принято испокон веков. Но ненадежен суетный мир.

Изменил помещик договору, деньги взял, а урожая не дал. И многие дни был спор между ним и помещиком, и судебные издержки и судьи съели его достояние. Хоть мзду давать запретил закон, и судью иноверцев тоже соблазнять негоже, ибо правозаконие велено всем народам, но подарки он давал, чтоб не были судьи лицеприятны. До конца дней, сказал он, не успею пересказать всех былей тех дней. И поклеп навел на меня мой ненавистник, и первенца моего забрали на военную службу. А помещик, враг мой, воевода и начальник в армии был, и круто обошелся с сыном, и умер тот.

Но что жаловаться живому на потерю мнимых достояний, слава Господу, что и теперь он не обделил его своей милостью. И ежели богатство не возвратил мне Господь, слава Богу ныне и присно, что еды у нас хватает. Лишь вспоминая муки сына, предпочитаю я смерть жизни.

Домочадцы утерли слезы, и жена спросила мужа: если б жив был, сколько лет ему было бы? И сказал он ей: заговорила, как все женщины. Не хули Господа. Бог дал, Бог взял, да славится имя Его. Мудро судил р.Меир Вайсер²³, что Иов волосы состриг из-за потеряннго добра, ибо запрещено стричься в знак скорби.

Керосин в лампе почти догорел, встал я из-за стола и спросил: укажите мне гостиницу в городе, не сумею я уйти на ночь глядя. Переглянулись муж и жена и сказали: есть гостиницы в городе. Но кто знает, найдешь ли покой в них. Городок у нас маленький, почтенных гостей не бывает, и гостиницы тут попроще, и кто не привык к ним, не обретет в них покоя. И сделал хозяин глазами знак жене и сказал: не на улице спать страннику, врата гостю открою.

Девушка принесла свечу и зажгла свечу на столе, затем что кончился керосин в лампе. И еще мы сидели с часок вместе. Не устали они слушать про чудеса Вены, где живет сам кесарь. А мне так милы были обычаи их жизни. А затем постелили мне постель в углу, спал я, и сладок был мне сон.

Услышал я звук шагов и пробудился. Хозяин стоял над кроватью, плат для молитвы и филактерии под мышкой и утреннее благословение на устах его. И воскликнул я: ах, сударь, вы идете на молитву, а я покоюсь в объятиях лени. Засмеялся он и сказал: уже помолился я и вернулся из синагоги. Устыдился я. И сказал он: успокойся, сыне, коль сладок сон тебе — лежи, пока не наступят дни, в коих не найдешь сна. Но коль ты не спишь, вставай и позавтракай.

После завтрака достал я деньги расплатиться. Увидели жена и дочь, что достал я деньги заплатить за трапезу и устыдились. А муж сказал с улыбкой на устах: вот обычаи жителя столицы, не ведают они, что честь

человеку оказать милость ближнему, и гостеприимство заповедано нам. Поблагодарил я их, что приняли они меня в свой дом в ту ночь и утро, и сказал им: благословит вас Господь за вашу милость, и направился в путь. И спросил меня муж: куда идешь? Побродить по городу, ответил я, для того пришел я сюда. И сказал он: ступай с Богом, но возвращайся к нам пообедать. И сказал я: недостоин я вашей милости. И пошел в город. И пришел я в синагогу, а там молитвенник писан золотом на оленьей коже, но потускнело золото, ибо дым мучеников, сгоревших во имя Господа, закоптил листы. И пришел я в мидраш, а солнце разогрело мидраш. И сидящие в мидраше скинули сюртуки, чтобы легче было, и сидели перед Господним алтарем и дивились мне, что пришел я в мидраш. И стали спрашивать меня про университет, и видение дальних стран озарило их очи. Вышел я из дома и пошел в лес. И пришел я в зеленую дубраву, и грусть и тоска от Господа объяли меня. Упал я на землю и лег на траву под дубом, и милость Божия не покидала меня. И вдруг вспомнил я, что зван я на полуденную трапезу и встал и вернулся в их дом.

И возроптали домочадцы, и сказали мне все домочадцы: ждали тебя, а ты не пришел, подумали, что забыл нас гость, и поели без тебя. Сказал я им: пошел я в лес и задержался до сих пор. А сейчас пушусь в путь. И вознесла жена очи и сказала: не иди, пока не поешь. И подала мне пирог с яйцами. А хозяин сказал: сегодня певчий-хазан поет перед молитвенным ковчегом и молитву возносит в синагоге. Перекуси и пойдем со мной в синагогу. Ведь постель твоя, что постелили вчера, еще застелена, пости еще одну ночь, а утром пустишься в путь.

Не певец я и играть не умею, слабы мои познания в музыке, и не ценитель я. А затащат меня в оперу — сижу и считаю шторы, но сейчас сказал я хозяину: хорошая мысль, пойду с тобой. Не опишу я напева хазана, и что было в сердце моем, не расскажу. Но что сделал я, когда вернулся с хозяином, это расскажу.

Вернулся я с хозяином и пришел к нему домой. Поели мы и вышли, и сели на завалинке. И сидя там, задумался я: хотел я пройти всю эту землю вдоль и поперек, и если проведу тут еще день, не хватит мне каникул. И сердце отвечало мне: и впрямь, очень хорошо бродить по земле, а быть здесь лучше стократ. А я здоров и силен был в те дни, и понятие «покой» было мне чуждо, как и прочие понятия, коим учат человека, пока он не узнал, к чему они ему. Ах, прошли, миновали те деньки, и с ними миновал и мой покой. И наступило утро, и спросил я домочадцев: скажите мне, нет ли у вас в дому комнаты для меня, я бы провел у вас все свои каникулы? И привели меня домочадцы в горницу, которую в дни праздника Кушей превращали в подобие кушей²⁴, и

сказали: живи здесь, сколько твоей душеньке угодно. И женщина готовила мне еду, а я учил дочь их Языку и Книге.

Вот живу я у этих добрых людей. Дали мне отдельную комнату, праздничные кущи — горенку. И печурка есть в горенке. Сейчас скажешь про печь: нет в ней нужды, но наступят зимние дни, и при ее свете согреемся. Сижу я в горенке, и предо мной весь город. Вот большой торг, а там сидят женщины с овощами в корзинах. Гнилые продают, а крепкие придерживают, пока и те не подгниют. А посреди колонка. Из двух труб течет вода, и местные женщины качают воду. Подошел еврей к одной из девиц напиться воды из ее ведра. Еврей, — кликнул я из своей горенки, — зачем тебе пить воду из ведер, ведь колодезь перед тобой, колодезь живой воды²⁵. Не услышал меня еврей. Ибо он на земле простерт, а я обитаю в выси. Новый глас раздается в доме. Глас юной девицы. Сложил я пальто под стекло и посмотрел на себя в стекле. И спустился в светлицу посмотреть на девицу. И Лия представила меня своей подружке Минчи. Поклонился я ей и поприветствовал ее.

А когда вернулся в горенку, весь день грезил я, что не в этом городе живет Минчи, но в столице она живет, и в столице видит она, какие почести мне воздают, когда я читаю свои стихи. И возвращается она в дом матери своей, и говорит ей мать, что за человек жил в ее покоях. Как зовут человека? Акавия Мазал имя ему. И растает сердце ее, что удостоилась она знакомства со мной. Господи, как возгордился я. Читаю я книги поучений, дабы погасить пламя желанья в сердце. Но пламени я не погасил и радовался притчам поучений. Возлюби Господа Бога своего, объясняли мудрецы: возлюби и духовным желанием, и плотским²⁶. Дай-то Бог.

Как обрадовались мне ученики мидраша. Светского образования хотели, и вот и учитель. Сегодня пришли ко мне два юноши. Под Талмудом прятали они светские книги, и передо мной стал один из них читать стихи по-немецки. Один читает, другой напевает. Все стонут, хотя образования. А я? Одного хочу я — идти путем Господа во все дни жизни моей.

Что такое путь Господень? Идет человек по дороге, и силы его тают. Колени дрожат, и язык прилипает от жажды к небу. Семижды упадет и встанет, но к желанной цели не придет. А путь еще длинен, и блужданий много, и говорит себе человек, может, сбился я с пути и не путь это? И сойдет с пути, по которому шел, и увидит: вон горит огонек. Хоть и не знает, на правильном ли он пути, но кто скажет, что ошибся человек, что решил идти по другой, не прежней дороге. Так я возразил юношам, и все же светским учителем стал. Ибо кончились деньги в моей котомке,

и чем же мне пропитать себя. Как вор, что нашел кошель на дороге и возвратил владельцу, а потом украл, ибо вор он и воровством кормится, так и я в эти дни. Читаю я Библию Лие и под уте ее Минчи, и учительствую у сынков богатых. Друзья потешаются надо мной в своих письмах, и я плачу о себе каждодневно, ибо ос авил я университет. Окончилось лето, окончились каникулы, а я н вернулся домой.

Как прекрасны кущи мои в дни Кушей. На ветви мы повесили красные фонарики, и самую красивую утварь дома принесли сюда. И когда вешала Лия «восток», упало кольцо на вышивке и не смогла она повесить «восток». Взяла она кольцо и надела мне на палец²⁷, и шелковым снурком из косы подвязала «восток» и прочла: Блажен, кто Тебя не забудет, и я прочел следом: и тот, кто посвятит себя Тебе, и внезапно мы оба покраснели. Отец и мать глядели, и лица их сияли от счастья. И сидя со мной в кушах, величали меня: хозяин, а себя звали: гости. Семь раз на день приходила ко мне Лия в горницу, то еду принесет, то тарелки унесет. И возблагодарили мы Господа, что избрал он нас для любви²⁸. Как хороша моя куща в дни Кушей. А сейчас полна куща бобов и гороха, потому что снял ее торговец бобами для своего товара. Оставил я дом свой, покинул горенку и снял себе комнату за городом. Жилище мое скромное и покойное, и старушка мне услужает. Еду мне готовит и белье стирает. Мир и покой вокруг, и нет покоя в душе моей. А г-н Минц, что снял мою горенку, богат. Торгом по всей стране славится он, и ему посулил Лию отец Лии. А я бедный учитель, что я стою. А когда я пришел из столицы, приблизили меня. Ах, на словах приблизили, но сердца их далеки от меня. Как чужд мне обычай братьев моих.

Когда я учил Лию языку и книге, учил я ее и ивриту. Как радовались близкие ее, что святой язык учит. А сейчас позавидовал отец ее познаниям и удалил меня. Ах, сударь, дочь ваша мою науку не забудет, ибо стихи мои запомнит. Меня остазила²⁹, но заветы мои исполнит.

Вышел я в город, увидел отца Лии и свернул с дороги. Побежал он за мной и догнал, и сказал: что ты убегаешь, а мне хотелось с тобой поговорить. Мое сердце забилось. Знал я, что не собирается он меня утешить, и все же остановился я выслушать, ведь он — отец Лии и о ней говорить хочет. Оглянулся он туда-сюда³⁰, увидел, что никого нет, и сказал: болезненна дочь моя, болезнь брата у нее. Я молчал и слова не молвил. А он продолжал свои речи и сказал: не родилась она для труда, и утомление плоти — смерть ей. Если не найду ей покоя, умрет она у меня. И сам он будто испугался своих слов и зачастил громко: а Минц богат, он ее вылечит, поэтому я ее и отдал ему. Он ее отвезет на целебные воды и все ее желания исполнит.

Ах, сударь, иной недуг в сердце вашей дочери, и его все целебные воды не исцелят. Я могу исцелить, а меня ты удалил. И уходя от него, снял я кольцо, что дала мне Лия. Ибо обручена она с другим. И внезапный холодок пробежал по моему пальцу. Завершились записи Акавии Мазала.

Дважды и трижды в неделю приходил отец мой в дом Готлибов. И ужинал с нами в саду. Сумерки покроют стол и приборы, и трапеза наша при свете светильников. И красные фонари семафоров железной дороги освещали нам ночь, потому что недалеко железная дорога от дома Готлибов. Лишь изредка поминали там имя мамы. И когда вспоминала г-жа Готлиб маму, не заметно было, что мертвую поминает. Потом поняла я, что мудро она поступает.

А отец все время старался перевести беседу на покойницу маму. И иногда говорил он: мы, несчастные вдовцы. Странно было это слышать — будто умерли все женщины и все мужчины овдовели.

А г-н Готлиб поехал в путь к брату, ибо так решил Готлиб: может, присоединится к нему брат, ибо богат он, и расширят они вместе курильню. А Минчи, что остерегалась говорить о мужних делах, на этот раз сказала мне больше, чем собиралась. И внезапно, чтобы я забыла ее слова, рассказала она мне, как первый раз пришла в дом к своему свекру. Пришла она в дом к свекру, вошел жених ее, поприветствовал ее и ушел, и закручинилась Минчи, ибо учтивым было его приветствие. Еще она грустит, а он снова входит и бросается с поцелуями, а она отскочила, потому что обиделась. Не знала она, что первым приходил его брат, а лицом он — как ее жених.

Каникулы стали приближаться к концу, и отец сказал мне: побудь здесь до вторника, а во вторник вечером я приду и заберу тебя домой. Сказал он, и закашлялся. Налила ему Минчи стакан воды, и испил он. И спросила Минчи моего отца: простыли, г-н Минц? И сказал отец: думаю я оставить дело. Мы еще дивимся словам его, а он добавил: если бы не дочь, сейчас бросил бы торговлю. Какой странный ответ! Да бросит ли человек свое дело из-за простуды? Мы не высказали своего беспокойства, а то и впрямь подумал бы, что он болен. Но г-жа Готлиб спросила: чем же займетесь? Книги писать будете? Мы все рассмеялись. Он, купец, деловой человек, сядет книжки писать!

Раздался гудок паровоза. Сказала г-жа Готлиб: через десять минут придет мой муж. И замолчала. Стихла беседа, мы все ждали его прихода. Пришел г-н Готлиб. Минчи то и дело поглядывала на него и проверяла его взором. А Готлиб потер кончик носа и улыбнулся, как человек, собирающийся позабавить слушателей, и рассказал нам о своей поездке

к брату. Он в доме брата, и жена брата с сыном сидит в зале. Взял он ребенка на руки и стал агукать и подбрасывать его. И оба они удивились, что пошел к нему мальчик, хоть и не видал его никогда. Так он забавлялся с малышом, и тут заходит брат. Посмотрел мальчик на него и на его брата, и его глаза так и забегали от одного к другому. Смотрит и удивляется. Наконец, отвернулся ребенок и заревел изо всех сил, и потянулся ручонками к маме, она взяла его на руки, и он спрятал лицо у нее на груди.

Я вернулась домой и снова пошла в школу. Нашел мне отец и учителя иврита, г-на Сегала, у которого я училась долгое время. Трижды в неделю училась я ивritу. Один день учила Библию, один день — грамматику, и один день — письмо, потому что не любил Сегал перепрыгивать с предмета на предмет, и поэтому разделил на три части. Объяснял мне Сегал книги Завета и толкования ученых мудрецов от меня не скрывал. А по книгам учил мало, ибо уходило время на толкования и разъяснения. Много хорошего он мне рассказал, чего в книгах я не находила. И старался оживить язык наш в моих устах: скажу я что-нибудь, а он скажет: скажи это на иврите. Говорил он вычурным стилем тех времен, и радовался, если слова из слов пророков попадались ему на язык, ибо воистину пророки знали иврит. А больше всего я любила день письма. Тогда сидел себе Сегал спокойно, опершись на руку и закрыв глаза. Тихо-тихо читал он наизусть и в книгу не заглядывал. Как музыкант, что играет в ночной тьме и во мраке, и сердце его переполнено, не смотрит он в ноты, лишь то, что на душу придется, сыграет — так и учитель.

Плату за учение отец положил ему три серебряных талера в месяц. Я давала ему деньги украдкой, а он пересчитывал деньги у меня на глазах и говорил: я же не врач, чтобы мне давали деньги украдкой, я рабочий, и платы за труд не стесняюсь.

А отец работал непрерывно. И вечером не отдыхал. Я лягу, а он сидит при свете лампы, и иногда и утром я вижу: горит перед ним лампа, потому что от расчетов забывал он погасить лампу. И мамино имя не поминал более.

В вечер Иом Кипура купил отец мой две свечи. Одну свечу, свечу жизни, зажег дома, а другую, за упокой души, поставил в синагоге. И когда взял он поминальную свечу отнести в синагогу, сказал: он мне: не забудь, завтра день поминовения душ усопших. Голос его дрожал. Я подошла и поцеловала его руку. И пришли мы в синагогу, и посмотрела я вниз с балкона на молящихся, что поздравляют друг друга и прощения друг у друга просят, и увидела: стоит отец перед человеком без талита,

молитвенного плата³¹. Узнала я, что это Акавия Мазал, и слезы выступили на глазах.

Певчий-хазан пел «Отпусти все обеты», и голос его все нарастал. Свечи разгорелись, и дом полон света. Люди ходили меж свеч, и лица их укрыты. Как любя мне святость этого дня. Молча вернулись мы домой, не говоря ни слова. Звезды небесные и свечи в домах озаряли наш путь. Пошли мы через мост, потому что отец сказал: давай постоим над водой, у меня горло полно песку. Ночные светила сверкали из воды в лицо звездам небесным. Месяц показался меж туч, и тишина струилась от вод. С небес слал Господь тишь. Никогда не забуду эту ночь. Пришли мы домой, и свеча жизни качнулась нам навстречу. Помолилась я и уснула до утра. Утром пробудил меня голос отца, и пошли мы на молитву. Небеса покрылись белым пологом, которым покрывается твердь осенью. Деревья сбросили свои пурпурные листья, и старухи собирали листву. Из крестьянских изб валит дым от сухой листвы, горящей в их печах. Люди в белых одеяниях сновали по улицам. Пришли мы в синагогу и помолились. А между службами встречались во дворе синагоги. И каждый раз спрашивал отец, не трудно ли мне поститься. Как смущал меня голос отца.

В праздник Кушей я почти не видала отца. Я училась в польской школе, и на праздник нас не отпустили. А когда я возвращалась из школы к обеду, отец с соседями сидел в куцах, и я ела дома одна, затем что нет для женщин места в куще. Но зимние дни примирили нас. Вечером мы ужинали вместе и при свете одной лампы делали наши дела. Лампа светила, и тени наших голов сливались воедино. Я делала уроки, а отец проверял счета. В девять приносит Киля три стакана чаю: два отцу и один мне. Тогда отставит отец счета и перо сменит на чашку. Одну чашку выпьет горячей, а в другую положит сахар и выпьет остывшей, а затем мы возвращаемся к нашим трудам. Я — к урокам, а отец — к счетам. А в десять встанет отец, погладит меня по голове и скажет: а теперь почивать, Тирца. Как я любила это «а», всегда оно меня радовало, будто слова отца — продолжение его мыслей обо мне. Мол, раньше он про себя говорил со мной, а сейчас вслух. И говорила я отцу: если ты не идешь спать, то и я не пойду спать, буду с тобой сидеть, пока не пойдешь почивать. Но отец не слушал меня, и я ложилась спать. А когда просыпалась, он сидел за столом, и счетные книги разложены по столу. Встал ли он спозаранку или не ложился всю ночь? Не спрашивала я, а потому и не знаю. Каждый вечер я думала, пойду-ка я и поговорю с ним по душам, может послушается меня и отдохнет. Не успею встать, как сон берет верх. Знала я, что отец хочет оставить дела, поэтому и работает

вдвойне. Порядок наводил в счетах. Что потом собирается делать, я не спрашивала.

Исполнилось мне шестнадцать лет, и учеба в школе окончилась. Окончились школьные годы, и послал меня отец на учительские курсы. Не по способностям послал меня отец на курсы, потому что способностей к преподаванию у меня не было, но и другое поприще не прельщало сердца. Подумала я, что судьба человека и жизнь его другими устраиваются. И сказала: это хорошо. Друзья и родные изумились: как это Минц свою дочь отдал в учительки³².

Хоть и суета учительство, но вселяет надежду. Знали мы, что еврейские учительницы — не такие, как христианки, посылают их в дальние села, и иноверцы с необрезанными сердцами досаждают им за еврейство их, и плата учителя такая, что не успеет доехать до села, как уже всю плату съели дорожные издержки. И все же много еврейских девушек на курсах.

А курсы — семинар — частное заведение, и Мазал там учителем был. Раз в год ездил директор с курсистками в губернский город, на экзамены. И потому усердно учились курсистки, что стыд великий девице вернуться с экзамена без диплома, после всех дорожных издержек и справленного нового платья. И коль проваливалась девица на экзаменах, говорила ей подружка или соперница: на тебе новое платье. Не видала я его до сих пор. Отвечала та: новое. А эта продолжала: ведь это платье ты сшила на экзамены. Какой диплом получила? А если не надевала нового платья, скажут ей: где новое платье, что ты носила на экзамены? И напомнят ей конфуз с дипломом. Поэтому учились девицы не покладая рук, если понимания не хватало — зазубривали наизусть, что не делает разум — совладает память.

Пришла я на курсы и удивилась, что не являет мне Мазал никакого знака внимания и ласки, а я думала, выделит он меня среди прочих девиц, ведь я ему не чужая. Многие дни не могла я уберечь сердца от сего чувства. На уроках я вдвое прилежнее слушала и скуки не знала.

В те дни я любила гулять сама по себе. После уроков выйду гулять в поле, встречу подружку — не поздороваюсь, а если та поздоровается — отвечу ей вполголоса, чтобы не привязалась: так мне хотелось гулять одной. И дни стояли зимние.

И вот однажды вечером я гуляла, и вдруг большой пес залаял, а затем раздался звук мужских шагов, и узнала я, что это — Мазал. Завязала я платок на руке и махнула рукой пред ним, и поздоровалась. Остановился Мазал и спросил: что с вами, г-жа Минц? Пес, сказала я. Мазал перепугался и спросил: укусил тебя пес? И сказала я: пес укусил меня. И сказал он: покажи руку, и у него прямо сердце выскакивало при этих

словах. И сказала я: повяжите мне платок на рану. Взял меня Мазал за руку, и все косточки его дрожат от страха. Держит он меня за руку, а я сняла платок, подпрыгнула и расхохоталась. И сказала: ничего нет, сударь, ни собаки, ни укуса. Удивился он, услышав слова мои, и не знал, плакать ему или смеяться. А через минуту и он расхохотался веселым смехом. А потом сказал мне Мазал: ах ты скверная девчонка, как ты меня перепугала. И проводил меня до дому и ушел. А перед уходом посмотрел мне в глаза. И я подумала: ты знаешь, что я знаю, что знаешь ты мои тайны. И все же буду тебе благодарна, если не напомнишь мне то, что тебе ведомо.

Всю ночь вертелась я на ложе. Прижимала руку к устам и следы платка искала. Сожалела я, что не пригласила Мазала домой. Пришел бы со мной Мазал, сидели бы мы сейчас в светлице, и не знала бы я сомнений. Встала я утром в мрачном настроении. То лежу на постели, то на коврике простираюсь, и сомнения гложут меня. Только к вечеру обрела я покой. Как нервные люди, что весь день дремлют, и к вечеру просыпаются. Когда я вспомнила все, что делала вчера, встала я, взяла красный снурок и повязала его на руку на память.

Были дни Хануки, когда режут гусей. Пошла Килия к раввину с вопросом, и пожилой человек вошел в светлицу. Спросил меня человек: когда придет отец твой домой? Сказала я: придет в восемь или полвосьмого. Сказал он: раненько я пришел, сейчас полшестого. Сказала я: да, полшестого. И сказал он: неважно.

Поставила я ему стул. Сказал он: что мне так сидеть, налей водички. Налила я ему чаю. Сказал он: просил я воды, а получил чай. Плеснул он себе на руки и сказал: ну, ну, где «восток»? И обернулся к стене и сказал: в доме деда твоего не надо было человеку задавать такие вопросы, потому что «восток» висел на стене. Встал он и помолился, а я взяла две-три шкварки и положила в миску на столе, и человек окончил молиться, поел и попил и сказал: шкварки, милая, шкварки, и жир течет с его губ. Сказала я: сейчас принесу салфетку и вытрете руки. Сказал он: нет, дай мне кусок пирога. Есть у тебя пирог, что можно есть без омовения рук³³? Есть, — ответила я, — сейчас принесу пирог. Сказал он: не спеши, принеси пирог вместе со вторым. Ты ведь принесешь мне еще? Конечно. И сказал он: я знал, что ты принесешь, но ты не знаешь, кто я. Неважно, — сказал он мягко, — я Готскинд. Итак, задерживается отец твой сегодня. Посмотрела я на часы и сказала: четверть седьмого, а отец не придет до половины восьмого. И сказал: неважно, занимайся своим делом. Не буду тебе мешать. И взяла я книгу. И спросил он: что у тебя в руках? Я сказала: геометрия. Схватился он за книгу и сказал: и на пианино умеешь брякать? Пришел я сейчас из дома аптекаря, и

сказал мне аптекарь: не возьму себе жену, что не умеет играть на пианино. Видишь, Готскинд, сказал мне аптекарь, я еду в маленький городок, потому что не смогу я купить аптеку в большом городе. Правда, не сказал я, что он не аптекарь, а помощник аптекаря. Ну, неважно, что помощник аптекаря, что аптекарь. Говоришь, нет у него аптеки. Ничего, женится и на приданое справит аптеку. Итак, Готскинд, сказал мне аптекарь, еду я жить в маленькое местечко, и если не будет жена играть на пианино, от скуки умрет. Ведь чудное умение музицировать, не только удовольствие стучать по клавишам, но и за премудрость сочтется сие. Но вот уже близится семь, и уходить теперь не стоит, отец твой скоро придет. И Готскинд расчесал бороду пятерней и сказал: должен бы твой отец почувствовать, что знакомец ожидает его. Ведь не знает человек, где его благо ждет. Вот часы бьют. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Свидетелями мне часы, что правду говорю. Я утратила покой. А Готскинд сказал: ты ведь не знаешь, кто я, и имени моего до сегодняшнего дня не слыхала. А я тебя знал еще до твоего рождения. Это я сватал твою мать за твоего отца.

Не успел он договорить, как пришла Киля, и мы накрыли на стол. И в домоводстве ты сведуща? — воскликнул Готскинд, как бы удивляясь. — Говоришь, отец скоро придет. Если так, подождем его, — сказал Готскинд, — как будто только сейчас ему такая мысль пришла.

Подошел восьмой час, и отец вернулся. Готскинд сказал отцу: легок на помине. Вот и часы бьют. Свидетелями часы, что правду говорю. И подмигнул он отцу и сказал: к тебе я был послан, и вот Господь явил мне и дочь твою.

В ту ночь мне снилось, что отец выдал меня за индейского вождя, и все тело мое в татуировке из целующихся уст. И муж мой сидит напротив на скале и расчесывает бороду лапой стервятника, и удивилась я. Ведь известно, что индейцы стригут бороду и голову, откуда у моего мужа столько волос.

Прошло четыре дня с моей встречи с Мазалом, и я не ходила на курсы. Боялась я, что увидит отец и забеспокоится обо мне. И думаю я, когда пойти на занятия: если приду на семинар, и Мазал там, то застыжусь, а если приду, а Мазала нет, то от звука его шагов задрожу. Опоздаю-ка я к началу занятий, чтобы он внезапно меня увидел. И пошла я на семинар, и вот уже начался урок, а ведет его другой человек. Спросила я одну курсистку: почему Мазал не пришел. И сказала она: и вчера и третьего дня не приходил Мазал, и кто знает, придет ли еще когда-нибудь. Сказала я: загадками говоришь. И отвечала девица: дело в женщине. И я задрожала. И рассказала мне девица, что оставил Мазал курсы из-за учителя Капирмилха, что получил деньги от своей бабки,

а та прислуживала в дому у Мазала, и деньги послала внуку в конверте, что взяла без спросу у своего хозяина со стола. Открыл Капирмилх конверт, а там еще и письмо, которое написала одна курсистка Мазалу. А отец курсистки одолжил как-то деньги Капирмилху, и сказал Капирмилх ему: прости мне мой долг, а я дам тебе письмо твоей дочери к ее любовнику, к Мазалу. Услыхал об этом Мазал и ушел с курсов, чтобы не пострадал из-за него весь семинар.

Вернулась я домой и обрадовалась, что не будет больше Мазал учить на курсах, и не подумала даже, что останется без заработка. Правда, больше не увижу его, но и не устыжусь при виде его. И сразу опротивели мне курсы. Сидела я дома и помогала Киле во всяких домашних работах. Вспомнила я старых учительниц, и тошно стало мне. Неужто загублю я жизнь за неизвестными книгами и стану, как они? И думая об этом, забыла я и про домашние работы и оставила хозяйство. Хотелось мне выйти на улицу, вдохнуть ветер, размять ноги. Встала я, накинула шубку и вышла. По пути зашла я в дом Готлибов. Минчи поспешила мне навстречу и взяла мою руку в свои и согрела, и мне в глаза заглянула, узнать, принесла ли я какую весть. И сказала я: нет вестей. Пошла я погулять и заглянула к вам. Она сняла с меня шубку и усадила у печки. Выпила я стакан чаю, встала и пошла, потому что услышала, что мытный начальник придет к трапезе, и побоялась, что помешаю г-ну Готлибу поговорить с ним по делам.

Дождь был на земле, и я сидела дома. Весь день читала книжки или сидела с Килей на кухне и помогала Киле в ее работах. Покойны помыслы сердечные, худа не мнится мне.

В восемь вечера отец вернулся домой. Молча скинул он башмаки и переобулся в тапочки. Шорох его тихих шагов как бы напомнил мне о тишине дома. Стол был накрыт к его приходу, и с его приходом мы сели ужинать. А потом засел отец за расчетные книги, а я сидела рядом до десяти. А тогда он встал и сказал: а сейчас иди почивать, дочка, и погладил меня по голове, и я опустила голову. Какое невыносимое счастье. Так прошла пора дождей³⁴.

Солнце засияло над городом, и грязь почти просохла. Рано пробудилась я и не смогла уснуть, казалось мне, что-то стряслось в мире. Обратила я лицо к окну, а за ним темносинее небо. Неужто бывает такой свет, а я и не знала. Только через несколько мгновений поняла я, что обмануло меня оконное стекло. И все же не проходила моя радость.

Быстро я встала и надела свои одежды. Что-то стряслось в мире, пойду посмотрю, что это. Вышла я на улицу. И с каждым шагом останавливалась в изумлении. Поглядела я на витрины лавок — все они сияли в свете дня. Сказала я себе: пойду в лавку, куплю что-нибудь. Не

знала, что куплю, но решила купить и не гонять Килю. Но в лавки я не вошла, а пошла на край города, к мосту. А под мостом дома, с обеих сторон дома. Голуби летают с крыши на крышу, а на одной крыше муж и жена чинят крышу. Поприветствовала я их, и они ответили мне. Пошла я дальше, и вот стоит старушка, будто ждет, когда я спрошу ее, куда идти. А я не спросила. Вернулась я домой, взяла книжки и пошла на курсы, и противны мне были курсы. Гнездо скуки этот дом. Вижу, не перед кем там излить мое сердце, и еще больше возненавидела я семинар. Омерзели занятия душе моей. И сказала я: расскажу Мазалу. Не знаю, что меня спасло, но сладко мне стало от этой мысли и тешилась я ею весь день. Но как мне с ним заговорить, ведь к нему домой не пойду и на улице не встречу. Прошла зима, сошел снег, а мы не встретились.

В то время приболел отец, и пришел Готлиб пожелать ему выздоровления, и рассказал ему Готлиб, что расширяет он свою курильню, потому что дал ему денег брат и вошел в долю, и власти препятствовать более не будут, воевода начальник стал на его сторону, потому что получил взятку. Милый друг, сказал воевода Готлибу, все чиновники, вплоть до кесаря, гонятся за мздой, нет воеводы, чтобы не брал взятки. Приведу тебе пример, сказал воевода, спросишь про такого-то, кто он и как выглядит, а тебе скажут: длина его носа пять сантиметров, а ты испугаешься, но на самом деле пять сантиметров — длина любого носа. И сказал Готлиб отцу: не мне их судить, но их порочная невинность рассердила меня. Сегодня они тебя утешат, а завтра и не вспомнят. Куда лучше чиновники в России: мзду берут и глаза честностью не слепят.

Когда уходил Готлиб, проводила я его, и сказал мне Готлиб: от больного к больному. Скрыла я смятение и спросила: кто болен? И отвечивал Готлиб и сказал: г-н Мазал болен. На миг захотелось мне пойти с ним. Но потом одумалась я и не пошла.

— Смотри, как странно, Тирца, — сказал мне отец, — Готлиб всегда работает и не жалуется, что детей у него нет. Кому он оставит плоды своего труда, когда призовет его Господь? И приказал отец принести ему расчетную книгу и сел на кровать, и работал до ужина. А назавтра с утра выздоровел отец и встал с ложа недуга. А пополудни он пошел в лавку, а я пошла к дому Мазала.

Постучала я в дверь, и нет голоса и нет ответа. Подумала я: слава Богу, что никого нет. И все же не унесли меня ноги. Вдруг постучала я изо всех сил, ибо увидела, что никого в доме нет, и дерзнула рука моя.

Прошли мгновения, и сердце мое ослабело. Вдруг услышала я движение в доме, и душа моя встрепенулась. И собралась я уйти, и вышел Мазал. А Мазал укутан в накидку. Поздоровался он со мной.

Потупила я очи долу и сказала: вчера приходил г-н Готлиб и сказал, что сударь заболел, вот я и пришла проведать. А Мазал не отвечал мне ни слова. Одной рукой он зазвал меня в дом, а другая держит ворот накидки. Ноги мои подкашивались, а Мазал сказал: простите, сударыня, не могу говорить. И пошел Мазал в другую комнату. Несколько минут прошло, и он вернулся, одет в лучшие одежды, и откашлялся. И внезапно смолкла светлица, и мы двое в светлице. Поставил Мазал мне кресло перед печкой и сказал: садитесь, сударыня. И спросил меня Мазал, зажил ли собачий укус у меня на руке. Глянула я ему в лицо, и глаза мои полны слез. И Мазал взял мою руку и сказал: прости. А голос его нежный, теплый, ласковый. Понемножку прошло мое смятение. Оглядела я комнату, что знала с детства, но была она мне внове. Жар от печки обнимал меня, и дух мой ожил. Мазал подложил полено в печурку, и я поспешила ему на помощь. И в спешке простерла я руку, и упала карточка со стола, и подняла я карточку, а на ней женщина. И взгляд ее, как у женщин, у которых все есть, а на лбу тревога, будто не верит в прочность счастья. Это моя мать, сказал Мазал и поставил карточку. Это единственная, потому что не снималась она с девичества, и лишь раз в девичестве снялась на фотокарточку. Много лет прошло с тех пор, и лицо ее уже не то, что на карточке, и все же лишь этот облик я храню в памяти, как будто бесследно протекло время. Тишина ли в комнате повлияла на него и отверзла уста, или я, сидящая против него в вечерний час? Мазал долго говорил, и рассказал мне Мазал все житейское своей нежной матушки таким образом:

Мать моя из рода Буденбахов, а весь род Буденбахов крещеный. Предок наш р.Израэль богаче всех в стране был, винокурный завод у него, и поля, и села. Помогал он ведающим Тору и строил дома для изучения ее. И в книгах, напечатанных в те дни, прославляется имя его, ибо дал прадед мой золото и серебро в честь Торы и ее последователей.

В те дни указ вышел: отнять у евреев их состояние, узнал он и стал стараться, чтобы его указ не коснулся, и не ушло бы его состояние. Но все его старания тщетны были. Тогда переменял он веру, и вернулись ему дом и состояние. Пришел он домой, и увидел: возносит его жена утреннюю молитву. И сказал он ей: я крестился, живо бери детей и ступайте к священнику. И вознесла жена благодарение Господу, что дал нам нашу веру, и не сделал нас подобными народам мира, и плюнула трижды, и молитвенник поцеловала, и встала она, и все дети ее, и переменяли они веру. А потом родила она сына, и обрезал прадед сына, ибо исполнял заветы Господа, и лишь иноверцам являли они свое иноверие. И ввысь и ввысь пошли они, и дворянское достоинство

получили. Но новое поколение не помнило Бога своих предков и, как прошла кара, не вернулись к Нему. Господа не убоятся и Тору и заповеди не чтят, лишь в канун Пасхи придет посланец от раввина, и продадут ему квасное³⁵, ибо иначе не пили бы евреи их хлебного вина, ибо запрещено квасное евреям и после Пасхи. А матушка — внучка младшего сына. Законы католиков учила она, но все усилия священников тщетны были. Дни продлятся, но не преисполнится ухо рассказами о всех мытарствах матушки, пока не смилостивился над ней Господь, и нашла она покой в сени Его. Ибо и в монастырскую школу ее отдавали к суровым наставницам, но не шла она их путем, а задумывалась о скрытом и потаенном от нее. В то время нашла матушка портрет р.Израэля, а он выглядел, как раввин. И спросила матушка: кто это? И сказали ей: предок твой. Изумилась этому матушка. И воскликнула: а что это за локоны у него на щеках и какую книгу он читает? И сказали ей: Талмуд учит и пейсы крутит. И рассказали ей все дела деда. С тех пор ходила она, как тень, и ночью не стихало ретивое, но сны являлись ей. Раз явится ей дед, возьмет ее на руки, и она разглядит ему бороду, раз явится бабка с молитвенником в руках, и научит ее бабка священной азбуке, и по пробуждении записала матушка все буквы на доске. И чудо это было, потому что до того дня не видала матушка еврейской книги.

А в дому у отца ее был молодой писарь — еврей. И сказала она ему: научи меня Божьему Завету. И сказал он: ах, не знаю я. Пока они говорили, пришел посланник раввина купить квасное на Пасху, и сказал ей писарь: поговори с ним. И поведала она ему свои мысли. Сказал тот ей: пусть придет ко мне барышня сегодня вечером и отпразднует с нами праздник Пасхи. И пришла она вечером и села за трапезу с ним и домочадцами его, и пошло сердце ее за Господом Израиля, и заповеди Его стали ей желанны. А писарь тот — мой покойный батюшка. Библии и заповедей не изучал, но Господь дал ему чистое сердце, и прилепилась к нему матушка, и вместе прилепились они к вере в Бога. После женитьбы переехали они в Вену, говоря: там нас никто не знает. И в поте лица добывал он хлеб свой, но у отца ее не брали они ничего. Понемножку привыкла матушка к своему новому положению. А батюшка работал вдвойне и никакого блага себе не позволял, чтобы я мог учиться в лучших школах и занять положение в высшем обществе благодаря науке и премудрости, ибо состояния он по смерти мне не оставил. И мнилось ему, что он лишил меня наследства, ибо не вышла бы моя матушка за него, был бы я дворянином. А матушка расчетов не ведала, любила меня, как мать — сына во все дни жизни.

День пошел на убыль, и Мазал окончил свой рассказ и сказал: простите, сударыня, что я так заговорился. И сказала я: почему вы просите прощения, вы же мне добро сделали. Теперь буду знать, что вы меня не возненавидели за то, что раскрыли свое сердце предо мной, если не воздержитесь от речей. И Мазал провел ладонью по глазам и сказал: как тебя возненавидеть. Рад я, что нашел слушательницу поговорить о матушке, потому что соскучился я по ней. А если мало этого — расскажу еще. И Мазал рассказал мне, как пришел в город, но мамы и отца мамы не упомянул. И рассказал мне о своих трудах, ибо то, что начала матушка его, возвращаясь к Господу Богу Израиля, льстилось ему завершить возвратом к народу своему. Но они не поняли его. Чужим он был среди них, хоть он один из них, но вчуже их сердцу он.

Вернулась я домой, и сердце мое полно до краев. Как у пьяного допьяна, шевелились ноги мои. Луна воссияла и мой путь светом озарила.

И по пути домой думала я, что скажу отцу, рассказать ли ему все, что было у меня с Мазалом, и услышит отец и рассердится. А если промолчу, встанет стена между мной и отцом. Сейчас пойду и расскажу ему, и если рассердится — увидит, что не скрываю я от него своих дел. И по приходе домой застала я врача: тот услышал, что болен отец, и наложила я печать молчания на уста, ибо как рассказать при чужих. И не пожалела, ибо взбудрила тайна дух мой.

Спокойной была я дома. С подружками не секретничала и приветственных писем не писала. И вот пришел письмоносец и принес мне письмо. Письмо на иврите написал мне юноша по имени Ландау. Как заблудившийся путник в бурную ночь к Божьим звездам вознесет очи, писал он по Книге, так возношу я свое послание тебе, благородная и достойная дева. Письмо в моих руках, и учитель Сегал пришел на урок. И сказала я: пришло письмо на иврите. И сказал он: знаю. И рассказал мне учитель, что юноша — ученик его, сын арендатора из села.

Прошло восемь дней, и про письмо забыла я. Пошла на семинар, и вот — женщина и юноша стоят там. Когда я увидела юношу, поняла, что он написал письмо. Сказала я отцу, и он засмеялся. И сказал: деревня. И подумала я: почему юноша так со мной поступает, откуда такие странные помыслы. И внезапно увидела я внутренним оком юношу и его смущение и его румянец, и пожалела я, что не ответила ему, а он, может, ждал и обиделся. И решила я: завтра напишу ему. Но не знала, что написать. И тело мое замерло от сладкого сна. Как сладок сон, когда покоятся жилы и душа равновесие обретает. Но и назавтра, и в третий день не ответила я юноше, и уже думала: так и не отвечу. И вот, делаю я уроки, и перо у меня в руках, повела я пером не думая, глядь —

получился ответ юноше. Лишь несколько строк я написала. Перечла письмо и подумала: не о таком ответе он молил. И бумага не по духу была мне. И все же послала я письмо, ибо знала, что другого уже не напишу. И решила: не буду ему больше писать, потому что не лежит моя душа к писанию писем. И вот прошли дни, и нет послания от юноши, и пожалела я, что переписки не вышло. Но понемногу позабыла я юношу и письмо. А что я письмо написала — так это долг был, и я его выполнила. И однажды говорит мне отец: помнишь женщину и юношу? И сказала я: помню. И сказал он: пришел ко мне отец юноши сговариваться насчет своего сына. И впрямь, хорошая семья, и юноша образован. И спросила я отца: он придет к нам? И сказал он: не ведаю, но ответ твой мне в радость, что не таишь ты помыслы. И потупила я очи долу. Господи, Ты ведаешь мои помыслы. И добавил отец: к звездочетам не пойдем и гадалок не спросим, найдет ли моя дочь суженого. И больше отец про это не говорил.. .

И вот вечером в воскресенье пришел отец домой, и с ним человек. И велел отец принести горячего и зажечь люстру, и печь проверил: натопилась ли. И сели за стол и беседовали. А человек не сводил с меня глаз, и вернулась я в свою светелку заниматься рукодельем. Я работаю, и подъехали сани и стали под окнами. И вышла ко мне Киля и сказала: гости приехали, иди в залу. И сказала я: не пойду, у меня работы много. Но Киля не отставала от меня и сказала: сегодня праздничный вечер, велел твой отец состряпать олады. Если так, сказала я, с тобой приготовлю трапезу. И сказала: нет, иди в залу. Гость пришел, юноша с чудным взором. И Готскинд там? спросила я Килю с издевкой. Кто? — спросила она. Готскинд, — сказала я. — Позабыла уже его и речи его? — Ну и память у тебя, Тирца, — сказала Киля и вышла.

Наступило время ужина, и я вышла в залу и удивилась, ибо превратился юноша в другого мужа, он и не растерян, как раньше, и шапка на нем черного козьего меха, и легкий пушок на румяных ланитах.

Затем снова пришел Ландау. В санях приехал, волчья шуба на плечах. И пах он зимним лесом. Чуть посидел и встал, ибо спешил к лудильщикам и заехал к нам, чтобы пригласить меня прокатиться. И дал мне отец свою меховую шубу, и мы поехали.

При свете месяца неслись мы по снежной колее, и копыта коней били в лад колокольчикам. Сидела я справа от юноши и выглядывала из-под медвежьей полости, и шуба укутывала меня и рот закрывала так, что и слова молвить я не могла. Ландау остановил коней перед мастерской лудильщика и помог мне сойти с саней и войти в дом. Там налили нам белой горилки и угостили печеным яблоком. Ландау велел лудильщику приехать назавтра в село, починить котлы в винокурне. Как вельможа

и повелитель говорил он, и все внимали словам его. Глянула я в лицо Ландау и подивилась. Этот ли юноша писал мне о стенаниях одинокого сердца? На обратном пути не прятала я лицо в шубу, потому что свыкла с морозом. И все же не перемолвились мы ни единым словом, ибо молчание окружало мое сердце. И Ландау молчал, лишь изредка покрикивал на коней.

И отец сказал мне: старый Ландау сговаривается насчет своего сына, что душой он прилепился к душе твоей, и сейчас скажи мне, и я дам ответ. И увидел отец, что я смущена, и сказал: есть еще время поговорить об этом, ведь и юноша еще ждет призыва на службу, и ты молода годами. Прошло несколько дней, и снова стал Ландау писать мне письма возвышенным слогом, и в них видения земли Израиля. Из села род его, и земледелию обучен сызмальства, и о земле Израиля не устал он грезить и мечтать. Потом прекратились его письма, но он иногда приходил пешком в город: изматывал себя, чтобы оказаться негодным для царской службы в войске. И бродил по улицам и площадям с каликами по ночам. Вспомню я их напев по ночам, и душа облачится тревогой. Помнила я дядю, мамина брата, что отдал Богу душу в войске. И подумала я: хоть бы я осчастливила Ландау, и была бы ему теперь женой. И вот однажды встречаю Ландау по дороге. Глаза его провалились, щеки запали, и запах одежд его — запах старого табака. Лицо — лицо больного. Вернулась я домой и взяла книгу. Подумала я: почитаю и развею грусть. И перехватило горе горло мое, и учиться я не смогла. И открыла я Псалтирь и стала читать вслух, может, сжалится Господь, и не сгинет сей юноша.

А в доме Готлибов работали строители и делали в левом крыле флигель для брата, который приезжает пожить с ним, ибо вошел он с ним в долю в курильне благовоний. И отпраздновали новоселье, ибо до тех пор не праздновал Готлиб новоселье, ибо лишь сейчас достроился дом, когда он привез возлюбленного брата. Готлиб стал совсем другим человеком. Даже бороду переиначил. Увидела я братьев и рассмеялась, ибо вспомнила рассказ Минчи о ее первом приезде в дом свекра. За обедом вынул Готлиб письмо и сказал жене: чуть не позабыл, пришло письмо из Вены. И спросила: есть ли вести в нем? И сказал он: нет вестей, только поздравление с новосельем. И матушке его ни хуже, ни лучше. Поняла я, что о Мазале речь, ибо слышала я, что заболела его матушка, и отправился он в Вену проведать свою матушку. И вспомнила я день, когда сидела у него, и приятно было мне сие воспоминание.

После обеда вышла Минчи со мной в сад. Сидя с невесткой не собралась с силами, а сейчас вспомнила былые дни. — Урод, — крикнула она внезапно, и песик прыгнул к ней. Чуть не испугалась я. А Минчи

любовно погладила его по голове и сказала: Урод, Урод, Урод, сыночек. Хоть я терпеть не могу собак, провела я рукой по его шерстке и погладила. Пес глянул на меня подозрительно, а потом довольно затявквал. Обняла я Минчи, и Минчи поцеловала меня.

В нескольких шагах от нас стоял большой дом. Не стихал в нем детский гомон и женский голос. Солнце заходило и окрасило вершины деревьев, и внезапно подуло холодным ветром. — Жаркий был денек, — сказала Минчи тихо, — миновало лето. Ох, не выношу я этого шума. Как они приехали — стихли голоса птиц в саду. Пес снова залаял, и Минчи сделала ему гримаску: что тебе, Урод? И сказала мне: заметила ли ты, Тирца, что пес лает на письмоносца? — У нас нет собаки, — сказала я, — и писем мне не пишут. Минчи не обратила внимания на меня и мои слова и сказала: когда уезжала невестка и сообщила мне о своем возвращении, письмо в срок не пришло, но залежалось на заборе, а на конверте написал письмоносец: из-за пса не смог доставить письмо в дом. Умница ты моя, Урод, иди сюда, кликнула Минчи псу и снова погладила его по шерстке.

Сумерки объяли нас, и в окнах вспыхнул свет. Пошли домой, Тирца, пора готовить ужин. И на ходу добавила: и Мазал скоро вернется. И обняла меня. И вошли мы в дом. Работники курильни пришли вечером поздравить господ, потому что не приходили днем, когда были все гости. Минчи накрыла им стол. Когда ублажили себе сердце вином, запели работники. Работник, которого выпустили из холодной, веселил нас рассказами, услышанными от арестантов. Готлиб, как обычно, почесывал нос. Посмотрела я на Минчи, и в лице у нее сила и энергия, и грусти не видать.

Прошел праздник, и осеннее небо нависло над городом. Отец был занят делами и не приходил обедать домой. В те дни я научилась любить осень и роскошество ее силы. Вид темного леса и медь его листвы стеной окружили лик мира.

Снова начались мои занятия на курсах. На этот год водили нас учителя по школам, попробовать наши силы в преподавании. У меня таланта не прибавилось, поэтому я делала то, что велено.

Г-н Мазал вернулся в город. С изучающими древности договорился он собирать материалы к истории нашего города. И сейчас он копает на погосте и находит старинные вещи во прахе. Этой работе он посвятил себя без остатка. Позвал его директор семинара преподавать на курсах, потому что забьлся Капирмилх, но не ответил Мазал на призыв.

В то время приехала к нам сестра отца, ибо сватались тут к ее дочери, и приехала она глянуть на юношу. Тетя не похожа на отца, любила жизнь. — Рад я, дочка, — сказал мне отец, — что по вкусу тебе тетка. Хоть

и хорошая она женщина, мила и обаятельна, но у меня к ней душа не лежит. Может, из-за тебя я на нее жалуюсь. И замолчал.

Шли последние осенние дни, и тетка вернулась к себе домой. Полями вернулась я со станции. Стихли свистки паровоза, картошку уже выкопали, и обнаженные поля поблескивали под желтым солнцем, и калина пленяла глаз. Вспомнила я сказку о калинке и утратила покой.

Прошла я мимо крестьянской избы, летом я покупала там овощи, и дали мне букет астр. Взяла я эти осенние цветы и пошла. И по пути увидела я, что недалеко до дома Мазала, и подумала: зайду-ка я, поздороваюсь, потому что не видела я его с тех пор, как он вернулся. Мазала дома не было, старая служанка сидела на завалинке и ждала его возвращения. Из-за внука, из-за Капирмилха оставила она дом своего хозяина и ушла жить в деревню, а сейчас привезла осенний урожай в город и решила его проведать. И остановила меня старуха и рассказала много хорошего о своем господине Мазале. Радостно было слышать хвалу ему. Рассыпала я цветы на его порог и ушла.

Через несколько дней получили мы подарки от тетушки. Даже Килью вспомнила тетушка и послала ей новое платье. Увидел отец и сказал: подарки послала, а когда мать твоя умерла, не захотела приехать и за тобой присмотреть. Так узнала я, за что сердился отец на тетушку.

Прошла осень. Темная муть затянула небесную твердь, и облака потянулись по ней. Дождь моросит весь день, и крыши домов блестят. Последние увядшие листья сносят потоки дождя, и противная мрачность властвует в мире. Тучи и ветер, и дождь, и холод. Капли дождя остывают и замерзают, и бьют по телу, как иголки. В дому разожгли печку, и паклей с крыши проложила Килья окно. Печь топится весь день, и Килья стала стряпать зимние кушанья. Пошел снег. Дороги замело, и колокольчики саней зазвенели и зарадовались. Вышла я из семинара, и вот — девицы несут на плече железные коньки, идут кататься на реку. И меня сманили, и я поддалась. Купила себе коньки и каталась с ними. Снег лежал на замерзшей земле, и дровосеки рубили дрова на улице, и запах чистого воздуха смешивался с запахом опилок и расколотых деревьев. Мороз крепчал, и снег скрипел под ногами прохожих. А я бегу себе с девицами мчаться по реке на коньках.

Хороши были дни, когда я каталась на коньках. Тело мое крепло, и глаза как бы раздались, как бы слетели с них облака грусти, и плоть моя исцелилась. Я ела с аппетитом, и за книгой тела своего не чувствовала. Иногда вернусь домой, а Килья стоит, ссутулясь, подойду к ней тихо и вдруг подыму ее одним махом. Напрасно кричала Килья, коньки мои звенели и заглушали ее голос.

Но не долго длились эти дни. Хоть солнце не вышло, снег стоял. Пришла я к реке, а там никого нет. Лед почти растаял, и на льдинках сидят вороны. Почувствовала я: колет сердце. Врач дал мне лекарство и запретил переутомляться на курсах. И сказала я: ах, сударь, ведь я в этом году кончаю семинар. И сказал он: коль так, придется тебе учить иноверцев только через год. А я, из-за катания на льду с подружками, почти полюбила семинар. Миновало дело, миновала любовь.

В это время очищали дом перед Пасхой. Достала я старые книги из шкапа проветрить. И все книжки с порченным переплетом решила отнести к переплетчику. И нашла я в шкафу «восток», что висел в доме отца мамы, и положила я его в ранец вместе с книгами, чтобы занести к стекольщику: стекло треснуло, и золотая рама пообтерлась, и шелковый шнурок, что привязала покойница мама, чтобы повесить его на стенку, порвался. Не успела я выйти, пришла портниха и принесла мне новое платье, весеннее платье. Надела я это платье и больше не снимала. Надела я шляпку и пошла с книгами и с «востоком» к переплетчику и стекольщику. Я у переплетчика, и входит Мазал. Увидел Мазал книги, что я принесла, а «восток» был завернут в бумагу, и спросил Мазал: а что это за книга? И развернула я бумагу и сказала: повремените, сударь. И взяла шнурок, что повязала себе на руку, когда встретил меня Мазал с собакой, и привязала шнурок к «востоку» и повесила его на стенку. Увидел Мазал и изумился. И прочла я написанное на «востоке»: Блажен тот, кто тебя не забудет. Мазал опустил голову. Я заалела, и глаза наполнились слезами. На миг захотелось мне заорать: ты навел на меня этот позор, на миг хотелось рухнуть перед ним на колени. Поспешила я и не задержалась — вышла из мастерской. Вышла я, а Мазал тут рядом. И засмеялась я и заплакала в голос, и сказала: знайте, сударь, и почти захрипела и устыдилась своего голоса. И взял Мазал мою руку, и его рука дрожала, как его голос. И осмотрелся он туда и сюда и сказал: так нас увидят. Утерла я слезы и прическу поправила. Но дух не успокоился. Пусть увидят, сказала я, все равно мне. Шли мы несколько минут и дошли до улицы, где наш дом, и Мазал сказал: а вот и дом барышни. Посмотрела я ему в глаза и сказала: не пойду домой. Мазал молчал. А я не знала, куда я иду. Много слов в сердце моем, и боялась я, что уйдет Мазал, а главного я ему не скажу. Тем временем вышли мы за город и оказались в лесу. Кустарник в лесу почти распустился, и листики берез выглянули, и новое солнце озарило лес. И сказал Мазал: вот и весна пришла. И глянул Мазал мне в лицо и понял, что рассердил меня своими словами. И провел рукой по голове и вздохнул.

Сажу я на коряге, а Мазал в смущении что-то лепечет. Увидел он мое платье, весеннее платье, и сказал: дерево еще сырое, а платье барышни

тонкое. Я и сама знала, что дерево сырое, а платье тонкое. И все же не встала я, и наслаждалась мучениями своими. А Мазал побледнел, глаза потухли, и на губах порхала странная усмешка. Подумала я: сейчас спросит, прошел ли укус собаки. И очень тяжело мне на сердце. И вдруг я ощутила неведомое мне доселе счастье, чудное тепло разлилось по телу, молча разгладила я свое мягкое платье. Почудилось мне, что человек, с которым я сижу в лесу в начале весны, уже признался предо мной. И удивилась я, что он все говорит и говорит и говорит: я слышал твой голос ночью. Неужто была под моим окном? И сказала я: под окном не была, но на ложе своем по ночам звала тебя. Все дни я думаю о тебе. Твои следы искала я у могилы мамы. Минувшим летом я положила цветы на твой порог, а ты прошел и цветы не заметил. А я тебе говорю, сказал Мазал, что пройдет это чувство бесследно. Ты еще молода, и ни в кого не влюблялась, и поэтому задумалась обо мне. Увидела ты, что мальчишки — мелкота, а со мной тебе не скучно, и подумала: это он. Но что будем делать, когда ты и впрямь влюбишься? А тут наступили времена, когда покой мне дорог. Подумай, Тирца, и увидишь: лучше нам расстаться поскорее. Ухватилась я за бревно, и сдерживаемые слезы вырвались наружу. И Мазал положил руку мне на голову и соказал: давай останемся друзьями. И закричала я: друзьями! Терпеть не могу эту романтику! И отвел Мазал свою горячую руку, а я прижалась губами к его руке и поцеловала ее. И положил Мазал голову мне на плечо и поцеловал.

Солнце село, и мы вернулись домой. И весенняя стужа, что вдвое сильнее после солнечного дня, ударила мне в кости. И Мазал сказал: еще поговорим. Я спросила: когда? Когда? Мазал повторил мои слова, как будто не понял их смысла: когда? Завтра под вечер, в лесу. Хорошо. Я вынула часы и спросила: в котором часу? И ответил Акавия: в котором часу? В шесть. Взяла я часы и поцеловала эту цифру на циферблате. И тепло часов, висевших у меня на груди, было мне приятно.

Вернулась я домой, и меня знобит. По пути домой трясло меня от холода, думала я: приду домой, и все пройдет. Но пришла я домой, и не прошло, а хуже стало. Есть я не смогла, и горло болело. Киля приготовила мне чай, положила сахар и лимон в чай, и я выпила. А потом я легла в постель, укрылась, но не согрелась.

Проснулась я, а горло обложено. Зажгла свечу и погасила, потому что ее красное пламя резанула по глазам. Дым фитиля и холод рук моих тоже добавили неудобства. Часы тикали, и я перепугалась, подумала, что опоздала прийти в лес на свидание, что назначил Мазал. Посчитала я часы и попросила Господа, чтобы остановил время. Три, четыре, пять. Так. Сейчас, когда пора вставать, сон меня держит. Почему я не спала,

пока можно было, а сейчас приду я к Мазалу после бессонной ночи. Встану-ка я и уберу следы сна. Но как умыться, когда я простужена? Нашупала я спинку кровати и встала. Страшный холод объял меня. Где я, не могла понять. Вот дверь, но нет, это дверь шкафа. Где спички, где окно? Почему Кия занавесила окно? Я же упаду и разобью голову о печку или о стол, к черту, где лампа? Ничего не могу найти, может, я ослепла? И тогда, когда от меня все откажутся, возьмет меня себе в жены Акавия Мазал, и как поводырь водит слепца, так поведет меня г-н Мазал. Ах, что я наделала, что заговорила с ним. Слава Богу, вот и постель, благодаренье Господу за милосердие его. Легла я и укрылась, и все же кажется мне, что я брожу, уже несколько часов кряду иду себе. Куда? Вот старуха стоит на пути, ждет, когда я спрошу ее, как пройти, это та же старуха, что я видела месяц назад, когда ясным днем выходила я за город. А старуха заговорила и сказала: вот и она. Не сразу признала: ты ведь дочь Лии? Ты ведь дочь Лии, сказала старуха и запустила себе понюшку табаку, и болтовней своей не дала мне ответить. Кивнула я головой и сказала, да, я дочь Лии. И добавила старуха: вот я и говорю, что ты дочь Лии, а ты проходишь мимо, как ни в чем не бывало. Телята не знают, на каком пастбище паслись их матери. И снова набила себе старуха нос табаком и сказала: я же своим молоком выкормила мать твою. Я понимала, что это сон, но удивилась. Маму ведь не кормили чужим молоком, что же старуха говорит, что она кормилица мамы была. И удивилась я тому, что давно не видала я этой старухи и не вспоминала о ней, и что она вдруг является мне во сне посреди ночи? Чудесны пути сновидений, и кто ведает их разгадку.

Пробудилась я от шагов отца и увидела, что он печален. Его добрые покрасневшие глаза смотрели на меня с любовью и заботой. Устыдилась я, что комната не убрана, новое платье на полу валяется, и чулки разбросаны. На миг забыла, что это мой отец, подумала только что мужчина в моей спальне. От стыда закрыла я глаза, и слышу голос отца говорит Киле, что стоит у порога: она спит. И прошло мое смущение, и воскликнула я: доброе утро, папа! Ты не спишь? спросил отец в удивлении. А я сказал: вот она спит. Как здоровье, дочка? Здорова, ответила я, стараясь говорить чистым голосом, но кашель сорвал мои усилия. Я чуточку простыла, но простуда уже прошла, и вот я встаю. И сказал отец, слава Богу. Но я советую, дочка, не вставай сегодня с постели. Нет, встану, сказала я упрямо, и показалось мне, что отец мешает мне пойти к суженому.

Знала я, что след мне броситься на шею отцу и умолять о прощении, ибо негоднее совершила я. Милый отец, милый отец, — рвалось из моего сердца, но я сдержалась и воскликнула: папа, помолвлена я со вчераш-

него дня. Отец посмотрел на меня. Хотелось мне потупить глаза, но я собралась с духом и воскликнула: папа, ты что, не слышишь? Отец думал, что я от жара брежу, и смолчал, а Киле что-то прошептал, но я не расслышала слов. И подошел отец к окну, проверить, затворено ли оно. Я собралась с силами и села на постели, и сказала отцу: и впрямь, знобило меня, но озноб уже ослаб. Сядь ко мне, хочу тебе слово молвить. Пусть и Киля подойдет, нет у меня секретов. У отца глаза чуть из орбит не выскочили, и от тревоги их светоч померк. И вот присел отец ко мне на постель, и сказала я отцу так: вчера встретила я с Мазалом и обручились мы. Что с тобой, отец? — Скверная ты девчонка, — воскликнула Киля в страхе. — Молчи, Киля, — воскликнула я, — это я раскрыла свое сердце Мазалу. Но что попусту слова множить, помолвлена я ему. — Да где такое слыхано? — закричала Киля и всплеснула руками в отчаянии. И отец велел Киле молчать и спросил: когда это было. И сказала я: не помню, в котором часу, хоть посмотрела я на часы, но который час был — позабыла. — Да где такое слыхано? — сказал отец в смятении и рассмеялся, — не знает даже, когда помолвлена. И я тоже засмеялась. И внезапно ударило меня в сердце и закачалась я. — Успокойся, Тирца, — сказал отец с беспокойством в голосе, — пока лежи в постели, а потом поговорим о помолвке, — и пошел к выходу. — Отец, — окликнула я его, — обещаю не говорить с Мазалом, пока я не попрошу тебя сговориться и тогда сговоришься. — Что делать, — воскликнул отец и вышел из дому.

Когда он вышел, взяла я перо, чернила и бумагу и написала: сердечный друг, не смогу прийти сегодня в лес, ибо озноб объял меня. Через несколько дней приду к тебе. А пока будь здоров и благословен. Я лежу в постели. Я рада, что весь день, без помех буду думать о тебе. И велела я Киле послать письмо. И взяла Киля письмо и спросила: кому? Учителю? И я ей в гневе ответила: прочти и узнаешь, а Киля читать и писать не умеет. И заговорила Киля: не гневайся, пташка моя, он же стар, а ты молодая да свежая, только что от груди отнятая, не ревматизм бы мой, я бы тебя на руках носила. Но ты подумай, что делаешь, и вообще зачем тебе мужчины? — Ладно, ладно, ладно, — воскликнула я со смехом, — поспеши послать письмо, потому что время не терпит. И сказала она: ведь ты еще чаю не пила, сейчас принесу тебе теплой воды и умоешь ручки и горячего попьешь. И принесла Киля воды. Озноб почти прошел, одеяла согрели тело, и мои усталые члены как завязли в простынях. Голова горела, и жар был приятен, и глаза пылали, горели в орбитах. И все же хорошо было на душе, и мысли ублажали меня. — Смотри, вода остынет, — воскликнула Киля, — а я нарочно принесла горяченького. И все это от раздумий твоих и

сердечных волнений. Засмеялась я, и приятная усталость приумножилась. Успела я воскликнуть: письмо не позабудь, как приятный сон сковал мои веки. День склонился к закату, и Минчи Готлиб пришла и сказала: слыхала я, что приболела ты, вот я зашла тебя проведать. Знала я, что отец послал ее, и скрыла я свои мысли и сказала: простыла я, но уже прошло. И вдруг взяла я ее за руку и глянула ей в глаза и сказала: почто молчите, г-жа Готлиб? И сказала Минчи: да мы же говорим без умолку. — Хоть говорим без умолку, но главного не сказали. — Главного? — воскликнула Минчи в изумлении. А потом сердито сказала: думаешь, пришла я сюда поздравить тебя с помолвкой? Положила я руку на сердце, а другую протянула к ней и воскликнула: почему ж не поздравите меня с помолвкой?! И Минчи нахмурила лоб и сказала: ты же знаешь, Тирца, что очень дорог мне Мазал, но ты юная барышня, а ему под сорок. Но хоть молода ты, но сердцем понимаешь, что через несколько лет он будет, как сухой дуб, а прелесть твоей юности лишь умножится. Услышала я ее речи и воскликнула: знаю, что вы собираетесь сказать, но я свой долг выполню. — Долг? — воскликнула г-жа Готлиб в растерянности. — Долг верной жены, любящей своего мужа, — ответила я и последние слова выделила. На миг смолкла г-жа Готлиб, а потом отверзла уста и спросила: когда вы встречаетесь? Взяла я часы и сказала: если не дошло до него мое письмо, значит ждет он меня сейчас в лесу. И сказала она: в лесу он не ждет, так как наверняка и он простудился. Кто знает, может, и он лежит в постели. И впрямь, как малые дети вы себя ведете, я просто ушам своим не поверила. Испугалась я и воскликнула: он болен? И сказала она: откуда мне знать, болен ли. Думаю, что болен, ведь вы, как дети малые себя ведете, в летнем платье ты вышла в лес в зимний день. — Нет, — воскликнула я, — весеннее платье в весенний день надела я. И сказала она: не хотела я тебя обидеть, говоря, что летнее платье надела в зимний день.

Удивилась я, что и Минчи, и отец говорили намеками. И все же не прошла моя радость. Я все еще витаю в мыслях своих, а г-жа Готлиб сказала: странная у меня роль, дружок, роль злой тетки. Но что поделаешь. Я думала, что дурь молодой девчонки тебя дурит. Однако. И Минчи не договорила фразы, и я не спросила, что «однако». Еще с полчаса сидела со мной Минчи и, уходя, поцеловала меня в лоб. И новый вкус был в этом поцелуе. Сжала я г-жу Готлиб в своих объятиях. — Ах ты, проказница, — воскликнула Минчи, — растрепала мне прическу. Отпусти, поправлю. Взяла Минчи зеркальце и как расхохочется. — Что вы хохочете? — спросила я с обидой. И дала мне Минчи зеркало. И вижу я, что все зеркало исцарапано, потому что выцарапала я на серебре имя Акавии Мазала бесчисленное число раз.

Неделя миновала, а Мазал не пришел меня проведать. То гневалась я на него за его трусость, что отца моего он боится, то боялась, что болен он. Не спрашивала я отца и не хотела говорить с ним об этом. И вспомнила я легенду о дочери графа, что влюбилась в простого человека, а отец запретил ей. И заболела дева до самой смерти, и увидели лекари, что тяжела ее немочь, и сказали: немочь ее погибель, и нет ей исцеления, ибо изнемогает от любви она. И тогда пришел отец ее к любовнику и умолял, чтобы тот взял его дочь в жены. Так я лежала в постели, и разные сцены увлекали мое воображение. И лишь повернется дверь на петлях, как спрашиваю: кто это? Сердце заходится, и голос мой — как голос мамы в дни ее болезни.

И однажды сказал мне отец: врач говорит, что вернулись к тебе силы. — Завтра выйду, — сказала я. Сказал он: завтра? И нахмурил лоб. — Повремени еще два-три дня, а потом уж выходи, кто знает, не повредит ли тебе, не дай Бог, свежий воздух. А через три дня нам есть куда идти, подожди тут до годовщины смерти матери, и тогда вместе пойдем на ее могилу. И г-на Мазала там встретишь. — И повернулся отец, чтобы уйти.

Ошеломлена я была и изумлена, услышав сие: откуда ведомо отцу, что Мазал будет там? Неужто встречались? А если встречались, то миром ли? И почему не приходит Акавия проведать меня? И что будет? Я расчувствовалась так, что зубы застучали, и испугалась я, что снова заболела. — Почему не ответил Акавия на мое письмо? — крикнула я. И вдруг замерло сердце, не думала я и не рассуждала, укрыла свое горящее тело и закрыла глаза. Подумала я: тот день еще далек, выплусь покамест, а милостивый Господь сделает так, как Ему угодно.

Что было со мной потом, не ведаю, ибо много дней лежала я на смертном одре. А потом открыла я глаза и вижу: Акавия, сидит он на стуле, и лик его озаряет светлицу. Засмеялась я в смущении, и он засмеялся добрым смехом. В этот миг отец вошел в спальню и воскликнул: Благословенно Имя Господне. И подошел ко мне и поцеловал меня в лоб. Простерла я руки и обняла и расцеловала его и сказала: отец, отец, милый отец, — но отец остановил меня и сказал: успокойся, зеница ока моего, успокойся, Тирца, подожди несколько дней, а потом уж говори, сколько заблагорассудится. После полудня пришел старый врач. Увидел меня, погладил по щеке и сказал: молодчина. И впрямь выкарабкалась, и теперь все лекарства в мире ей вреда не принесут. И Киля воскликнула с порога спальни: да будет благословенно Имя Господа. Миновала зима, и я³⁶ обрела избавление.

В канун субботы Утешения³⁷ в августе праздновали мою свадьбу. С десяток человек позвали на венчание. Только с десяток пришло, но весь город гудел, потому что таких простых свадеб не бывало в нашем городе.

А по исходе субботы уехали мы из города на дачу. Поселились в доме у вдовы, она нам готовила завтрак и ужин, а обедали мы у молочника в деревне. Трижды в неделю приходило письмо от отца, и я много писала. Где ни увижу открытку с видом — пошлю отцу. Акавия не писал, не считая приветов. Но в каждом привете был новый нюанс. Пришло письмо от Минчи Готлиб, мол, нашла нам новый дом. И на листе нарисовала она вид дома и расположение комнат. И спросила Минчи, снять ли дом для нас, чтобы он был готов к нашему приезду. Два дня прошло, а мы не отвечали ей. А на третий день с утра были гром и молния, и сильный ливень. И спросила нас хозяйка, не затопить ли печку. Рассмеялась я и сказала: ведь не зима же на дворе. И сказал Акавия женщине: коль забрало солнце свой жар, трижды сладостен свет печи.

И сказал Акавия: ответим сегодня г-же Готлиб на ее письмо. — А что ответим? — спросила я. — Что ответим? — воскликнул муж и сказал: давай, поучу тебя логике, и поймешь, что ответить. Вот письмо написала г-жа Готлиб, что нашла нам дом, и мы не удивились письму, потому что нужен нам дом, а дом, она говорит, красивый, а она женщина со вкусом, да и друг нам, а значит, можно положиться на ее мнение. — Если так, напишу я ей, что дом нам подходит. — погоди, — сказал Акавия, — я слышу стук. И вот пришла хозяйка разжечь печку и рассказала нам, что и она, и ее отцы и деды родились в этом селе, и что никогда она не оставит родное село, тут она родилась, тут выросла и тут умрет. Не может она умом дойти, как нормальный человек уедет из родного города и пустится бродить по свету. Есть у тебя дом — вот и живи в нем. И сказала она: нравится тебе сад соседа — посади себе такой же. Неужто воздух у соседа лучше, чем у твоей околицы? Муж улыбнулся ее словам и сказал: верны ее речи.

Дождь кончился, но земля еще не просохла. У нас в комнате пылал огонь в печурке, сидим мы в комнате, и тепло нам. И сказал мне муж: от удовольствия мы совсем про дом забыли. Выслушай мой совет, и скажи, по вкусу ли он тебе. Мой дом ты знаешь, а если он мал, пристроим еще комнату, и будет нам где жить. И сейчас напишем Минчи Готлиб письмо с благодарностью за ее заботы. И написали мы письмо с благодарностями Минчи, а отцу я сообщила насчет дома. Но не понравилась отцу наша задумка, потому что дом Акавии — крестьянская изба. И все же починил отец этот дом и пристроил нам еще одну комнату. Прошел месяц, и мы вернулись. Дом пленил меня. Хоть он такой же, как все избы, но дух в нем иной. Пришли мы домой, а там цветок в горшке и свежий пирог на столе благоухают: принесла их Минчи к нашему приезду. И комнаты красивые, добротные, видно, что

руки хорошей хозяйки прошлись здесь и все украсили. И горенку для прислуги пристроили, хоть нет пока прислуги в доме. Послал нам отец Килю, а я отослала ее обратно. Обедали мы у отца, пока не нашлась прислуга — в полдень придем, а к вечеру возвращаемся домой.

А после Кушей поехал отец в Немецкую землю, рассчитаться с сотоварищи, и к врачам зайти. Поселился он в Висбадене, как посоветовали ему врачи. А Киля перешла к нам помочь мне по хозяйству.

А потом нашлась девица в услужение, и Киля вернулась в дом отца. Только на два-три часа в день приходила служанка, а не на весь день. И подумала я: как мне в одиночку справиться с домашними заботами. Но потом поняла я, что лучше приходящая прислуга, чем прислуга на весь день, потому что она окончит работу и уйдет, и ничто не мешает мне говорить со своим мужем, когда заблагодарассудится.

Пришла зима. А у нас в дому дрова и картошка. Муж писал книгу об истории евреев нашего города, а я стряпала вкусные и полезные кушанья. А после еды мы гуляли или читали книжки. И радовалась я, что у меня — свой дом.

Но неровен час. Надоела мне стряпня. Намажу хлеб маслом и подам мужу на ужин. А если прислуга не сготовит обеда — остаемся без обеда. Даже легкую еду, и то трудно мне стало готовить. И раз в субботу не пришла прислуга, а я сидела в мужниной светлице, потому что только одну печь натопили мы в тот день. Сидела я недвижно, как камень. Знала я, что не будет работать муж, пока я сижу с ним, привык он работать, когда никого нет в светлице, и все же не встала я и не вышла, и с места не сдвинулась, потому что сил встать не было. У мужа в светлице разделась я и ему велела сложить одежду. Дрожала я от страха, что подойдет он ко мне, так я стыдилась. А г-жа Готлиб сказала: пройдут первые три месяца, и тебе полегчает. А я не ведала покоя, мужняя беда томила меня, ведь он прирожденный холостяк, и зачем я украла его спокойствие. И хотелось мне умереть, что я так подвела Акавию. И молилась я днем и ночью, чтобы послал мне Господь дочь, и она бы позаботилась о муже после моей смерти.

Вернулся отец из Висбадена. Дело он свое оставил, только два-три часа в день проводил с человеком, что купил его торговый дом, чтобы не томиться от безделья. А по вечерам приходил он к нам, только в дождливые вечера не приходил, потому что запретили ему врачи выходить в дождь. И с собой он приносил апельсины или бутылку вина, или книжку из шкапа в дар мужу. И рассказывал нам последние известия, потому что читал отец много газет. Иногда спрашивал он мужа, как продвигается его труд. Смушался отец говорить с ним. Иногда расскажет отец о больших городах, где он бывал в своих

поездках, а Акавия слушает, как деревенщина. Тот ли это студент, что пришел из Вены и рассказывал маме и ее отцу о всех чудесах стольного града? Как я радовалась, что беседуют они. И на память приходили беседы Иова с друзьями. Этот говорит, а тот отвечает ему. И так каждый вечер. А я стояла на страже, чтобы не дай Бог не разразилась словесная война между отцом и мужем. И ребенок в чреве моем растет со дня на день. И о нем все мои помыслы. Распашонки сшила младенцу и колыбельку купила я. И повитуха приходит время от времени проведать меня. Я уже почти мать.

Стужа ночи кружит прелесть света. А мы сидим в дому, и в дому свет и жар. Акавия отложил записи, подошел и обнял меня. И замурлыкал колыбельную. И внезапно облако пробежало по его лицу и стих он. Не спросила я, почему облако. Обрадовалась я, что пришел отец, и принес тувельки и красный чепец в дар младенцу. — Спасибо, деда, — пропищала я детским голосом. Сели мы к столу и поужинали. И отец соизволил отведать моих кушаний. И говорили мы о младенце. Гляну я в лицо мужа, гляну в лицо отца, увижу этих двух мужчин, и хочется мне рыдать, рыдать в маминых объятиях. Дело ли в облике мужа или в духе женщины? А отец и муж привечают меня, в любви и сочувствии подобны друг другу. У лиха семьдесят лиц, у любви один лик.

Вспомнила я о ребенке Готлибова брата: пришел Готлиб в дом к брату, а жена его сидит с сыном, и взял Готлиб ребенка на руки и стал забавляться с ним, и тут вошел его брат в комнату. Посмотрел ребенок на него и на его брата, отвернулся, обхватил маму ручонками и зарыдал. Завершилась летопись Тирцы.

В опочивальне по ночам, пока работал мой муж над своим трудом, а я боялась помешать ему, сидела я одиноко и писала эту летопись. И иногда говорила я себе: о чем я пишу летопись, что нового я увидела и что следует мне поведать другим? И сказала я: что нашла я успокоение в писании своем, и написала я все, что написано в этой книге.

ОБ АВТОРЕ И ПЕРЕВОДЧИКЕ

Автор: Агнон Шмуэль Иосеф (1888-1970), замечательный писатель, уроженец Галиции (Западной Украины), писавший на иврите, идиш и по-немецки, но прославившийся и получивший Нобелевскую премию (1966) за произведения на иврите.

Переводчик: Исраэль Шамир, уроженец Новосибирска, переводил, кроме Агнона, следующих авторов: Джеймс Джойс («Улисс»), Самюэл Беккет («Проза за так», «Конец игры»), Борхес, Толкиен, Чандлер, Гомер, Т.С.Лоуренс, валлийский Мабиногион, пьесы Но цикла «Иошицуне» и т.д.

Комментированные переводы Исраэля Шамира из Агнона издавались в Иерусалиме в журналах «Сион» и «22» с 1974 года, отдельной книгой в издательстве Wahlstrom publications (Stockholm-Jerusalem) в 1981 году, в журнале «Иностранная литература» N11 в Москве в 1990 году, в издательстве «Радуга» в Москве в 1991 году, много раз передавались по израильскому радио и перепечатывались в журналах и антологиях. Они были благосклонно встречены: «Эта восхитительная книга – сборник блистательных переводов на русский, отличающийся тонким и глубоким пониманием особенностей агнонова текста и языка. Благодаря введению и комментариям переводчика, Исраэля Шамира, русскому читателю открывается окно в мир, недоступный для человека, не знакомого с еврейской традицией. Это – лучшие известные мне переводы Агнона на любой иностранный язык, а комментарии и вступление – наслаждение для читателя» (ведущий израильский критик Иорам Броновски в газете «Гаарец»). «Хорошо, нашелся подвижник, Исраэль Шамир, не просто перевел избранные тексты великого старика, но написал обширнейший и увлекательный комментарий, своего рода агнониаду» (Лев Аннинский в «Иностранной литературе»). «Странная и прекрасная книга... комментарий оказался для меня не менее привлекательным и увлекательным чтением, чем собственно проза Агнона» (Андрей Василевский в «Новом мире» №6, 1992).

Рассказ «Во цвете лет» никогда ранее по-русски не публиковался и ни на один язык не переводился.

Примечания

¹ *Недолги и горьки*: говорит о себе Иаков (Бытие, 47)

² *Ребьячество*: рассказчица, девочка Тирца, сиротест в 13 лет.

³ *Левой рукой*: первая из несчетных аллюзий к «Песни Песней».

⁴ *прошла*, миновала: то же.

⁵ *блюла*: из Притчей Соломоновых (31:27).

⁶ *женскими благовониями*: из Эсфири (2:12). Тема благовоний часто появляется в рассказе, как и в «Песни Песней».

⁷ *пылает... сидела*: у Агнона вообще и в этом рассказе в частности грамматические времена неортодоксальны.

⁸ *сретенья субботы*: у евреев день начинается с заката, и не в полночь, по сказанному «И был вечер, и было утро» (Бытие). Субботу встречают в пятницу вечером, и беседа Лии и Минчи происходит в четверг вечером.

⁹ *В канун субботы*: праведники умирают в это время. Еще больше праведники умирают на Рош ха-Шана или в Йом Кипур. Но мать Тирцы умирает примерно на христианскую Пасху.

¹⁰ *Подножие мамы*: семь траурных дней по смерти жены (шива) скорбящий сидит на полу, поэтому подножие ему – как столик. В эти дни не едят горячего и только читают связанные с трауром и горем страницы Писания и Талмуда.

¹¹ *намек на год ее кончины*: евреи записывают год буквами, тремя или четырьмя, получается слово или корень слова, и такое слово или его производное и было в каждой строке акrostиха, предложенного Готтлибом.

¹² *заупокойную*: молитву Кадиш читают ближайшие родственники в течение года после смерти, а затем только по поминальным дням.

¹³ *ранняя весна*: действие рассказа происходит в Галиции, на Западной Украине, не в Святой Земле, поэтому на Пасху еще холодно.

¹⁴ *как ты подросла*: Тирце уже 14 лет.

¹⁵ *срединные дни*: полупраздничные дни еврейской Пасхи между первым и последним – полными праздниками.

¹⁶ *«превыше скота»*: из Экклезиаста.

¹⁷ *что ведают оне*: вот откуда иврит нашей рассказчицы, «девичий иврит» прошлого века со всей его старомодной прелестью и полным отсутствием арамизмов и талмудических оборотов.

¹⁸ *недельному уроку*: Пятикнижие традиционно разбито на недельные порции, по которым оно и читается в синагогах.

¹⁹ *напои меня водицей*: так обращается Элезал к Ревекке (Бытие, 24:43)

²⁰ *Изумился муж*: Мазал, еврей-студент из Вены, хаяется своим собратьям из традиционного местечка ассимилированным сыном «каскалы», Просвещения, как называлось течение, призывавшее евреев принять светское образование и язык местного народа и отказаться от традиционных путей. Но Мазал потому и оказался в местечке, что его тянуло к еврейской традиционности и религии.

²¹ *восток*: подобно тому, как мусульмане молятся, обращаясь лицом к Мекке, евреи молятся, обращаясь лицом к Иерусалиму, а практически – к востоку. На восточной стене было принято вешать украшение: напоминание о направлении молитвы, аналог мусульманского михраба. Это украшение, коврики или вышивка, так и называется: «восток».

²² *Блажен тот*: из Новогоней молитвы.

²³ *Мудро судил*: в комментарии р. Вайсера (1809-1879) на книгу Иова так объясняется стих 1:20, где говорится, что Иов состриг волосы. Это объяснение понадобилось потому, что существует запрет скорбящим состригать волосы, а значит, надо было снять с праведника Иова подозрение в нарушении запрета. По другим же причинам, в частности, от сожаления по пропавшему добру, стричь волосы можно.

²⁴ *подобие куцей*: в холодных странах евреи строили в доме комнату, которую можно было превратить в кущи, заповеданные в этот праздник: т.е. это была каморка под крышей, и крышу там можно было частично снять и увидеть звезды и небо в час праздника.

²⁵ *живой воды*: подобно ответу Иисуса самаритянке, удивившейся, зачем он, еврей, пьет воду из ее кувшина. (Иоанна, 4).

²⁶ *Возлюбил*: почему сказано: и «Господа» и «Бога», хотя и одного имени было бы достаточно? Объяснили мудрецы: это указывает на двоякую любовь, и духовную, и мирскую, и благим желанием и худым, т.е. плотским.

²⁷ *кольцо... надела на палец*: обручились. Нарушение обещания, отказ от обручения – источник всех бед в повести, и гармония достигается только в конце. У Агнона тема разрыва обещания встречается часто, и всегда дурно оборачивается.

²⁸ *избрал нас для любви*: по словам Второзакония, 26. Только сейчас проходит любовь Акавии к Минчи, подобная любви Ромео к Розалине, и начинается его настоящая любовь.

²⁹ *Меня оставила*: цитата из Талмуда – ведь это слова мужчины, Мазала, поэтому, в отличие от текста от имени Тирши, здесь часты аллюзии к Талмуду.

³⁰ *Оглянулся он туда-сюда*: как Моисей в час убийства (Исход 2:12)

³¹ *без молитвенного плата*: так молятся холостяки.

³² *учительки*: не считалось достойным занятием для дочери богатых родителей.

³³ *без омовения рук*: можно есть вещи, не похожие на хлеб (не сделанные из муки).

³⁴ *прошла пора дождей*: по-моему, и еще год прошел, и Тирше 16.

³⁵ *продадут ему квасное*: речь идет об еврейском обычае «продавать» запасы хлеба и т.д. перед Пасхой – нееврею и «покупать обратно» после Пасхи, чтобы избежать запрета на квасное, пролежавшее Пасху у еврея. Этим Акавия Мазал – и Агнон – говорят читателю, что евреи по-прежнему считали род Буденбахов евреями, несмотря на крещение. (Иначе им не нужно было бы продавать квасное).

³⁶ *Миновала зима, и я*: парафраза-перевертыш слов Иеремии (8:20): «Миновало лето, а мы не обрели избавления».

³⁷ *Суббота Утешения*: суббота после 9-го Ава, когда в синагогах читают слова Исаяи, 40: «Утешьте народ мой». Так завершается грустный полутраурный летний период еврейского календаря, соответствующий дням осады Иерусалима при Навуходоносоре (586 до н.э.) и при Тите (в 71 г. н.э. через полтысячелетия, но в те же дни) и завершающийся датой разрушения Храма – 9 числа месяца Ава. Храм подобен кольцу, которым Господь Бог обручился с Израилем, говорят экзегеты, и Утешение – намек на мессианское утешение, когда возвратится кольцо-Храм. Наш рассказ можно понимать (и для этого есть основания) и как притчу о мессианском утешении и избавлении, где однажды нарушенный обет обручения восстанавливается в новом поколении. Тема нарушенного обета обручения часто встречается у Агнона, и она обычно связана с образом Храма и Страны Израиля – кольца между Господом и Израилем. Неслучайна и суббота – каббалисты совокупились со своими женами в субботнюю ночь, ночь соития небесных сфер. Намеки рассеяны повсюду – тема матери Мазала, возвращающейся к Богу Израиля после поколений иноверия, стремление юного Ландау к Земле Израиля напоминают нам о другом плане рассказа. Ибо, видимо, не суждено (а может, и не нужно) человеку приблизиться к мессианскому утешению на земле паче того, как приблизился герой Агнона Акавия Мазал.

КРИТИКА, ЭССЕИСТИКА

Вячеслав КУРИЦЫН

НЕДЕРЖАНИЕ ИМИДЖА

Когда три десятилетия назад стал просачиваться в художественные легкие России дымок стихийного постмодернизма (большую часть в концептуалистском изводе, что, впрочем, здесь нам не важно) никаких особых артикуляций по этому поводу, естественно, не было, и никаких проблем с тем, что в нашей географии «не отработан» проект «нового времени», тоже не было: ну, не отработан, это дело десятое (и впрямь, десятое), дух — он летает, где хочет (правда, где хочет), что в отношении духа постмодернистского верно десятикратно: ему, в динамике своей вовсе не исключающему возможности развоплощения ныне сущего, не очень важны имена и тексты, не очень важен художник, ему, в принципе, безразличен автор, он — адекватен и он адекватен в той системе, где глагол «адекватен» не требует непременно «чему?». И я ему, духу этому, в безразличии его вполне сочувствую; и смешно немножко, и грустно, и завидно читать сочинения «аналитических» критиков постмодерна в современной русскоязычной литературе, которые требуют неких «текстов» («Текста мне, текста! Покажите мне качественный постмодернистский текст!»), улюлюкая, воображая это требование убийственным доказательством провала постмодернистской идеи и почитая за текст, допустим, книгу, некоторое количество внятно сочлененных букв, напечатанное на машинке, набранное на компьютере, размноженное, всажнное в переплет...; почитая за текст то, в чем соблюдены ведомые им — по крайней немудренности — литературные приличия: язык, слог, сюжет, персонаж, композиция, а при отсутствии всего этого — без достаточных для отсутствия художественных оснований... в общем, понятно... И не ведают, добросовестно склоняясь над офсетным кладбищем снов (слов), что сами включены в этот текст, что написаны им и в нем, что не только в нем и им написаны (это они могут себе объяснить: Лао Цзы читали, Борхеса читали), но и давно рассовмещены со своими тщательно оберегаемыми (как последний уголек в ладошках) имиджами газетчиков от словесности, что и их линии жизни давно забыли о категории параллельности, что их игры —

де, по-прежнему есть мир, по-прежнему есть текст, которые как-то там себе диалогизируют — интересны только редакциям критики толстых журналов да двум миллионам школьных учителей. Истинная, видимо, благодать: искренне не понимать, почему скучно писать сегодня хорошее стихотворение (даже Бродский теперь их не пишет, а лишь позволяет длиться своей давно забывшей о как-бы-носителе речи), на самом деле не знать, что это такое: чувствовать себя не совсем существующим. Истинная благодать — от всей души переживать, что Александр, например, Еременко бросил поэтическое ремесло, свято не ведать, как можно предпочитать тексту отсутствие текста. Их вера в то что литература возможна, что человек еще будет писать великие книги, что «история не кончилась» — добрая вера, милая, именно что человеческая. Пусть их тешит мысль, что постмодернистский проект «изжит», счастливо им никогда не узнать, можно ли «изжить» стремление бытия к преодолению бытия... А какая благодать доступна в деревне атеисту — мы тоже помним.

К первым местным звездам постмодерна — Холину, Сапгиру, Некрасову (я, впрочем, больше согласен с теми, кто отдает эти имена авангарду, но критик Слава Кулаков настолько трепетно настаивает на их «постмодерновости», что можно и с ним согласиться: не жалко ведь, ничего никогда не жалко), Пригову, Рубинштейну можно, разумеется, относиться бесконечно как угодно, но в одном сходятся многие, как теперь говорится, наблюдатели: эти поэты органичны, адекватны, они взаправду. Трудно подсчитывать проценты: что просочилось с Запада (главным образом, сапой визуальной и музыкальной), что уловил талант в «атмосфере», что так, ветром надуло, важно, что стихи их происходили «от живота», на естестве, за счет тайной заклеяменностью временем конца времен. Поначалу как бы и не стоило устраивать дележки-разборки: и денег тогда особых не было, и сама чистая эстетическая деятельность была ворованным воздухом, являлась автоматически — хотела она того или нет — деятельностью общественно-политической, какие уж тут разборки. Окрепнув, одевшись в более-менее виноградное мясо текстов, постмодернизм стремительно стал моден — вряд ли среди широкой публики, но среди той ее любопытной части, что сама очень бы хотела быть частью публики творящей: завсегдаги «турниров поэтов» и вернисажей, знакомые знакомых, девочки с огромными бантами и юноши в штанах — они вдруг сообразили, что достаточно одного шага, чтобы превратиться из людей «около искусства» в «людей искусства»; такая тактика, заметим, очень даже провоцировалась открытостью всякого постмодернистского текста — на уровне тусовки это выражалось хотя бы в том, что зрители каких-то хэппенингов являлись

не только зрителями, но и, понятно, участниками (о том, что помимо этого они являются и фактурой мероприятия, многие не подозревали). И тусовка — хлынула. Заунывные хайрастые персонажи, оседавшие в мудрые совдеповские времена на фильтрах любительских литобъединений, рекрутировались в постмодернисты: постмодерн манит маргинала похлеще, нежели Аргентина негра. Удобно, чертовски удобно: выстраданный и больно переживаемый культурой концепт эстетической равноправности любого типа текста тусовке выгоден — статус творца обретается за счет наречения себя таковым, поедание супа на сцене (или не на сцене) является, разумеется, хэппенингом, пусть и не самым крутым...; а и впрямь — является, хотя, боюсь, и «постмодернисту» нашему невдомек, каково это на самом деле: не понимать, ешь ты суп или «ешь», живешь или смотришь про себя кино, не играть в неразличение бытовой и эстетической деятельности, объекта и произведения, а тщетно пытаться самоидентифицироваться наедине с разбитой ночной амальгамой. Играть понравилось; немудрено, весело, иногда даже денежно. Играть по-настоящему — на собственную адекватность, на бессмертную душу — охотников мало. Игрок — всегда редкость. Бал правят игруны, количество которых теперь и впрямь достигло степеней неприличных. И мне, в общем, более чем понятны стенания критиков, которых трясет от бесконечных «центонных» поэтов и певцов некрофилии, и я завидую С.Рассадину, который, цитируя встык тексты Пригова и самотечного «чайника», не обнаруживает особой разницы: блажен публицист, запомнивший с института, что эстетика хоть в каком-то смысле может быть реальной...

Талдычить о том, что многие «постмодернисты» пишут дрянь — дело нехитрое и удивительно скучное. Но сегодня уровень дряни настолько велик, что даже язвительный наблюдатель задается сочувственным вопросом: а как же всем этим людям жить дальше? Понюхавшему серы постмодерна очень сложно вернуться или повернуться к «нормальной» литературе. Он уже понял, что драма — другая. И возникает болезненная проблема дальнейшего самоопределения. Дальше тянут волынку тусовки — еще весело, но уже стыдно. Постмодернизм учит, что мир виртуален, что выбирать можно бесконечно разно, все сразу или частями, можно и не выбирать... А тут выясняется, что выбирать надо.

* * *

В начале 1993 года в «Московских новостях» (№5) появился небольшой, но очень показательный текст. Когда, на заре перестройки, постмодернистский художественный истеблишмент получил возможность широкого общения с отечественной аудиторией (спешномера

одних журналов, спецразделы в других), на читателя изо всех стволов обрушилась вполне эстетская, но от этого не менее посконная пропаганда определенного круга авторов (которые и без того уже имели тогда реальный коммерческий успех на Западе). Бог знает, какие войны шли между искусствоведческими «мафиями», какие замысловатости сопровождали появление в кругу избранных новых имен, но на публике все было очень пристойно: разговор шел о сколь угодно тонких материях, но не о «табели о рангах». Нам представляли сонм звезд; одинаково блестящих, самобытных и недоступных. Текст Андрея Ерофеева «Бенефис Гриши-концептуалиста» как раз о том, что у звезд бывает величина и что бывает она разной. Посвящен материал выставке Григория Брускина в Пушкинском музее; убегая лукавой ереси пересказа, я приведу цитату, крайне пригодную для продолжения нашего разговора. Сообщив, что Брускин постоянно ступает в следы Кабакова, Пригова, Комара-Меламида и Пивоварова, Ерофеев далее пишет: «Вторичность не всегда позорное клеймо или рок неудачника. Это состояние может быть даже желанным, если амбиции художника направлены не на поиски нового видения реальности, а на адаптацию, интерпретацию и стилизацию уже имеющегося культурного багажа... Брускин препарирует концептуализм в искусство, превращает сухое социологическое или антропологическое исследование в эстетический феномен — в изящный графический лист, представленный на данной выставке, или в сочную живопись, принесшую ему славу на «Сотби». В сущности, здесь и заключен секрет его огромного коммерческого успеха: ведь галерейный покупатель желает для своего салона произведение, ясное дело, авангардное, но в то же время приятное, услаждающее и добротное сделанное. Можно понять и простить этот каприз, даже если он присущ сотрудникам ведущего музея страны. Однако из текста сопроводительного буклета следует, что они склонны видеть в Грише Брускине не виртуозного стилиста, а глубокомысленного концептуалиста. А это уже опасный и для художника, и для музея самообман».

Здесь нам любопытны как бы две вещи. Во-первых — намек на то, что в постмодернистском контексте художнику странно, противоестественно и как бы даже некрасиво чувствовать себя Художником, Творцом. Тот, кто действительно талантлив (талантлив именно как художник, артист) вынужден считаться с заведомой обреченностью и некоей онтологической излишностью своего дара: напряжение движения к развоплощению, постмодернистское стремление мира к архаическим формам себя-переживания «хорошим текстом» может быть только инициировано, независимо от намерений автора, независимо даже от того, что по праву рождения «хороший текст» как бы призван крепить

уверенность мира в возможности своей антропоцентричности. Звезды современного изо завалены деньгами и славой (что, безусловно, прекрасно), но думая, что деньги, слава, признание и лучшие галереи мира имеют сегодня отношение к художественным вершинам, значит играть мимо судьбы...

И второе — прозвучавшее сочетание «виртуозный стилист». Мало что понимая в изобразительном искусстве, я не могу оценить, насколько Ерофеев искренен в этом лестном определении; дело, однако, в другом — именно слово «стилист» указывает на один из самых приятных и достойных выходов из болезненного тупика постмодернистских саморазборок. Постмодерн, конечно, учит разных людей разному, в зависимости от того, насколько они умны или честны по отношению к судьбе, но одному он учит безусловно: стилю. Ибо — может быть, не как практика, но как идея — пресловутый «эkleктизм», смешение всех и всяческих языков предполагает хорошее знание ингредиентов, их свойств, возможностей и технологий их сочетания: трудно наливать водку по ножу в томатный сок, если дрожит рука. Поэтому постмодернистская культура охотно порождает авторов, обладающих великолепным чувством стиля. У меня сложные отношения с «Палисандрией» С.Соколова, мне физически сложно ее читать, но мне понятно, что Соколов выжал из своей идеи — из выбранного типа дискурса — все, до последнего технологического приема, до последней буквы, выжал все стилистические ресурсы, выжал все, вплоть до самой идеи, явив миру удивительное сочинение, наличие которого не совпадает с отсутствием которого только чувством стиля... Или — другой пример: модный фильм Ивана Дыховичного «Прорва», в котором удивительно сочно отработана стилистическая модель сталинской Москвы.

Как раз на овладении техникой стиля, духом дизайна основан альянс постмодернизма с массовой культурой: с миром видеоклипов, постеров, «диснейлендов», рекламных роликов, поп-музыки, атрибутики, упаковки, буклетов, вернисажей, презентаций и т.д. Обращение человека, овладевшего некой суммой постмодернистских технологий (сейчас входит в активный возраст поколение, элитно-столичная часть которого имела шанс уже почти спокойно воспитываться на западных масс-медиа) к информационной культуре — вариант естественный, выгодный как этой культуре, так и — в сугубо материальном смысле — «новому поколению». Не претендуя на звания Художников, новые люди делают качественную продукцию, которая заметно повышает эстетический уровень окружающей информационной реальности (теперь он и в России начинает — в согласии с Бодрийяром — накрывать собою и подчинять себе «действительный мир»). Постмодернизм быстро дока-

зал свою способность быть «прикладным»: тем самым он дистанцируется от спровоцированных его собственной практикой «проклятых» вопросов (некоторые из них упоминались в первых абзацах статьи), но зато и не спекулирует на каких-то жертвенных ореолах и поднебесных функциях творца.

К смежным явлениям относится и так называемый «новый журнализм» (обнаружив недавно в сталинском энциклопедическом словаре грандиозное количество присказок «так называемый» — «т.н. парламент», «т.н. демократия» — я поразился удивительной корректности этой формулировки; действительно ведь парламент и демократия «так называемые»: они действительно так называются; если бы я был порядочным человеком, то должен был бы предпосылать «т.н.» всякому зацепляемому письмом существительному): тип деятельности средств массовой информации, при котором равноправно описывается реальность «существующая» и «несуществующая», просто придуманная, где популярны всякого рода эстетические и интеллектуальные провокации, где моден «косвенный» стиль речи, которая прекрасно осведомлена и о своем бессилии хотя бы более-менее адекватно воспроизвести «окружающую действительность», и о своей снисходительной автономности от этой действительности. Особо много примеров «нового журнализма» на телевидении (некоторые программы «Новой студии» и «ВИДа»), можно найти следы и в печати — он, в соответствии с моей любовью к тавтологическим конструкциям, наложил свой отпечаток на работу «Столицы», «Сеанса», рижского «Родника», «Московского комсомольца», «ДВР», его уши видны в творчестве Ольги Хрустальной, Бориса Кузьминского, Александра Тимофеевского, Алексея Тарханова и многих других авторов, причем очевидно, что число опаленных крылом «нового журнализма» увеличивается с каждым днем.

* * *

Простейший вариант эстетического поведения в нынешней противоречивой ситуации исповедует уже упоминавшаяся тусовка: она просто не замечает никаких противоречий. Наиболее яркую критику постмодернизма справедливо вызывает круг текстов, связанных с «соц-артом» и со «стебом». Соц-арт — рефлексии на благодатной почве социалистического реализма — явление, конечно, вполне органичное. Он выполнял конкретную социально-художественную функцию: быть средством освобождения из-под власти тоталитарного дискурса. Он, кроме того, соответствовал воздуху постмодернистской эпохи. Общекультурная проблематика, связанная с работой с чужими языками, наложилась на социальную проблематику: соц-арт был обязан стать модным. Но если

тексты Пригова или Сорокина (самые, наверное, репрезентативные в качестве классики литературного соц-арта, всегда были значительно шире этого явления и провоцировались не только позднесоветским язвительно-фрондерским менталитетом, но и именно постмодернистской заразой, то подавляющее большинство их последователей ориентировано в соц-арте либо на голую политику (что совсем уж грустно), либо на веселый бесшабашный характер соц-артовского письма: нравится ерничать, нравится атмосфера безответственности, нравится именно что валять дурака, нравится собственно стеб.

В тебе как таковом ничего плохого нет. Более того, стебовая интонация, пусть не в чистом виде, а в превращенном и приращенном, едва ли не непременно во всяком современном высказывании: говорящий, сколь бы серьезен и искренен он не был, понимает, что речь — паясничанье, что дискурс — игра, возможная лишь постольку, поскольку мы прикидываемся, что слово может соответствовать вещи... Но стеб вещь коварная, научится такой интонации до предела просто, а ситуация такова, что, научась, легко обрести успех в «тусовке», которая особой грамотностью и интеллектом не отличается. Давно отработанный имидж язвительного ирониста продолжает быть популярным. Вновь прибывающие набрасываются на давно обрыдшее: на отметки соц-реализма, на «лебядкинскую» поэтику... Ухитряются еще возникать свежие самиздатовские журналы, ориентированные на культуру стеба. Не говоря уж о публикациях в изданиях достаточно известных.

Когда тебе е..т мозги
не надо башку как жопу подставлять
а надо мыслить адмиралом
на счастье в бусы составлять
не бу ли бу ли
а бу ли бу ли, —

советует заинтересованной общественности один из авторов «Гуманитарного фонда» (№49, 1992), газеты, для которой «жопная» проблематика является одной из самых принципиальных. Что делать, и этому мы тоже обязаны «ситуации постмодернизма»...

Любопытно, что последовательный соц-арт успешно иссушает и творчество вполне приличных авторов. Я никогда не был в особом восторге от сочинений Тимура Кибирова (думаю, его шумный успех у критики объясняется тем же, чем успех Г.Брускина по А.Ерофееву: и современно, актуальная поэтика налицо, и вместе с тем достаточно лояльно по отношению к среднему вкусу либеральных литературных кругов), но не могу не признавать за его текстами определенного качества и достойной стиховой культуры. Но в последнее время он пишет, допустим, такое:

И скучно, и грустно. Свинцовая мерзость.
 Бессмертная пошлость. Мещанство кругом.
 С усами в капусте. Как черви слепые.
 Давай отречемся! Давай разобьем
 оковы! И свергнем могучей рукою!
 Гори же, возмездья священный огонь!

На волю! на волю из душевной неволи!
 На волю! На волю! Эван эво!
 Плесну я бензином! Гори-гори ясно!
 С дороги, филистер, буржуй и сатрап!
 Довольны своей конституцией куцей?
 Печные горшки вам дороже, скоты?
 Так вот же вам, вот!..

В общем, и так далее. Простейшее издевательское воспроизведение агрессивнo-романтической мироурушительной поэтики, исполненное, к тому же, крайне неизобретательно. Увы... Имидж, обеспечивший имя, начинает убивать качество.

* * *

Пока тусовка пьет портвейн, считая это культурной деятельностью, кто-то ищет теоретических путей выхода из бесконечного тупика, пытаясь оставить постмодернизм «за спиной». Вот любопытный текст, написанный В.Савчуком, — «От постмодернизма к «Новой архаике», посвященный, как нетрудно понять из названия, переходу к высшему или следующему по отношению к постмодернизму контексту. Жанр определен более чем откровенно — «манифест». Не претендуя, как правило, на глубину и аналитичность, всякий манифест, однако, как бы предполагает четкое определение позиций, относительно которых происходит поворот-переход; ясно, что эта работа интересна нам в качестве свидетельства о новых или относительно новых настроениях в российской гуманитарной среде (напечатана она в сб. «Символы в культуре», издание Санкт-Петербургского университета, №9, 1992).

Итак, постараемся вычленить несколько ключевых цитат, в которых было бы внятно обозначено, что изжито и что предстоит.

1. Постмодернизм есть «манифестация отчаяния, информируемого в пространстве города и машинной цивилизации тела, отлученного от ритмов природы и пульсаций Космоса» (все выделения в этих цитатах мои — В.К.).

2. «Новая архаика» — это обретение счастья перед лицом бесконечных изменений, неумолимая необходимость которых исключает всякую уловку ухода в самоукавство и бегства в несерьезность».

3. «...архаика и будущее есть близнецы-братья, разлученные сегодняшним мифом восходящего развития и рациональной устроенности универсума...»

4. «Архаика — это основа... любого шага в будущее, угадывающего в сложной топографии повседневности точку, где сочленяются незримые паутинки всевозможных воздействий и зависимостей».

5. «Незаинтересованное бдение сушего означает не что иное, как конец искушения человека рациональной, духовной и телесной самоидентификацией».

6. «(Человек) вынужден расчищать каналы, питавшие человека в древних сообществах живительными знаниями и умениями о способе быть, но которые ныне засыпаны наступающей пустыней разума.»

И — 7. — цитата из опубликованной в том же сборнике работы соратника В.Савчука по «новоархаическому» движению А.Демичева — «к чистоте и радости освобождения от темной силы дифференциации..., к целокупности духа и тела, к «новой архаике!»».

Все эти тезисы, конечно, излишне манифестациозны, «голословны»: таковы законы жанра. Я считаю, что все провозглашенное здесь имеет непосредственное отношение к нынешним внутрикультурным заморочкам; возражение вызывает лишь желание непременно маркировать свои интенции как некий новый этап. По моему мнению, обозначенные здесь мотивы вполне корректно укладываются в постмодернистскую парадигму, если, конечно, не останавливаться на откровениях Ч.Дженкса о «двойном коде» (архитектурное произведение должно обращаться и к элите, способной оценить все, способное оцениваться, и к массовому пользователю), на «иронизме» и «плюрализме», а учитывать динамику, последовательное развитие «постсовременных» идей и устремлений. Впрочем, по порядку.

1. Говорить об «отлученности от ритмов природы» и загадочных «пульсаций Космоса» можно лишь существуя в пространстве мышления, по-прежнему склонного к бинарности, мышления, законы которого позволяют противопоставлять «природу» — «культуре» (или «цивилизации», или «рацио»; не так важно, каков именно «второй член», важна возможность двоичного членения). И — коли уж о двоичности речь — пусть возникнут два принципиальных сомнения. Во-первых, постмодернистский «пульсирующий Космос» не приемлет саму механику противопоставлений. Отсутствие закрепленных и корректных одновременно хотя бы для нескольких контекстов координатных осей уничтожает возможность бинарных пар типа «природа — цивилизация», речь должна идти, как минимум, о «диалогизме» (Бахтин, Бубер) а как максимум — о том, что бесконечное количество виртуальных «осей»

находятся в отношениях касания, сплетения, присутствия в несоприкасающихся сферах, совпадения и т.д. Во-вторых – в постмодернистской парадигме «природа» не может быть противопоставлена «культуре» как нечто от «природы» свободное (и наоборот); постмодерн, в частности, осознает глобальную зависимость мира от языка, на котором говорят о мире; так квантовая механика осознала зависимость физической картины мира от присутствия наблюдателя; так объект и субъект не могут теперь рассматриваться отдельно (подробно об этом в моей работе «Антифонтан»; «В.Курицын, «Книга о постмодернизме», Екатеринбург, 1992). Мир написан до описания – этот тезис столь же справедлив, как и противоположный. Постмодернизм, таким образом, – вернемся к нашей цитате – не «манифестация отчаяния», спровоцированная «отлученностью», а понимание невозможности такого разрыва; а вот тут уже – по-поводу личных предпочтений по этому поводу – отчаяние и начинается. Может кстати, а может и нет, что именно словом «Отчаяние» назван роман о несостоявшемся двойнике...

2. Претензии к постмодерну по поводу «самолукавства» (слово не совсем понятное, но ладно) и «бегства в несерьезность» – дело вполне законное, если обращать внимание главным образом на разливанное море попсового, тусовочного постмодернизма. Но суть в том, что тривиальный факт тривиальной постмодернистской «цитатности» или «центонности» тащит за собой ворох более чем серьезных проблем, связанных с вопросами адекватности: адекватности автора, аутентичности речи и т.п. Мало кто серьезно к этому относится, но тут уж виновата идея.

3. Сегодняшний «миф восходящего развития и рациональной устроенности универсума» – очевидная фикция, нормальная для постмодернистского текста, но странная для манифеста, который «от постмодернизма...» Миф этот благополучно умер на рубеже веков вместе с Богом, Шерлоком Холмсом и прочим викторианством; постмодерн как раз на всю катушку не совпадает с идеей восходящего развития (вбирая в себя все прошлые и будущие языки, скептически относясь к шансу продолжения эволюции вообще) и, понятно, идее «рациональной устроенности» (хороши рационалисты Джон Барт и Яков Персикив!); в этом направлении постмодерн поработал весьма энергично, где-где, а здесь «новая архаика» может особенно не переживать.

4. Известно, однако, что «Библиотека всеобъемлюща и что на ее полках можно обнаружить все возможные комбинации двадцати с чем-то орфографических знаков (число их, хотя и огромно, не бесконечно) или все, что поддается выражению – на всех языках. Всю подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог

библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога...» (известный автор, перевод В.Кулагиной-Ярцевой.)

5. Вряд ли постмодернизм «искушает» «самоидентификацией»: он, будучи культурой дискуссий между зеркалом и амальгамой, действительно впихнул человека в мир, где самоидентификация проблематична, если не невозможна; он, разумеется, это активно переживает — не игрушки ведь: физически ощущать, как уходит из под ног, рук и мозга все, что позволяло бы зафиксироваться в более-менее не-плывущем виде. Хладнокровно говорить о том, что потребность в самоидентификации — искушение, значит, по-моему, просто не представлять, что это такое: потерять самоадекватность. Это, мне кажется, инверсия точки зрения тех сторонних критиков, что удивляются, как это можно — «сознательно стремиться к вторичности»; те не понимают, как может волновать такая проблема, эти делают вид, что проблема как бы решена... Ну, хорошо, если так. Тем не менее, постмодерн действительно ведет мир к состоянию, когда самоидентификация становится невозможной в силу невозможности выделения этого самого «само», которое столь бесконечно во все интегрировано, что само «себя» от «себя-штрих» толком не отличает. Заморочки с самоидентификацией, может быть, главная антропологическая проблема постмодерна: чуткий художник узнал, что уже нельзя быть отдельной, оригинальной личностью или единицей, но тысячелетний опыт истории и культуры учит кровь другому. Это — проблема антропоморфности как таковой... И ее поднимает именно постмодернизм.

6. Мне уже неоднократно приходилось писать о том, что последовательный постмодернизм как раз «расчищает каналы» к «живительным знаниям и умениям о способе быть». Даже самая обыкновенная постмодернистская практика (напр., обращение к жанрам, где перемешаны функции автора, наблюдателя и материала) не может не учить — каждого в меру ума и таланта — новому отношению к категории Иного. Технология, моторика заставляют понять, что нет непроницаемой завесы между здесь и там, между жизнью и смертью, природой и культурой, знанием и опытом, между т.д. и т.п., может быть, между собакой и волком.

7. «Темная сила дифференциации» (отказываясь от фиксированных координатных систем постмодернизм бесконечно дробит мир) по-видимости противоречит искомому «космическому единству» (которое и автор этих строк, и многие другие также считают характерным для постмодернистского сознания) — этот тезис приходится слышать довольно часто и с первого взгляда он может показаться убедительным. Мне

однако представляется достаточно очевидным, что противоречия здесь нет. Бесконечная, радикальная дифференциация предполагает именно поле абсолютного неразличения, именно всеобщность. Дело не в том, как выглядит наш жест — стараемся мы «взойти» к «небу» всеобщности или «опускаемся» в пучину «неразличения», — а в том, что жест значит: в обоих случаях мы имеем дело с размыванием границ между любимыми мыслимыми оппозициями (в том числе между «небом» и «бездной», так что формула о темной силе в постмодернистском контексте не работает), в конечном итоге снимая, как уже было сказано, категорию Инакости как таковой. Именно в этом суть, именно таков вектор чувства, и неважно, отдаемся мы ему «на земле», бесконечно дробя «реальность», или стараемся достигнуть единства путем чисто духовного усилия прямо «на небе». При последовательном переживании ситуации постмодерна эти стратегии полностью совпадают...

...Мне, честно говоря, не особенно важно, называть грядущее-искомое-лакомое единство как-то по-хитрому или, памятуя о том, что именно такой вариант развития событий моделируется последовательным постмодернизмом, оставаться в рамках текущего лексикона. Хоть горшком, хоть груздем, хоть «новой архаикой». Смущает другое: некая восторженность, вызванная фактом артикуляции нового термина, — как бы предполагается, что этот факт что-то «решает». Боюсь, что изобретатели «новой архаики», тонко почувствовав необходимость контакта с «пульсациями Космоса» и расчистки помянутых каналов, не до конца отдают себе отчет в смысле собственной речевой деятельности. Необходимость взаимодействия с этими самыми «пульсациями» стократ острее ставит проблему индивидуальной жизненной стратегии. Провозгласить единство просто, но очень тяжело выработать представление о конкретных путях движения к нему. И если быть до конца последовательным, то придется признать, что восхождение к «архаическому» единству или всеобщности предполагает не просто расставание человека с историей (т.е. с проектом движения), но — изживание антропоморфности, поскольку абсолютное «тайное знание» предполагает абсолютное же растворение субъекта в природе, настоящую, а не метафорическую неразличимость субъекта и объекта. Более того — это предполагает расставание с миром воплощенностей, ибо полный контакт с «пульсациями Космоса» означает возвращение в ситуацию полной до-дифференцированности (или постдифференцированности), означает, собственно, сращение с «пульсациями»... Вот, что действительно страшно и — несмотря на это и благодаря этому — очень привлекательно. Современная культура переживает именно эту ситуацию. Постмодернизм, который «литература и искусство», отработывает

— как бы на уровне магазина игрушек — модель одновременного существования в разном (опыт изживания категории Иного), но, будучи по сути своей неспособным удержаться в рамках «литературы и искусства», он стремится человека к непосредственным опытам запредельности: недаром постмодернистская художественная практика «психоделична», недаром столь часты мотивы «измененных состояний сознания», недаром такой интерес вызывает опыт Карлоса Кастанеды и опыты, допустим, Станислава Грофа (подробно я об этом писал в статье «Искусство смерти», опубликованной в «Книге о постмодернизме», а до этого в сокращенном виде в «НГ» от 9.07.92). Все это игры очень серьезные...

* * *

Переживание противоречий постмодернистского контекста вполне естественно — все-таки Россия — приводит к обращению к опыту православия. Известный исследователь Татьяна Горичева издала книгу статей «Православие и постмодернизм», признавая за постмодернизмом силу и некую даже естественность его идей, стараясь как-то интегрировать отдельные его проявления в христианскую систему ценностей (находя, например, у Барта и Бодрийера потребность говорить о самых «несвятых» вещах языком религии, потребность в «возвращении святого»), делает все-же очевидный выбор — против деструктурированных пространств в пользу строго иерархического построения универсума: «Как во сне, живем мы в Европе. Забытие реальности происходит и оттого, что забыты ценности. И вернуть эти умершие ценности к жизни не может никакой, даже самый аскетический и непримиримый морализм. Высшая ценность — Бог, перестав существовать, лишила опоры и весь остальной космос ценностей, ведь, если следовать онтологическому доказательству бытия Божьего, совершенное существо должно существовать. Без этого атрибута совершенство — уже не совершенство. А если его нет, то нет и самого существования»...

Юрий Арабов, автор средних и изрядно постмодернистских стихов, а также сценариев к очень, на мой непросвещенный взгляд, интересным и тоже изрядно постмодернистским фильмам А. Сокурова, вдруг публикует несколько статей, в которых в хвост и в гриву кроет постмодерн (делает он это, впрочем, крайне неостроумно) и с яростью и неуклюжестью неопита пропагандирует православие. Православие у Арабова, однако, необыкновенно косолапое: так, он всерьез анализирует российскую историю в категориях Даниила Андреева (Жругр — демон российской государственности, трансфизическая защита народа Ангелами высших иерархий и тому подобные прелести, гениальные, наверно, в

контексте безумной андреевской космогонии, но очень смешные в крайне серьезном арабовском пересказе) и заявляет, например, что «новая ветвь христианской церкви объединит все наземные церкви в единый духовный храм на основе полученного Откровения» (ИК, №8, 92) — такое стихийное язычество в терминах наивного экуменизма.

И, наконец, еще один пример — Александр Верников, очень, я считаю, талантливый писатель, сочинивший вполне реальное количество прозаических текстов, вписывающихся в мое понимание постмодернистской парадигмы, обратился к православию и тоже пишет статьи, в которых противопоставляет его постмодернизму, где, в частности, высказываются претензии и к моим постмодернистским построениям. Суть противопоставления — помимо важных для автора, но дежурных обвинений постмодерна в том, что он не желает и не умеет обрести опыт, духовный и, так сказать, «жизненный» — состоит в том, что постмодернизм живет сухими умозрительными конструкциями и, разумеется, не может постигнуть Истину, поскольку постигается она путем Веры и Откровения. Большинство новых статей Верникова пока не опубликовано, потому, для ясности, я позволю себе процитировать изрядный фрагмент (в нем упоминается и моя фамилия, но я надеюсь, что читатель простит мне эту «нескромность»):

«...его (постмодерниста) сознание и есть центр, центр всего, воронка, в которую устремляется все мироздание и для которой оно, собственно, и существует в таком лакомом и приветствуемом многообразии. Понятно, что из постмодернистов не может быть создана Церковь — они отрицают Идеал; но идеал их давно существует в «цивилизованном мире» — это Клуб, такой небольшой неприятельский клубок, скажем, безобидных гурманов или гомосексуалистов, или тех и других заодно, ибо между ртом и анусом тоже уже нет оппозиции, противоречия «сняты», все уже давно «в заднице», и это нормально! Логика постмодерниста гениально-проста, легко приемлема, привлекательна, непобедима и заразительна: если не могу иметь откровения «Свыше», если не могу его добиться, если уже не имею откровения, то значит мое откровение есть как раз отсутствие оно, моя неспособность иметь откровения — буду «работать» с этим «даром», ибо, в принципе, рассуждая умом, отсутствие ничем не хуже наличия, отстрою себя целиком на этой «дырке от бублика», ибо она своей дырчатостью свидетельствует о наличии бублика где-то там, хотя, в принципе, и сама по себе дыра, даже и без бублика, весьма хороша, «качественна». По этой логике, конечно, и Церковь для постмодерниста есть всего-лишь разновидность клуба, члены которого, «нормально» занимаясь своими делами, безвкусно и «нескромно» сакрализуют их и себя заодно. С точки

зрения доводов рассудка это, несомненно, безупречно, но, к счастью, в Церкви все держится не на рассудке, а на духе, и потому обратное умозаключение невозможно — клуб не может быть Церковью, и постмодернисты это если не понимают, то хорошо чувствуют. Если бы у Курицына был хотя бы мало-мальский церковный опыт (а все церковное бывает и дается только опытом), он бы никогда не написал такой «некачественной», лишенной не только всякой остроты и силы, но и разоблачающей «невежество» автора фразы, как: «Православие насквозь иерархично, и вариативность, принципиальная неоднозначность постмодернизма ему и впрямь — нож острый... Постмодерн — не заблуждение даже, а страшный заговор: покушение на самое незыблемое: на способ мыслить». Когда православие оценивается беглым взглядом со стороны (книги православные полистал, а в храм сходить, «заглянуть» уже посчитал излишним), невозможно ожидать, что будет даже упомянуто слово «верить», не говоря уже о таком таинственном словосочетании, как «способ верить».

Противопоставление и впрямь радикальное: апелляция к опыту веры автоматически снимает возможность дискуссии буквами и словами. Православие нельзя примирить с постмодернизмом, как нельзя примирить с ним ни один из существующих «на свете» иерархических дискурсов. Проблема в том, что постмодернизм невозможно примирить даже с самим собой (чего не скажешь о гордо уверенном в своей правоте — удобная позиция — православию): я уже неоднократно упоминал плохоразрешимое противоречие между постчеловеческими мотивами постмодернистского «космоса» и неизбежной антропоморфностью того, кто способен артикулировать эти мотивы. Это противоречие осознают далеко не все, но оно дает о себе знать как бы и помимо нашего осознания. В вернисажной тусовке можно быть адекватным, но вряд ли долго: все равно встает вопрос, как себя вести. Я как раз пытался показать, какие сегодня встречаются тактики поведения...

...А что до опыта, то уж, разумеется, не он подсказывает мне, какой цитатой закончить статью: «События, протекающие только в сознании, могут достигать такого предела, после которого эмпирическое переживание уже ничему не может научить человека» (Лидия Гинзбург).

К вышесказанному это, понятно, никакого отношения не имеет.

Вадим ЛИНЕЦКИЙ

НАБОКОВ И ГОРЬКИЙ

Соединив в названии два столь несхожих имени, впору начать статью многоточием, выдерживая паузу, пока читатель оправится от удивления и оценит оригинальность автора. Споры нет: Набоков и Горький — это, что называется, «люди разных меттапий». Настолько разных, что прием «очной ставки» начинается тут подозрительно напоминать умышленное сталкивание лбами, от косяго, как известно, у обеих сторон — искры из глаз. Умысел, конечно, в том, чтобы использовать добытую таким первобытным способом искру для нужд текущей полемики, ведь всякий уважающий себя критик имеет под рукой легко воспламеняющийся ворох извечных российских проблем типа: быть ли искусству искусством — для искусства или для бедных, сиречь для народа? И как ни решай эту шараду в теории, необходимость прежде всего бороться с огнем диктует однозначно утилитарную практику, вынуждая трактующих эту тему толочь воду в ступе и переливать ее из пустого в порожнее, тем самым наглядно опровергая свои доводы в пользу чистого искусства, будто бы столь необходимого нашему драгоценному отечеству. А это непоследовательно, так что не будем уж лучше с огнем играть.

Тем более, что наше раннее имеет сугубо литературоведческий, далекий от злобы дня, интерес. Поэтому читателя, любопытствующего узнать, как отнесся Горький к Набокову и был ли вообще знаком с его творчеством (последний тогда еще предпочитал конспиративную кличку «Сирин», в которой чувствуется юношеское увлечение романтикой революционного подполья — Ленин, Сталин, Красин и т.п.) — так вот, такого читателя я отсылаю к нашим профессиональным горьковедом, у которых не хочу отбивать хлеб. Мы же не имеем нужды вдаваться в такие тонкости, ибо общее у наших персонажей есть и помимо их (предполагаемых) взаимоотношений. Дабы соответствующим образом настроить читателя, мы и позволили себе для начала поиграть словами — ведь к этому предрасполагает наш материал.

Итак, речь о каламбурах, игре словами, пристрастие к косяк питал не только Набоков (что общеизвестно), но и Горький (что, кажется, подзабыто) И хотя набоковская практика по масштабам несопоставима с горьковской, было бы ошибкой думать, что для Горького «лингвистическая рефлексия» — не более чем прихоть, забава. Игра

словами – занятие серьезное. Это хорошо понимали не только романтики, но отдавал себе в этом отчет и Горький.

В судьбе немало загадок. Но загадкой для меня лично являются не его последние дни, а тот странный факт, что Корней Иванович Чуковский не дал места в своей знаменитой книжке «От двух до пяти» разнобразному материалу, коим преизобилуют сочинения Горького, – и это несмотря на то, что Чуковскому требовалось доказать, в частности, совместимость марксистской идеологии с детским отношением к языку, а доказать сие было трудно. Меж тем, имея на своей стороне авторитет классика советской литературы, Чуковский почти им не воспользовался, упомянув имя Горького лишь дважды. Дежурную цитату мы сегодня и читать не станем, а вот другое место стоит привести целиком:

«Мне пишут о пятилетнем Алике, который, впервые услышав фамилию «Горький», спросил:

– Почему у него такая невкусная фамилия? Он плохой?

Тогда как из тысячи взрослых, говорящих о Горьком, едва ли найдется один, который сохранил бы в уме значение его псевдонима».

Вероятно, Алик стал диссидентом, и это жаль, ибо из парня мог выйти недурной литературовед. Не в том, конечно, дело, «Горький плохой». Наука, как мы знаем, не расставляет оценок, да и начинать с такого однозначного заявления попросту некорректно. Тут важен взгляд – свежий, непредвзятый и, что особенно для нас ценно, вскрывающий механизм, на котором построена любая игра словами, любой каламбур. Коротко говоря, суть в семантическом сдвиге, надломе, результатом которого вовсе не обязательно становится, как в нашем случае, реализация метафоры.

Приступая к анализу этого феномена, следует сразу же оговориться, что мы вовсе не собираемся, по известной методе Фрейда, ловить Горького на слове, чтобы уличить его в чем-то зазорном. Фрейд нам не попутчик. И сдерживает нас, понятно, не пиетет к Горькому, но то соображение, что в работе, так или иначе связанной с Набоковым, особо увлекаться психоанализом было бы очевидной бестактностью. Всем памятно, как пренебрежительно трактовал Набоков некого Айболита. И поделом – потому хотя бы, что Фрейд отрицал права эстетики на игру словами, называя каламбуры – ослышками или оговорками, усматривая в них «ошибочные действия», начав с анализа коих, он потом далеко пошел. К тому же, фрейдистскому толкованию подсуден у Набокова лишь один случай, да и тот – спорный. Разумею Гумберта, цитирую «Лолиту»: «Я уже собирался отойти, когда ко мне обратился незнакомый голос: “Как ты ее достал?” “Простите?”»

“Говорю: дождь перестал”. “Да, кажется”. “Я где-то видал эту девочку”. “Она — моя дочь”. “Врешь, не дочь”. “Простите?” “Говорю: роскошная ночь”. «Разумеется»... эпизод сработан мастерски: с превеликим трудом Гумберт скормил-таки Лолите снотворное, нервы у него на взводе, так что слышки вполне мотивированы его «нетерпением сердца». Но нам не миновать вопроса, который, по другому поводу, Гумберт задаст себе сам: «Откуда, из каких глубин этот вздор-повтор?» Для психоаналитики здесь, конечно, случай клинический. Литературовед может сказать, что этот «незнакомый голос», играющий словами, — голос совести, Гумберту, как, впрочем, и психоанализу, неведомый. Важно, однако, что в произведениях Набокова, вопреки расхожему мнению, говорит не только память, но и совесть; хотя бы и под сурдинку. Но уж, если она заговорила, в неловком положении оказывается герой, который, как и все набоковские персонажи, любит «ставить в глупое положение слова». В мире Набокова любое преступление имеет следствием эстетическое наказание: отказывает единственное, что есть у автора и героев, — их язык. Такое вот кипроко.

Для проверки заглянем в набоковскую повесть «Отчаяние». Она — об эстетическом крахе (а у Набокова любой жизненный крах вызван эстетической несостоятельностью героя), о гибели одной эстетической утопии. Герой поверил, что нашел человека, внешне абсолютно с собой тождественного, нашел своего двойника, и уже одним тем встал на скользкий для художника (а у Набокова любой герой — художник) путь, нарушив первую заповедь искусства: «не сравнивай живущий не сравним». В итоге полиция, вынужденная взять на себя роль критики, в убитом двойника не признала, ровно никакого сходства между убийцей и его жертвой не обнаружила. Так повесть превращается в метафору судьбы художника. Можно понять ее просто: «поэт и толпа». Можно увидеть тут новое доказательство тезиса: гений и злодейство — вещи несовместные, — в данном случае потому, что гений никогда не примет свой вымысел за реальность, памятуя о том, что главный признак вымысла — его редкость и мнимость. Первому требованию двойник, впрочем, удовлетворяет, второму — нет. Зато обоим удовлетворяет каламбур, игра словами, в которой для Набокова раскрывается сама суть художественного творчества. И не случайно склонность к игре словами питает герой, посвящающий свои досуги раздумьям над проблемами типа: «Что делает советский ветер в слове ветеринар?». Отсюда еще одно возможное прочтение «Отчаяния» как параболы о границах языка литературы: осознанная героем невозможность описать двойника словами есть невозмож-

ность мимесиса в литературе. В литературе мимесис — тавтология (любимое ругательство Бродского). Двойник — это тоже тавтология, а потому преступление набоковского героя неизбежно будет раскрыто: двойник должен оказаться мнимым. Характерно, опять же, и желание героя увидеть свою рукопись изданной в СССР, которое он аргументирует тем, что в индивидуальном плане попытался реализовать утопию всеобщего равенства и подобия. И в этом смысле он не просто «попутчик», он — писатель, стихийно пришедший к соцреализму. Но на каком прочтении мы бы ни остановились, очевидно, что все они — даже на уровне вариации старинного мотива «обманутый обманщик» — так или иначе приложимы к судьбе Горького, поднятой в «Отчаянии» до уровня мифа. Думаю, это не вызовет возражений, особенно если вспомнить главный вывод набоковской повести, который звучит в лучших гуманистических традициях русской классики: художник подсуден законам, им самим над собой признанным.

Иначе говоря, Горький имел все данные для того, чтобы быть художником, причем художником по большому — набоковскому — счету. Взять хотя бы то, как рано он открыл в себе талант к передразниванию — первый дар, которым, по Набокову, должен быть наделен художник. Вот что об этом рассказано в «Детстве»:

«Вскоре мать начала энергично учить меня «гражданской грамоте»... Я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения... память моя все хуже воспринимала эти ровные строки, и все более росло желание непобедимое переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова: это удавалось мне легко — ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное...» Вот образец: «Стихи говорили:

Большая дорога, прямая дорога,
Простора немало берешь ты у Бога.
Тебя не ровняли топор и лопата,
Мягка ты копыту и пылью богата.

... когда мать спросила, выучены ли, наконец, стихи, я, помимо воли, забормотал:

Дорога, двурога, творог, недотрога,
Копыта, попы-то, корыто».

Понятно, что мать Алеши, в общем-то далеко не худший педагог из тех, с кем ему довелось проходить университеты, сердилась. И будь книжка Чуковского в ту пору уже написана, она бы не убедила ее в том, что склонность ее сына к хлебниковской зауми надо поощрять, а

разве только внушила ей, что ставить за это ребенка в угол — непедagogично. Силловые методы борьбы с изящной словесностью не дали желаемого результата и на этот раз. Правда, Алеша оказался на редкость стойким оловянным солдатиком, хотя жизнь «в людях» обернулась для него пыткой. Так, в иконописной мастерской ему не давал прохода начетчик Петр Васильевич, знаток старопечатных книг, икон и всяких древностей: «Подойдет вплоть и, усмехаясь в бороду, спросит: “Как ты французского-то сочинителя зовешь — Понос?” Меня отчаянно сердит эта дрянная манера коверкать имена, но, сдерживаясь до времени, я отвечаю: “Понсон-де-Террайль” “Где теряет?” “А вы не дурите, вы не маленький”. “Верно, не маленький... Гражданские-то о чем больше пишут?” — не отстает он. “Обо всем, что в жизни случается”. “Стало быть о собаках, о лошадях, — это они случаются”. Приказчик хохочет, я злуюсь», — а мы будем выше этого, хотя и трудно удержаться от злорадства: зачем дразнил мать? Но с педагогической точки зрения все идет по Чуковскому: ребенок вырос, язык усвоил, страсть к словотворчеству ушла. Что и требовалось доказать... Ну, уж этим-то примером мог воспользоваться Чуковский?!.. Впрочем, тогда требовалось бы признать, что вкус к слову у Алеши оказался сугубо возрастным и, если и было в нем художественное отношение к языку, то, как и у всех, оно испарилось к пяти годам. А если учесть, что период «От двух до пяти» затянулся у Алеши аж до десяти лет, приходится признать, что Алеша Пешков не просто самый обыкновенный, но еще и отстающий ребенок, с замедленным умственным развитием. Что-то здесь не так...

И, действительно, держа в уме сказанное выше в связи с набоковским «Отчаянием», следует предположить, что в судьбе Алеши не будет и намек на мотив двойничества: неоткуда ему взяться, ведь источник иссяк. Так что к появлению в его сочинениях двойников мы совершенно не подготовлены, и такое, например, признание застает нас врасплох: «Во мне жило двое: один мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре... Другой... как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову, выхватывал шпагу из ножен и становился в боевую позицию».

Один был наделен определенными писательскими задатками, но «Горький», к несчастью, стал другой, — уже торопится со своим «ага» сообразительный читатель.

В принципе я не заражен набоковским высокомерием по отношению к читателю, а потому охотно бы снял шляпу перед его догадливостью, если бы речь шла о том, кто из тех двоих стал Горьким, а кто — остался Пешковым. Но ведь речь пока не об этом! Вопрос в том,

откуда вообще взялся тот другой, тогда как, по всем признакам, его не должно было быть и помину?

Мотив двойничества предполагает в писателе склонность к пародии, каламбуру, игре словами, превращающим «эстетическое пространство в зону акцентированной иллюзорности» (Р.Якобсон). Литературные двойники — не сиамские близнецы, это всегда пара вроде серьезного, искреннего «Понсона-деТеррайля» и его каламбурной тени, непутевого «Поноса-где-Теряет». Строго говоря, к литературе имеет отношение только такое, мнимое двойничество, ибо оно порождено языком и вне языка не существует. Все остальное — уже не литература, а психопатология.

В общем, перед нами достаточно жесткий выбор: либо освободить сцену для работы «венской делегации», либо предположить, что в своем ратоборстве с начетчиком Алеша наступал на горло собственной песни, а его неприязнь к «Поносу-где-Теряет» — неискренна, хотя и ловко им симулирована. Я склоняюсь именно к такому предположению и готов даже объяснить, зачем ему все это понадобилось.

«Его веселая изобретательность была неисчерпаема... Всем играм он предпочитал костюмированные развлечения. Он наряжался в краснокожего, в пирата, переодевался в женское платье, в пиджак наизнанку и, прекрасный комедиант, изобретал забавнейшие гримасы. Он наряжался и гримасничал с юношеским задором, заражая ребячеством не только ребят, но и взрослых». Таким запомнился Юрию Анненкову Пешков. Одной из любимых гримас этого «прекрасного комедианта» и был образ Максима Горького, на котором шутовский наряд буревестника революции сидел как влитой. Публике предлагалось забыть, что костюм этот — карнавальный, поверить, что Максим Горький вынужден говорить правду, одну правду и ничего, кроме правды, вынужден, ибо «от писателя прежде всего требуются совесть и искренность».

Вопрос о совести — больной для русских писателей. Над ним бился уже подпольный герой Достоевского, не замечая, как и его создатель, что плутает в лабиринте языка, выбраться из которого он смог бы, додумав до конца свою мысль: «человек устроен комически и в этом заключается каламбур». А так, не усомнившись в возможности буквального перевода с языка этики на язык эстетики, он выдал себя с головой на растерзание Фрейду, который, реализовав экзистенциальную метафору, сделал свои выводы насчет приобретенной Достоевским в подполье привычки каламбурить и сочинять себе двойников.

Совесть напоминает о себе в литературе игрой словами, каламбурами, отрицающими хозяйские права слова на обозначаемый им пред-

мет. Совестьливый писатель — тот, кто признает, что, оставаясь писателем, не может быть искренним в этическом смысле. Не может, ибо «язык — это фигляр и фокусник» (Жан-Поль), а «слова в словаре лишены совести» (В. Вейдле). С этими фактами как раз и не желал считаться Горький. Появившись на свет благодаря органической тяге Пешкова к «упадническому слововерчению» как каламбурный перевертыш («пиджак наизнанку» Пешкова, о котором вспоминает Ю. Анненков), он один нес на себе эту печать своего происхождения, которая компрометировала любое учение, вложенное в его уста. И тут не спасала даже та неустанная борьба, которую он вел со словесным фиглярством в своих и чужих сочинениях. Пародия, маскарад и другие элементы романтической эстетики наполняли личную жизнь Пешкова, становившуюся иллюзорной, как хорошая проза. Проза Горького лишь довела до логического предела генеральную для русской литературы традицию этической искренности, перешедшей затем в свою диалектическую (каламбурно-соцреалистическую) противоположность.

Остается добавить, что по всем статьям совестьливым писателем был Набоков, чьи слова о себе как о «строгом моралисте» еще не дошли до сознания россиян, по привычке требующих от писателя такой правды и такой искренности, которых он при всем желании не может дать. В этом убеждает пример Горького, читатели которого кончают отчаянием — сродни тому, о котором рассказал в своей повести Набоков.

Михаил КОНОНОВ

ОТРЕЧЕНИЕ

*Глупцы и очень юные люди болтают,
будто для человека все возможно.
Это большое заблуждение. В духовном
смысле все возможно, но в мире
конечного многое невозможно.
Рыцарь веры, однако, делает это
невозможное возможным, давая ему
духовное выражение, а дает он ему
это духовное выражение тем,
что отрекается от него.*

С. Кьеркегор, «Страх и трепет».

Сегодня для ленинградца-петербуржца тайная анонимность своего приватного, укромного внутреннего инобытия важнее и дороже, чем явное имя собственное – тавро, впечатанное в ткань новорожденного слуха и воли помимо наших желаний.

Догадка, разумеется, не гарантированная. Но лично мне она помогает понять нарастающую склонность земляков к аутизму, метафизическое, якобы, пьянство и маниакально неразборчивую их страсть к чтению. В полусознанных поисках заблудшей своей монады, подетски отбрыкиваясь от имени, как от навязанной социумом роли, спешит мой современник пройти насквозь глубинную анонимность тотально детерминированного своего сознания, вновь и вновь усладительно растворяясь в инфантильном эскапизме мифа, в бродильных экстрактах остатней природы, в наркотических колонках газетного шрифта.

По-президентски щедро распахивают перед ним перспективы анонимности и чтимые стихи. Но именно здесь, в зарослях архетипов, сплетающихся с артефактами, случаются порою встречи поражающие, дражайшие. Откуда ни возьмись – за далями самопереживания, поддержанного, усугубленного поэтом, возвышенного им до крематориальной презентации, – начинает вдруг брезжить перед читателем сиянье, искупающее полуфабрикат страстотерпца-духа из юдоли безымянного сиротства. Это если выясняется, что поэта, как и книгочех, завораживает, в первую голову, рукопашное объятие имени – с псевдонимом, евразийское единоборство скользкой, вечно текущей реальности – с

искаженными отсветами ее сиюминутных ликов и движений в собственном ее же течении.

В стихах Виктора Кривулина меня привлекает именно по-особому сложенная ситуация внечувственного контакта, как бы сакрального наименования. В ней, как мне кажется, номинативная, извините за выражение, функция литературы перерастает из хрестоматийно-блоковского «называния по имени» в обряд безмольного наречения, творимый в координатах равнобедренного любовного треугольника: поэт – реальность – читатель. Причем иначе, как в треугольник, персонажей, связанных тройственным любовно-разрушительным танцем Шивы, сочленить невозможно. Ибо «номинативность» в данном случае имеет двустороннее реверсивно-челночное движение и протекает как между поэтом, читателем и прикровенно нарекаемой ими реальностью, так и между самими нарекающими. А кроме того и главным образом, акт наречения инициируется самой реальностью, в каковом случае посвящение беззвучным именем получают на равных правах и поэт и читатель.

По всему по этому стостраничный сборник В. Кривулина «Концерт по заявкам» вышел в город тиражом одна тысяча экземпляров. В родимом отечестве это вторая книга одного из крупнейших поэтов Санкт-Петербурга и всяя Руси – он же прозаик, эссеист, критик, и протчая, протчая, протчая. В Париже недавно у Кривулина солидный двухтомник вышел – толстые такие книжищи, тяжеленькие. Но в Париже. И дело здесь, может быть, даже не в чересчур уж патологической скромности уважаемого мэтра, хорошо известного в Европе. И не в дороговизне книгопечатания, застигшей нашу литературу ровно в тот момент, когда из андеграунда, из лагерей, из смерти в свет выходят неопенимые ее творения. Еще до своего появления на прилавках града-чистилища книга Кривулина обречена была стать раритетом. Ибо судьба книги определяется не стоимостью бумаги в данном месте и в данную эпоху, но тембром авторского голоса и спецификой текста, поэтикой. Книга, готовая подарить имя, не может лежать на всяком лотке, как «Тарзан». Интонации, очертания, магические взгляды и жесты иронизированных баллад и псалмов, медитаций и политологических арабесок, составляющих тонкий сборник, не будут взяты походя из намозоленных пальцев лоточника-книгоноши. Читателю придется «изыскивать» эту белую книжку, «выбивать» ее, «отрывать» под слоем сегодняшней шелухи с трудом и напряженьем. И еще не известно, сумеет ли он вознаградить себя, овладев, наконец, добычей.

Раскроем сборник Кривулина наугад.

освободили комнату, куда-то
все вещи вынесли, оставили одно
располованное на квадраты
косящее солярное пятно

оно и путешествует, и в полу-
беспамятстве ползет сияющий кусок
по свежеструганному полу
по одноглазым клавишам досок <...>

Это начало стихотворения «Утро в новой квартире». Отсутствуют прописные буквы. Отсутствует, как и в остальных, за редким исключением, стихотворениях книги, традиционная пунктуация. Текст отдается читателю литым корпусом, словно он выдохнут одним духом. Отсутствие заглавных букв обращает сонм стихов в единое течение — речь. Речь — река. Читатель вычерпывает стихотворение взглядом, наклоняясь над потоком, вырывает его из слитного струенья речи. Пытается «освоить». Но внезапно сам становится «усвоен» текстом, в который вчитывался, растворен в нем. Читатель-аноним теряется, сталкиваясь с анонимными манипуляторами марионеточного быта, которые «освободили», «вынесли», «оставили». Он поеживается под прицелом «одноглазых клавишей», стайка которых влетела в строфу Кривулина пряником из «Импровизации» Пастернака /«Я клавишей стаю кормил с руки...»/ и демократично расположилась на полу, посверкивая черными глазами «свежеструганных» сучков. Хотя и не факт, что успел книголюбу припомниться один из самых «крутых» модернистов нашего века, но культурным контекстом кривулинской лирики, ее серебряными суггестивными токами читатель уже подхвачен и куда-то устремлен. Устремлен словом, которое словно бы безмолвствует. Ибо отсутствие высоких литер как бы обеззвучивает графический образ стихотворения. Перед нами словно изнаночная сторона словесной вязи. Творение за миг до того, как человекоподобный стук черных литер, уже отвоеванный у небытия, сделает первый вдох и ... Закричит? Задохнется? Вымолвит, как новорожденное божество, слово мудрости и мира? Или навек останется бессловесен, сохраняя досмысловую анонимность как высшее из утробных благ?

Намеренно мажорное, как картинка из букваря, название — «Утро в новой квартире» — стронциановый Лактионов, правоверный соцреализм. Но присутствующая уже в первой строфе остраненность бытовой ситуации, тревога, внесенная режущим эпитетом «располованный», несколько оксюморонное сочетание «солярное пятно» — все эти знаки и символы мгновенно проносят читающего сквозь «поле где стоят одни

названия»: реализм — экспрессионизм — соляренный миф, — приводя на высотку, отбитую автором у карательной дивизии стереотипов. Отсюда можно определиться на местности кривулинской поэтики. В этой точке координат пересекаются на равных правах доминанты усвоенных читателем литературных направлений. Их пересечение рождает некий код, ключ к стихам Кривулина, для кого-то герметичным или, напротив, расхристанным.

Итак, «соляренное пятно», бросив нам мимоходом, как приманку, зерно мифа, тут же, у нас на глазах, обращается в «сияющий кусок» необозначенного вещества. Почему здесь свет измеряется кусками и зачем нужно автору втаскивать этот «кусок» в рифму со строкой «по одноглазым клавишам досок», рисующей банальные половицы в возвышенно-концертном штиле, возводя паркетину в атрибут искусства? А потому что в подобном лукаво, якобы, призаземленном контексте, в контрастирующем соседстве с брутальными «досками», обращенными в «клавиши», «сияющий кусок» солнечного следа не тяжелеет, а, наоборот, еще охотнее развеществляется. «Соляренное пятно» обращается в нечто более легкое и прозрачное, как бы более божественное, чем сам свет.

Пока вам, любезный читатель, как мне, мучительно больно вертеть так и сяк каждое слово хорошего стихотворения, пока у вас закипает охранительное негодование против того, кто посягнул на неприкосновенную целостность Поэзии, я продолжаю верить, что мои попытки интерпретировать троп за тропом и слово за словом в книге Кривулина абсолютно правомочны. Во-первых, потому, что стихов неприкосновенных, то есть умирающих либо теряющих свою ценность в случае прикосновения интерпретатора, не бывает. Я верю в пословный анализ текста, как иные верят в пророка Магомета или кузькину мать. Хотя и сознаю, что сам по себе он, этот анализ, не более как средство общения, какой-нибудь «алгол» или «фортран», на коем я тшусь столкнуться с поэтом и читателем разом.

Но, видимо, и рассчитаны эти стихи на читателя, не усматривающего особой доблести в том, чтобы расслабленно «ловить кайф» над книжкой, не сочетая себя с текстом через интерпретацию...

и словно оперение павлина
любовным загорается огнем
расправленная древесина
при свете утреннем, при шорохе дневном

когда мерещится вчерашний Лактионов
умершее старание его

к фактуре дерева, к срезанию с лимонов
гриппозной желтизны — осталось вещество

опустошенное, бесцветное, с кислицей
наутро после праздников и я <...>

Прервемся на вдохе.

О том, почему герою стихов «мерещится вчерашний Лактионов», зачисленный в социалистические реалисты академист, критик из ветхозаветного журнала судил бы так: постмодернисты играют стилями разных эпох, в особенности обожают издеваться над социалистическим реализмом, то и дело цитируя его шедевры к месту и не к месту. Столь равнодушно отметить «центонность» стихов Кривулина — значит не проникнуть в закономерность поэтического и, более того, исторического умысла, в результате которого в стихотворение закатился полуочищенный лактионовский лимон. Закагился не сегодня. Ибо не вчера впервые освятил собой шири и дали зажиточного натюрморта сей фрукт. Ведь Лактионов у Кривулина оттого и «вчерашний», что его набившее нам в детстве оскомину лимонотворение само питалось лимонами Снайдерса и Гедда. О, если бы Снайдерс при жизни сподобился узнать, что его насладительные цитрусы на целых полвека превратятся из утехы сибарита Тит Титыча — в булжжик пролетарской диктатуры! Не сегодня вломилась в сознание поколения, являющего теперь лицо русской поэзии, навязчиво-мажорная гамма наступательного официоза, осуществлявшего в центре и на местах каннибальскую политику нерушимого блока коммунистов и беспартийных средствами искусства тоже, как и оружием. А поскольку герой стихов Кривулина до сих пор искушаем призраком государственной «Охоты на мамонта», как каждый, без исключения, наш соотечественник, — независимо от того, осознает ли он творящийся с ним культурно-политический феномен, — то и движение кривулинского героя сквозь сельву собственной анонимности рано или поздно приводит его к необходимости срезать этот докультурный слой «подсознанки», как кожуру с лимона, чтобы обнажить сознание-восприятие, сознание-действие, освободить его от косных напластований, от навязанных стереотипов. В стихах идет серьезная мужская работа — речевая хирургия, врачевание одержимого. Усилия экзорциста, направленные поэтом всякий раз на освобождение собственного дара, втягивают в труд духовной хирургии не только читателя, но и саму реальность. Ибо, по сути, эти-то усилия стихотворца и являются выражением ее, реальности, борьбы за проявление собственной сущности, собственного имени в полной подлинности, не

искаженной социальным, докультурно-магическим, механическим насилием прошлого.

Поэт в одиночку бьется с идеологическими фантомами минувших эпох, как Арджуна с родными братьями. Но это — на уровне мистери, пронизывающей лирику. На собственно же лирическом уровне та же самая энергия речевого преобразования реальности организует сговор автора с читателем. Поэт предъявляет в качестве партизанского пароля как бы вскользь брошенный символический эпитет, растягивая характерную для постмодернизма культуру антимифа, антиэпоса до включения в строку и читательских вкусов, представлений, переживаний, с необходимостью разделяемых в том кругу, который составлял социальный фон андеграунда в течение последних десятилетий. Так производятся предикативные по сути характеристики «вчерашний Лактионов», «умершее старание его» — как самоотрицание, самозаклание анонимных уровней нашего Я. Происходит вновь и вновь подрыв колоссальных пластов псевдокультурного, выморочного социального субстрата, до сих пор довлеющего сознанию дня. Этот осточертевший, изматывающий, как шаги двойника или филера за спиной, «цитеж» наивного модернизма и всепожирающего соцреализма прекратится в нашей литературе лишь тогда, когда исчезнет опасность реставрации мифа, воплотившего на нашей земле царство косной материи, красного кирпича.

Оппозиция миф — реальность, которая в той или иной мере всегда была одной из постоянных тем русской литературы, сегодня играет роль ее доминанты. Евразийские мифы рушатся неудержимо — социальные, личностные, религиозные. Мифы распадаются на пары, триады, множества «вооруженных формирований», изничтожающих реальность жизни с той остервенелостью, выплеснуть которую не успел породивший убийц миф. Миф — либо мир! — вот лозунг сегодняшнего дня, лицо времени.

В этом хаосе, когда человек хочет одного — уйти, замкнуться, отгородиться, чтобы уцелеть, — возможен ли вообще диалог поэта с читателем?

Увы, сегодня мы настроены так, что чье-либо проникновение в наш внутренний мир рождает в нас смущение, доходящее до стыда. Стыд сей бывает горек, когда нас уличает Демон Русской Совести, и — сладок, когда поэт, вскрыв нечувствительно нашу грудную клетку своим стилем, ласково поглаживает нам сердце и обирает блох, завязнувших в шерсти, его покрывающей... Стыдно! Но это еще не само наречение. Это — чистилище. Предбанник. Приуготовление смертного к таинству. Совлечение плотских одежд.

Вернемся, однако, к нашим баранам, т. е. «блохам»:

и словно оперение павлина
 любовным загорается огнем
 расплавленная древесина <...>

Ага, половицы, только что преобразовавшиеся на наших глазах в «одноглазые клавиши», теперь стали столь же «одноглазыми», как помните, перьями павлина. А развешествленный «сияющий кусок» способен, оказывается, словно утюг, разгладить половицы, «расправить» их... Но о чем же, однако, стихотворение? И почему оно беззвучно, абсолютно беззвучно, как будто все, что в нем происходит, висит в вакууме?... Да и что, собственно, происходит-то?

А ничего. Ничего не происходит. Точнее, происходит — Ничто.

Поймавшись на подброшенные нам «клавиши» не существующего в стихотворении музыкального инструмента, на не существующий, опять же, в нем утюг, под которым в нашем воображении скрипит, шипит или визжит «расплавленная» древесина пола, на «срезание с лимонов гриппозной желтизны», а значит, якобы, и шорох падающей на блюдце кожуры и бряканье фруктового ножика о несуществующую, опять же, серебряную вазочку (золотую, фарфоровую, платиновую, нужное подчеркнуть по вкусу), мы с вами, любезный читатель, населили, озвучили беззвучное стихотворение Кривулина не только музыкой, но привычной для нас повседневной какофонией, без которой мы жить, выходит, не можем, и от которой поэт пытается нас избавить, предлагая искупление из метакатастрофы звукового хаоса, замещающего нам сонмы живых, но боязливых смыслов, составляющих наше могучее, но спящее тяжким сном Я.

<...> наутро после праздников и я
 от жажды просыпаюсь или снится
 что просыпаюсь, предстоя

перед стеною обжигающего света
 в пустой огромной комнате — куда
 исчезло все?

Так заканчивается стихотворение.

Строка «перед стеною обжигающего света» в пространствах «пустой огромной комнаты» для меня грохочет громоподобно, с длительными раскатами, с эхом вибрирующих обертонов.

Что гремит? Свет? Голос автора? Или — пустота новой комнаты?

Или сама тишина? Имеющий уши слышит.

Я не знаю, почему для меня последние строки этого стихотворения более оглушительны, чем обвал на Памире. Могу лишь догадываться, отчего захватывает меня при финале ощущение грохотанья, самоумножающегося взрыва, некоего окончательного, в ничто рушащегося конца всего. Оттого, вероятно, что *предстояние* как феномен сакрального бытия само по себе невыносимо трагично, непредставимо для бытового сознания вне колорита катастрофы – громыхающей, громокипящей.

Человек, воспитанный словом и словом живущий, не может себе представить обеззвученным, лишенным голоса, мелодии, немым ни одно из трепетаний жизни. Духовное же движение, экстатический прорыв в высочайшие и самые глубинные уровни мыслящего существа почти невольно получает в нашем воображении самую мощную огласовку, аранжируется широко и щедро. Обращаясь в «стену обжигающего света», преображенное «соллярное пятно» уже как бы несет отблеск имени, которое все-таки в тех высях, куда возвел читателя автор, услышано бывает не слухом, но всем существом в предельном напряжении всех его сил.

Теперь прочитанный текст сам собой отходит в сторону, устраняется. Остается Имя, которое он прикрывал.

Стихи Кривулина часто служат псевдонимами, масками чарующих, испепеляющих и возрождающих нашу мысль имен. Тех имен, что обнажаются, сверкнув, лишь на миг, раскрывая перед читателем-свидетелем то из магических значений всеобнимающей сути, которое он в силах осознать и принять как подлинное имя собственное. Для того, чтобы акт наречения свершился без помех, нам дается толика «незаполненного объема»: рифмовка прерывается внезапно, сознание сохраняет инерцию ритма и продолжает самостоятельно исполнять работу, намеренно не завершенную поэтом.

Последняя и будто бы лишняя, поскольку незарифмованная, строка оставляет после себя как послевкусие – ощущение тишины, паузы, пустоты, в которой длится уже тяготящееся анонимностью чувство, лирическое переживание. Музыкальная тема, суммарная нота стихотворения, – та вибрация пространства, тот не слухом осязаемый звук, из которого родился этот разговор. На значение «незаполненного объема» Кривулин намекает в стихотворении «Голое исполнение»:

<...> шелест платья

сдержанный кашель

эта пауза это мгновенье
становилось паролем нашим
дальше -- голое исполненье

В междузвучье, в пространство между стихотворными колонками, в дрожащую тишину пауз вписываются читателем неведомые автору смыслы. Автор заранее согласен на них. Их-то он, собственно, и ожидает, приращивая к сонету, открывающему сборник, пятнадцатую строку:

<...> и от Урала до Савойских Альп
гуляет радио переполняя ниши
звукоубежища подполье слуховое

где прячутся остатки тишины
без электричества – коптилки зажжены
и пламя слабое, живое

с малейшим дуновением дрожит

Тишина, убегающая от радиоразгула «концерта по заявкам»...

И в следующем стихотворении книги нам дается подтверждение: догадка наша верна. Культ тишины, молчания, противопоставленного пошлomu разгулу струнного оркестра, заявляется как одна из принципиальных установок автора, как чтимая им сверхценность:

но внимательнее: для чуда
здесь почти не дано пустого

незаполненного объема

Автор именует «чудом» не собственный лирический жест, не слово как таковое, а то, что может произойти с читателем в результате работы, им же, читателем, и проделанной над собою, — в миг паузы, тишины, молчания после отзвучавшей строки. В это мгновение читатель может отыскать в себе полузабытый «пароль», который свяжет его с сознанием немотствующего героя стихов.

Пароль? Что все-таки имеется в виду? Символ веры?

Чудо, предстояние, всеобъемлющая суть — все эти романтические термины, эти псевдонимы реальности принадлежат в равной мере сакральной и профанной науке, как и обиходному нашему языку. Архаически-таинственное, почти мантрическое звучание сих словес в одних пробуждает детски-непосредственное желание экстатического хэппинга, в других — потребность разобраться в том, что стоит за словами. Ибо те, другие, сознают, что ни лиминальные состояния сознания, ни слова «вера» и «Бог» — ни веру, ни Бога описать не могут.

Нет, давайте попытаемся остаться интерпретаторами, не переводя ключ в подозрительно удобный регистр — религиозный. Искусство столь же самодостаточно, как религия.

Искусство самодостаточно настолько, что может по своему усмотрению располагать смыслы, которые в религиозной иерархии закреплены неподвижно.

Литература — это грандиозное имя нации, не вмещающееся ни в какие святцы. Имя, соизмеримое с пространством, занятым нацией, с осью времени, регистрирующего ее историю. Литература не дала и не дает нам обратиться в удобных анонимов. Ради этого она отваживается выходить за пределы слова.

Работа Кривулина зачастую вырастает в словоборчество, отречение от слова ради таимого им смысла.

Пространство неощутимых вибраций «за высоким порогом слуха» в стихах Кривулина населено разнообразно и густо. Здесь отражают друг друга не только гармоничные незвуки, соскользнувшие с края последней незарифмованной строчки стихотворения, не только мифологические символы и умозрительные концепты, выстроенные читателем с подачи автора. В этом пространстве само время движется по иным законам. Завывающий вентилятор здесь получает имя: Филомела.

Звучание, как бы прикоснувшееся, благодаря хрестоматийному имени, к уже состоявшейся вечности, улетает во времена, коих еще не бывало:

за высоким порогом слуха
в акустическом з а в т р а метель завывает <...>

Банальный вентилятор обращается в соловья будущих веков: «искушенная, выученная филомела». Взаимоотношения тишины и звучанья, голоса и немоты порождают в стихах Кривулина совершенно новую, непривычную для нас драматургию смыслов. Здесь родовитость «филомелы» не обеспечивает вентилятору нравственных прерогатив, не собирает вокруг себя значения, брезжущие в пространстве незвука. Читательские ассоциации не брошены на произвол хрестоматийной сентиментальности, но твердой рукой направлены в иное, неожиданное русло. «Искушенная, выученная филомела» — это поэт, сочинитель. Тот, которому, по мнению А. Блока, и стихи-то писать не следует, ибо он слишком хорошо научился этому ремеслу. Еще одно отрицание фонемы ради утверждения литеры, отрицание литеры ради романтизированного послезвучия, ради тишины. Исподволь, складываясь из десятков и сотен незвуков, безмолвных обертонов, тишина подводится под здание книги, заливается, как жидкое стекло. Звучащая тишина, образованная предельной полнотой взаимоуравновешивающихся смыслов.

Похоже, что в творчестве Кривулина искусство слова апеллирует к последнему и наиболее фундаментальному авторитету. Его попытки

проникнуть в доСлово мне представляются как стремление овладеть неким целостным значением и, уже на его языке, никогда ни для кого не звучащем, общаться с читателем. Переживать это сокровенное общение столь же целостно, тотально, как лирический герой этих стихов переживает свое общение с реальностью мира, видя жизнь более глубоко, чем зрением, и слыша более чутко, чем слухом.

Можно именовать подобное переживание поэтическим либо сюрреалистическим. Можно утверждать, что оно представляет собой путь религиозного служения. Но нельзя не заметить принципиальной новизны его для русской поэзии. Вводя «лишнюю» строку, Кривулин распахивает в своих стихах новое измерение, пространство страницы перестает быть двухмерным, обретает глубину, многополюсность. Раскрывая через порожденный стихотворением незвук новые и новые просторы внутри человеческого сознания, автор заставляет линейное время то свернуться в клубок расширительной метафоры, то засиять лучами бесчисленных радиусов, пронзающих текст во всех направлениях, но не имеющих центра. Тогда появляется на бумаге такая, скажем, строка:

лепетание бабьего радио в парке

На первый взгляд, перед нами чистый пример омофонии, выделяемой всемирно известным филологом Ихабом Хассаном в качестве одной из основ поэтики постмодернизма. Но омофония в данном случае является результатом растягивания расширительной метафоры во времени — или, напротив, метафорического сжатия времени. Пушкинская строка «парки бабье лепетанье» как бы лишь в силу созвучия «парки — в парке» переносится в сегодняшний день, с некоторой, правда, оберрацией. Но всмотритесь: мы имеем дело не с ней самой, а с ее иронически вывернутым, заново метафоризированным вариантом. А уж каким чудом строка Кривулина сохраняет доминирующий настрой пушкинской интонации — брезгливость к мрачным предреченьям — об этом, собственно, мы и толкуем. Если у большинства эпигонов постмодернизма расхожие словесные формулы выдергиваются из классиков и модернистов зачастую по прямой ассоциации, демонстрируя просто «цитатность» интеллигентского мышления и всей жизни, и присутствуют в сегодняшнем интертексте в собственном своем виде, уже вечном, то Кривулин дает нам *вариант*, собственное прочтение литературной истории, порожденное уже его, кривулинским, даром. И линейность времени сдается ему на милость. Исчислить смыслы, просвечивающие сквозь строку Пушкина — Кривулина не представляется возможным:

здесь закодирован целый концерт культурных контекстов, начиная с филологии и кончая политикой.

От филологии до политики — тематический, так сказать, диапазон книги.

Фундамент тишины, подведенный под текст, вновь и вновь подтверждает свою надежность. «Неизреченное» — цель, фокус внимания, кредо лирического героя и в стихах политической, условно говоря, направленности. Вот начало стихотворения «Рысь»:

золотоглазую мы не заметим Рысь
 когда она следит не шурясь не мигая
 за солнцем, нет, за митингом:
 сошлись
 они стоят как тишина большая
 защитники всего что ползает плывет <...>

Отождествление человека и тишины происходит, как видим, в момент, для тишины удобный менее всего: на митинге.

Однако кто же эта Рысь, не расшифрованная словами ни до, ни после своего появления? Сюрреалистически-невнятный символ? Или пластический образ того не звука, что порожден напряженным полем противостояния?

Чистого сюрреализма у Кривулина не бывает. Предлагаемую им многозначность, — утвержденную в образе или лишь подразумеваемую в междустручье, в беззвучье, в белом свете страницы, — всегда или почти всегда можно в той или иной мере «вычислить» рационально. В моих, скажем, «вычислениях» Рысь митинга — это кто-то, кто ожидает поживы, добычи, которая всегда выпадает на историческую площадь-прилавок как награда сумевшим подкрасться и выждать.

Столь же «рационален», то есть эмоционально, исторически, методически внятен сквозной для книги образ — «Охота на мамонта»:

<...> выводили на площадь мамонта в космах и колтунах

с непропорционально маленькими глазами
 где стоял заполярный космогонический страх
 Палки летели камни... что они сделали с нами!

Читатель неукоснительный и ревнивый, ищущий прикинуть к главному кардинальному смыслу, враз успокоится, догадавшись, что «мамонт» здесь — это пленный немецкий солдат, истязуемый где-то на стогах послевоенного Ленинграда. Но в конце книги, в эссе Кривулина «Охота на мамонта, или Нищета Петербурга на фоне ленинградского

нищенства» мы читаем: «В начале была картина. Она до сих пор стоит перед глазами, когда я закрываю их: иллюстрация из школьного учебника. Первобытное племя крохотных людей угрожающе окружило живую, косматую, огромную гору. Охота на мамонта. Я чувствовал себя частью этой орды, вооруженной палицами, каменными топорами и чем-то еще. Я начал писать стихи, потому что не было в руках иного оружия, а чувствовать себя слишком маленьким и незащищенным в час великой Охоты на Мамонта — значило обречь свою жизнь на растоптание. Стихи позволяли забыть о страхе несомасштабной схватки, да и о том, что мир вокруг меня беден, убог и уродлив, хотя в иные минуты мне, напротив, кажется, будто потребность писать стихи (картины, музыку) рождалась из ощущения, что мир вокруг недостижимо и непривычно прекрасен». Итак, вытесняя первый, абсолютно конкретный смысл метафоры, мамонт — немецкий солдат превращается в мамонта-символическую жертву, приносимую не столько, может быть, желудку первобытного охотника, сколько самому принципу коллективной травли, он вырастает в мамонта — козла отпущения, на коем строится и держится общество полужверей, доисторическое человеческое стадо. Однако же этот мамонт-козел пробуждает в отбившемся от стаи детеныше поэтический дар как магическую способность, возмещающую его отсутствие в «передовых рядах строителей» Охоты на Мамонта. То есть если мамонт и козел, то козел священный, сродни пророку. Сколько смыслов этой ползучей метонимической метафоры мы насчитали? Однако чуть ниже на той же странице на читателя выходит еще один мамонт: «Мамонт был не что иное, как город. Он возвышался надо мной, преследовал своими остекленелыми глазами. Он охотился за мной, восставая из вечной мерзлоты Зоологического музея по ночам...»

В рамках амбивалентности магистрального образа Кривулину тесно. Амбивалентность определяющих мифологем культуры, классически зафиксированная в работах М. Бахтина, удовлетворяла самым отважным притязаниям классической литературы — от Рабле до Достоевского. А Кривулину как носителю «постмодернистского», а точнее исторического сознания, самоотрицание метафоры, ее возвратно-поступательное «хождение за три моря» представляется пошловато-скучным. Оттого его «мамонт» не только обращается из дичи в самостоятельного суперохотника, но и олицетворяет собой (омордотворяет?) и город Ленина, проледенелый насквозь, и его врага, истязуемого городом, а сама «охота на мамонта» есть символ самоубийственной жизни-травли, жизни-охоты, уничтожившей в человеке человеческое («Что они сделали с нами!..» Вот то и сделали: убили).

На тех же последниковых тундрах, обнажившихся заново в наши дни, взросло и печальное изречение, в котором мироотношение и самоощущение человека наступающей уже постперестроечной эпохи свернуто, опять же, в метонимическую метафору:

мы живем – ты говоришь – после истории
в поле где стоят одни названия

И нет, пожалуй, в книге более кричащего образа тишины, чем тот, что возникает в этих строках.

История – безмолвие Рыси, скрадывающей добычу.

История – неслышимый вопль обесмысленных наименований, выхолощенных слов, не желающих более принимать груз наших упований, нашей лжи, недомыслия, жестокости.

История – процесс перманентного переименования человека и мира.

Под единственным из стихотворений сборника автор поставил 1978 – год его написания:

когда придет пора менять названия
центральных площадей <...>

Пора, призванная им, явилась через несколько лет.

Когда предчувствие перерастает в пророчество?

Когда для говорящего важно, прежде всего, не собственное слово, а то, что должен он расслышать в безмолвии.

Задумываясь над «эффектом Кривулина», как хотелось бы именовать результат, достигаемый прорывами лирического героя, за которым невольно следует и читатель, в мир по ту сторону звучанья, невольно стараешься подобрать аналог неожиданным состояниям и ощущениям. Здесь не может не вспомниться тютчевское «Мысль изреченная есть ложь». Но не успеет отзвучать нелюдимый сей афоризм, как перпендикулярно ему врезается экстатическое заклинанье Ходасевича:

Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла,
И слово сильнее всего.

Разлетаясь под углом в девяносто градусов, Тютчев и Ходасевич продлевают координаты, в которых продолжается символизирующая конфликт «отцов и детей» битва литературы с самой собой. Стоит чистосердечному ревнителю как своего, так и чужого долга на веки вечные отгрохать во всю ивановскую жизнеутверждающее, как полк

боевых слонов, здание очередного «классицизма», растянутого на колышках табу и тотемов, которые были утверждены в сознании рода человеческого еще ритуалами оргиастических культов, — как является сын классициста, совестливый пацифист романтик и угрожает ветхозаветному храму супердемократичным Апокалипсисом. Ибо человек, в силу своей смертности, всегда *непорядок*. Он — ошибка, то есть всегда, из века в век и из эры в эру, — явление, порядком не удовлетворимое. Но по-прежнему цель общества — порядок, в то время как цель индивида — свобода. Как быть? Мирно состыковать свободу с порядком удалось лишь гениальным составителям канонической Библии, объединившим под единой обложкой две разных религии, жертвой вражды меж коими пал Христос. Сегодня же тяжба «Закона» и «Благодати» (терминология Феофана Прокопович) принимает все более изощренные формы. Сегодня Папа Римский всерьез предлагает кардиналам признать ошибкой и *непорядком* деятельность святейшей инквизиции, а в авангарде, как говорят партийцы, литературной борьбы сражаются самоубийственно ироничные романтики, именуемые нынче постмодернистами, т. е. «тютчевцы» наших дней. Почти тютчевцы. Тютчев, отчаиваясь в своем порыве к правде и обвиняя в лживости само слово, переживает парадоксальную драму речи как собственную трагедию, трагедию поэта, залог и корень его одиночества. Для сегодняшнего же «тютчевца», каковыми являются в интересующем нас аспекте и Т. Кибиров, и Д. Пригов, и В. Кривулин, опасная многозначность слова, норовящего сокрыть свой смысл и от читателя, и от самого поэта, — давно пережитая аксиома. Поэтому постмодернисты обычно подкрадываются к слову на цыпочках, да заходят с подсолнечной стороны, чтобы тень на него не отбросить, да стараются не дышать, когда нежно берут его за крылышки, ни в коем случае при этом пыльцу не повредить стремясь. Кривулин же во многих случаях и вовсе обходится без вульгарного овладения лексемой. Он словно бы лишь любуется узором на радужных крыльях, полагая смысл в нем, живом и не стертом, да не в тот миг, когда бабочка присела на ромашку, дразня словоплетя своей доступностью, а провожая ее взглядом в полете, в родной стихии, — между ромашкой и солнцем.

Модернизм — апология слова («слово сильнее всего»).

Постмодернизм — разрушитель апологий. Любых.

Однако нелепо считать разрушение канонов главной и чуть ли не единственной целью постмодернизма. Вылупляясь последовательно из всех нормативных скорлупок, пробивая все стены узилища, в коем намеренно, собственной безопасности ради, пребывает человеческое сознание, Вечный Романтический Потенциал, именуемый нынче

постмодернизмом, в наши дни пробивает самую тонкую из преград между человеком и его собственной сущностью — слово.

Слово есть портрет фиксированного, то есть вполне мертвого смысла, и в этом смысле оно есть труп. Отсюда творческие усилия языка, словоплетения представляются как чудовищная фикция, сродни некромангии. Апология слова не грозит убить жизнь — а убивает ее на месте, при первой встрече, с первого взгляда.

Освобождая сущность от слова, постмодернист утверждает реальность как таковую.

Реальность — это то, с чем никогда не имело дела тоталитарное сознание, закабаленное словом-заклятием.

Реальность — это то, что неведомо было и модернизму, сотворившему из слова фетиш, добровольно принявшему слово вместо реальности.

Реальность — это то, что неизвестно классике, отягощенной ослепляющими концепциями философов или клерикалов.

Ибо реальность существует лишь в течение единственного этого условного мгновения, а в следующий миг она уже иная и требуется постигать ее заново, используя или отменяя уже иные слова или концепции.

Ритуальное самораспятие постмодернизма лично мне напоминает Бородинское сражение. История уже ведает, что Наполеон войдет в Москву, но ведает также и то, что сей «исторический модернист» и сам на краю гибели, а потому бестрепетной рукой фельдмаршала бросает в бой цвет литературного воинства: литература наполеоновских приказов обречена погибнуть в московском пожаре.

Нет, литература канона, наполеоновского или советского ампира, важной лжи и государственной пользы не будет убита постмодернизмом — она тихо выпадет в осадок. И будет лежать, как сегодня, на лотках, на прилавках магазинов, на книжных полках. Будет по-прежнему отягощать сознание «широкого» читателя дополнительными гирями, не давая ему вознестись над самим собой и преобразить свой дух. Опасения ревнителей классики и вообще всякой нормы безосновательны, ибо во все времена основной объем печатной продукции составляли книги, которые по зубам любому нормальному, то есть тяготеющему к нормам, читателю — от школьника до пенсионера. Постмодернизм не опасен абсолютно ни для кого. В том числе и для самого себя. В той или иной форме он проявляется в искусстве и будет проявляться всегда. Ибо он необходим не только реальности, без него задыхающейся под задумчивыми томами «реалистов». Необходим он и той предреальности, которая существует прежде нее, как пустота и безмолвие. Это та Пустота и то Безмолвие, без которых невозможен ни камень, ни человек, ни слово.

Безмолвие у Кривулина — это не только напряженное пространство предзвука. Безмолвие — плод усилий мировой истории, ее результат, единственное, что остается после всех сегодняшних вычитаний. Безмолвие — единственное, что может быть воспринято, взято, транспирировано во времени, как в стихотворении «Египетская чета»:

<...> колени сдвинуты, на сомкнутые рты
 легла улыбка(слабая бумага
 по счастью не известная тогда
 не вынесла бы груза этих губ!)
 какие звуковые глыбы
 артикулируемые с трудом,
 преодолевая слово, берегут
 его опустошенный дом <...>

Чтобы акт передачи сокровенного опыта осуществился, человек должен быть причастен безмолвию, должен достичь его, «преодолевая слово»...

Нет, в сборнике Кривулина присутствуют и вполне озвученные картины жизни. Однако все главное, все самое необходимое в его вселенной свершается в тишине.

Тишина сия по существу своему сродни тому беззвучному для нас грохоту кастрюль небесной кухни, с которым все длится, тьфу-тьфу, не взглянуть бы, термоядерная реакция Солнца. Для слуха человеческого заутробный рев протуберанцев не может быть, слава Богу, воплощен в звуках и остается лишь светом.

Я сравниваю с солнцем пока что не самого Кривулина, а тот неименуемый субстрат бытия, проводниками которого служат его лучшие стихи. Иногда ему хочется, чтобы этой работой было занято каждое из стихотворений. В такую минуту, вероятно, родилось стихотворение «Для первой буквы»:

как летописец я ушел
 в изготовленье киновари
 для Первой буквы где библейский Вол
 с евангельским Орлом одно образовали
 взмывающее существо
 что отрицает собственную тяжесть

я знаю мы не скажем ничего
 Я знаю и никто уже не скажет
 много чем написано до нас

честнее кисточка — в чернильнице медвяной
раскрывшийся новорожденный глаз
начальной Альфы, первоокеана <...>

Здесь, пожалуй, мы можем пока пресечь свое любопытство к причинам «несказуемого» слова в стихах Кривулина. Мы обнаружили нравственный повод, толчок, воспринятый поэтом от самой письменной традиции, — побуждение круто развернуться и пойти сквозь толщину магатекста, именуемого литературой, сквозь соблазны синтаксиса, преодолевающего сегодня линейность письма, сквозь инфра- и ультрафонетику — к сквозной литере, которая уже не в силах исказить сеющийся сквозь нее свет. Здесь предел. Здесь перо поэта превращается в кисть художника, в курант, истончающий порошок кровавой киновари, находя заботу о ячейках сита или о полной прозрачности стекла, пропускающего свет, делом более честным, чем сотворение словесного кумира.

Критики, ревнующие о сохранении литературы от разрушающих ее постмодернистов, до сих пор, видимо, не усвоили непреложную истину: признаком упадка организма, литературного организма в частности, зачастую является отнюдь не пассионарная поджарость, а материальная избыточность, тучность, бесконечное самоумножение, неуправляемый рост кирпичных многотомников вместо живых и работающих книг. Что и происходило у нас в последние десятилетия тоталитарного режима. Золотые же для своей эпохи книги Блока, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Ходасевича рождались в ниших городах, печатались маленькими тиражами на плохой бумаге. Вот и у Кривулина сегодня тираж — одна тысяча.

Я бы не сказал, что страна наша такая уж православная, что она экстатически счастлива ради обогащения родной партии, лихорадочно обменивающей власть на деньги, всем миром поститься, страдать, нищенствовать. Но зная, отчасти, ее историю, могу предположить, что нынешняя очередная «блокада» не помешает, а поможет блистательному Санкт-Петербургу произвести на свет новые шедевры литературы и искусства, как бывало прежде не единожды. Судьба ли у нас такая и вправду, или просто не в силах мы побороть Салтычихой еще воспитанный в нас мазохизм, терпение, уничиженность перед лицом власти и пред Божьим ликом, — чтобы «оттягиваться» потом, брать за все разом реванш в искусстве слова, ради чего, не исключено, и терпим, — не известно. Но то, что впереди литературу нашу ждет не деградация, не превращение в мавзолей эпопей, а неведомый нам прежде взлет и расцвет, — это ясно, как ясен голос Безмолвия.

Невозможно не заметить прямую связь между боязливо-презрительным отношением консервативной, а зачастую и либеральной критики к бывшему андеграунду, гарцующему сегодня в передовых шеренгах литературной жизни, — и недавним боязливо-презрительным отношением абсолютного большинства населения к диссидентам. И дело не только в том, что объект остракизма тогда и теперь имеет частенько одну и ту же фамилию: Абрам Терц, например. В основе отторжения, страха, подсознательного и сознательного доноительства в том и другом случае мы видим стремление защитить от поругания возлюбленный труп: омертвелую империю и ее мертворожденную литературу. Пресечь развеществление сброшенных одежд духа. Превратить страну в мавзолей, а население — в армию коснеющих на морозе часовых. Но это — как минимум. Программа же максимум у моих уважаемых оппонентов еще фантастичней. Они тшятся поднять со смертного одра покоящийся в моргах книжных баз фантом советской словесности и водрузить его на пустующий сегодня пьедестал: нельзя, мол, народу без «строного, но справедливого» монашески дистиллированного духовника с погонами майора под девичьи-невинным саваном. Если же либеральный и умный читатель попытается меня убедить, что трупы оживают лишь в дешевых «ужастиках», а наши алкогольно-наркотические демократы такого безобразия не допустят, то я возражу: да у нас ведь, слышь-ко, дядя, все на особицу, умом-то нас — врешь, не возьмешь! Ведь вот уже и черносотенца, вешателя Столыпина интеллигенция наша в красный угол своей избы восстанавливает, и порнографию от эротики отличить не в силах, и поголовно весь народ обратно в богоносцы записать норовит. Чей труп займет завтра место вчерашних авторов пудовых эпопей? Кто родит многотомную правду-матку о перестройке — огневую да ножевую?..

В одном из номеров очень столичного журнала пришлось недавно прочесть: «Нынешний нарядный нео-реализм и концептуализм — тоже реакция. Все это болезненно и намертво срослось с прежней жизнью и отойдет вместе с ней». Если критик не хочет задуматься о том, сколько веков назад началась наша «прежняя» жизнь, и через сколько, тыфутьфу, десятилетий она, соответственно, заподумывает о том, что пора бы ей и кончиться, если он надеется, что она как-то там вдруг «отойдет» (куда? в Америку?), это, как говорится, его проблемы. Меня беспокоит иное. Всякая анафема новому или вновь обнаруженному явлению культуры порождается стремлением реанимировать отжившие формы сознания. Налицо прежний синдром: стремление обвенчать искусство и мораль намертво, навеки запретив разводы и адюльтеры. Причем под «моралью» критик понимает не живые и постоянно обновляющиеся

способы мирного нашего сосуществования, но известные ему рамки, ограничения, запреты, выкованные, как полагает он сам, не обществом на известных этапах его развития, а непосредственно Литературой. Автор строгой статьи был бы чрезвычайно удивлен, если бы мы позволили себе предположить на основании высказанной им сентенции, что на самом деле его привлекает литература, удовлетворяющая условиям, которые отмечены В. Кривулиным в его стихотворении «Над гранитной фабрикой»:

тут тебе и творчество и лаборатория стиха
и традиции и национальный стиль
полудрагоценный камень превращается в утиль
в пепельницу или в тельце петуха

Многие, многие не в состоянии сегодня догадаться, что волна обновления изменяет не только лицо, но и все существо нашей литературы коренным образом и бесповоротно. Ибо в присутствии стихов Тимура Кибирова или прозы Венички Ерофеева стыдно и невозможно теперь механически переносить в современность замешанные на подмоченной кровью «русской идее» литературно-общественные идеалы прошлого века, коими до сих пор пытается пробавляться наша изящная словесность. Литература навсегда стала ремеслом свободного человека, а не раба. Свободного человека, а не циника. Цинизм же, как ни странно, начинается не со скomorошеского самораспятия, которое сплошь и рядом демонстрируют публике постмодернисты, а с уверенного полагания норм и порядков, пренебрегающих живым и постоянным процессом становления нравственных ценностей, известных, как будто бы, и даже якобы исповедуемые нами уже вторую тысячу лет.

«Я мечтал сойти с ума».

Этой фразой завершается книга Виктора Кривулина «Концерт по заявкам». Удалось ли поэту воплотить свою романтическую мечту? Достаточно ли его книга «ненормальна»? Как ответит на эти вопросы читатель, утративший, наконец, свою духовную анонимность?..

Виктор КРИВУЛИН

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ В ЭССЕИСТИКЕ ИОСИФА БРОДСКОГО

1.

Свои эссе Иосиф Бродский пишет по-английски. Он пишет о литературе и по преимуществу о литературе русской, имея в виду западного читателя, в первую очередь англоязычного, а если точнее — читающего американца. Литературные портреты русских писателей, созданные им за два десятилетия жизни на Западе, образуют что-то вроде архитектурной неоклассической конструкции, которая по своему устройству и ранжиру (бюсты великих людей — шеренгой — в просветах между ионическими колоннами с видом на английский парк, имитирующий естественные ландшафты) напоминает пропорции царскосельской Камероновой галереи, служившей в течение 200 лет неиссякающим источником поэтического вдохновения для целого сонма российских поэтов — от Державина до Ахматовой.

В этом музеефицированном словесном пространстве Иосиф Бродский чувствует себя одновременно и экспонатом, заслуживающим самого пристального рассмотрения, и гидом, который в совершенстве овладел иностранными языками. Его излюбленный литературно-критический жанр — предисловия к английским переводам русских классиков. Это, разумеется, не единственная, но все-таки наиболее предпочтительная (если судить хотя бы по количеству материалов) форма эссеистической деятельности Бродского и, может быть, именно потому, что здесь он имеет дело с переводами.

Отношения перевода с оригиналом, неизбежные инциденты на границе между сопредельными языками и культурами, литературными жанрами и родами человеческих занятий — все это сводится к проблеме *Перевода*, которую Бродский воспринимает метафизически. Возможность (или принципиальная невозможность) поэтического перевода — как особой сферы понимания — остается главной нотой большинства его критических заметок, будь то развернутый анализ одного стихотворения Марины Цветаевой или лаконичное предисловие к сборнику ее прозы, краткое послесловие к платоновскому «Котловану» или обстоятельный рассказ о встрече с Исайей Берлиным, беглая характеристика Достоевского или лирический очерк поэзии О.Мандельштама.

Проблема перевода для Бродского, очевидно, относится к числу самых сокровенных, интимных. В отличие от столь почитаемого им Манделъштама, который в тридцатые годы с ужасом отшатнулся от одной лишь возможности «быть переведенным» на другие языки («И, может быть, в эту минуту/ Меня на турецкий язык/ Японец какой переводит/ И прямо мне в душу проник...») или «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть/ Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить...»), Бродский рассматривает перевод как фундаментальный принцип мировой цивилизации, действующий в сопряжении с понятием жертвы т.е. способности к самопожертвованию, ограничению эгоцентрических амбиций и претензий посредника. Для него, поэта маргинального, вынужденного каждодневно кусать зубами стекло, искушая чужие наречия, «взаимопереводимость» культур приобретает некое нравственное, экзистенциальное, стоическое измерение, становится едва ли не самой уязвимой и болезненной точкой его поэтического универсума.

Пронзительное, тонкое, в чем-то даже нежное эссе «Сын цивилизации» завершается почти фистулой – неожиданно язвительным пассажем, который адресован англоязычным переводчикам Манделъштама. В голосе современного поэта звучит нескрываемое раздражение и обида – не столько даже за Манделъштама, английские переводы которого вовсе не убеждают читателей в том, что перед ними действительно большой поэт, сколько за русскую литературу, оказывающуюся по милости недобросовестных интерпретаторов в положении двойственном, и, естественно, за судьбу собственной поэзии, лишенной достойного ее английского эха: «Русская поэзия вообще и Манделъштам в частности не заслуживают того, чтобы с ними обходились, как с бедными родственниками... Но не беспокойство за престиж Манделъштама или России заставляет содрогаться от содеянного с его строками на английском: скорее – расхищение англоязычной культуры, упадок ее мерил, уклонение от духовного вызова».

Последние слова могли бы принадлежать неистовому консерватору Константину Леонтьеву – странное интонационное родство, но оно проливает свет на «ребяческий империализм» литературных характеристик и моральных оценок, исходящих из-под пера Бродского-критика. Чувство самосохранения заставляет его постоянно подчеркивать свою дистанцированность от объекта анализа (позиция классициста), но, с другой стороны, романтик Иосиф Бродский, и под маской критика оставаясь поэтом, отчетливо сознает необходимость катастрофической приближенности к предмету интерпретации – сознает ее как важнейшее условие для понимания Другого.

Удивительно, что его литературные портреты, несмотря на неизменно декларируемый им персонализм, как бы безындивидуальны, надличностны, абиографичны. Это, скорее, антропоморфные аллегорические изваяния проблем, стоящих перед современной литературой, перед самим поэтом, нежели конкретные человеческие фигуры с неповторимыми жизненными изломами. Нам предлагается созерцать совершенные и словно бы безжизненные мраморно-прекрасные лица, забывая о том, что время не может не оставить на их поверхности неизбежные изъяны — пятна, потертости, крокелюры, трещины и т.п.

При этом нефилологу Бродскому нередко удается то, что стало бы предметом профессиональной гордости для любого историка литературы, который вынужден опираться только на конкретные факты, биографические и историко-психологические реалии: в своих портретных композициях Иосиф Бродский добивается поразительного внутреннего сходства с оригиналами.

За счет чего? как? Не исключено, что именно устойчивая, хотя и двусмысленная ситуация медиума, посредника между двумя культурами и между двумя способами мышления — поэтическим и научным — позволяет ему удерживать опасный баланс, равно избегая и спекулятивной самоуверенности дилетанта, и интеллектуальной робости честного исследователя.

Этот баланс был найден не сразу. Чтобы убедиться, достаточно сравнить один из первых опытов Бродского в литературно-историческом жанре — послесловие к «Котловану» Андрея Платонова (1973) — и позднее эссе «Исайя Берлин в 80 лет» (1989).

2.

Короткая, написанная еще по-русски, а не по-английски заметка о Платонове была, вероятно, своего рода пристрелкой, первой реакцией поэта на смену среды обитания и, соответственно, на различие представлений о функции стихотворца в российской и в западной культурах: то, что в России считалось высшим проявлением человеческой универсальности, в Америке нашло убежище лишь на лужайках университетских кампусов, где от поэта, помимо умения писать стихи, требуется еще и определенная степень рефлексии, некоторые филологические и пропедевтические навыки. И Бродский как бы поневоле, «по долгу службы» становится автором историко-литературного текста.

В новой для себя роли он честно старается держаться в академических рамках избранного жанра, что, впрочем, не вполне удается ему. Черты аутодидактизма проступают сквозь традиционную для пояснительной

статьи композиционную схему (биография и проблематика анализируемого автора, место данного произведения в контексте его творчества, отношения с предшественниками и современниками, влияние на потомков, стиль и язык и — в случае перевода — оценка труда переводчика). Эта схема в заметке Бродского серьезно деформирована. Бродского не интересует библио- или биография Платонова — он обходится без них. Его занимают вещи более общие, глобальные, величественные.

Тон послесловия безапелляционно назидателен, предельно серьезен, мрачно-приподнят, а тот гипотетический читатель, к которому обращается Бродский, видится поэту неким метафизическим двойником, собственной англоязычной тенью, способной пережить встречу с книгой (в данном случае — с «Котлованом») как нравственно-языковую душевную революцию. «Котлован» — произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время». Пожалуй, только от героев Достоевского — скажем, Ивана Карамазова, Шатова или Кириллова — не странно было бы ожидать столь радикальной реакции (здесь, кстати, нельзя не обратить внимание на излюбленные Бродским императивные вербальные формы — «отменить», «объявить»). Но именно такого читателя-максималиста постоянно держит Бродский в поле своего мысленного зрения, начиная карьеру американского критика и эссеиста. Концепт такого читателя, наделенного волей к словесной власти над жизнью, явился на Запад из-за железного занавеса вместе с поэтом, изгнанным из пределов русскоговорящей империи, где традиционно значимость слова едва ли не превосходила значение конкретного действия.

Читателю-радикалу предлагается строго заданный, определенный эмоционально-смысловой ключ прочтения «Котлована» — и ни слова о судьбе книги, ни слова о ее сюжете. Намечена только одна, хотя и важнейшая для самого поэта тема: язык Утопии, языковое оформление идеи радикального переустройства мира. Писатель, превращенный в языковую функцию трагической эпохи, не может быть трагическим героем. Как герой он не интересен. Не интересен апологету его художественной продукции — его прозы. И тем не менее суть платоновской прозы схвачена, выделен как бы ее идеолого-лингвистический экстракт, обнаружена ее платоническая, надличностная подоснова.

Победителей не судят, а Бродский ведет себя и с гипотетическим читателем, и с Андреем Платоновым, как победитель с побежденными.

Он может позволить себе быть некорректным, вызывающе-грубым. Чего стоит, например, его резко полемический выпад против тех современников Платонова, которые в 70-е годы были известны западным славистам гораздо лучше, чем автор «Чевенгура» и «Котлована» — «Бабеля, Пильняка, Олеси, Замятина, Булгакова, Зощенко, занимавшихся более или менее стилистическим гурманством...». Усилить роль «своего» автора, унизив, слегка «притопив» соседствующих с ним, — прием слишком уж лобовой, недозволенный, хотя и широко распространенный в отечественной критике как раз того времени, когда Платонов работал над «Котлованом». И Бродский это отлично осознает. Он вовсе не намерен скрывать свой литературный империализм, он продолжает культивировать в себе ту же самую культурологическую агрессию и непримиримость, что давала ему силы противостоять давлению наглой и властной среды, тотальному императиву, который определял все человеческие и литературные связи в советском обществе.

3.

Но после пересечения государственной границы СССР, он оказался брошенным в иную систему отношений, а русский язык, главная ценность, какую вывез с собой поэт, даже в этой новой, иной системе координат продолжал оставаться языком великой империи, и лишь потому, лишь потом — языком великой литературы. Принять плюрализм западного общества, сохраняя при этом категоричность и жесткую иерархию оценок, постоянно провоцируемую самим строем имперского языка, означало бы для Бродского обречь себя на пожизненную шизофреническую раздвоенность между внутренней — поэтической, строго ранжированной речью и несравненно более приспособленным к условиям планетарной демократии английским языком с его гипертрофированной коммуникативной функцией.

С другой стороны, неприятие плюралистической модели было бы для Бродского подлинной интеллектуальной катастрофой: от Солженицына, Зиновьева, В.Максимова или Синявского его отличает наметившийся еще на родине сильный «средиземноморский акцент», мечта о планетарной цивилизаторской норме, о мандельштамовском «месте человека во вселенной». По сути, все та же старомосковская мечта о «Третьем Риме», которая, впрочем, не способна уже локализоваться в пределах русскоязычного культурного ареала, но настойчиво ищет для своей реализации иные языковые пространства.

Современный Рим — это Америка, нынешняя латынь — английский. Опыт этого языка, сам строй которого ориентирован на персонализм,

на идею автономной и самоценной личности, не может быть адекватно трансферирован в область русской поэзии — вот печальный, возможно, даже трагический итог настойчивых попыток Бродского найти некий общий знаменатель для поэзии англо- и русскоязычной. Неожиданным выходом стала эссеистика, создаваемая на английском языке, но использующая материал русской литературы.

По-английски Бродскому легче писать о тех, кого он любит, с кем его связывают отношения личные, эксклюзивные, но не интимные, а преломленные, естественно, через призму литературных, книжных, ритуально-культурных контактов. Это, прежде всего, отношения с предшественниками и учителями — Мандельштамом, Ахматовой, Цветаевой, Исией Берлиным.

Литературный портрет Исией Берлина исполнен блистательно, это несомненная удача Бродского, хотя в основе очерка лежит тот же прием, который присутствует практически во всех прозаических работах поэта — как русско-, так и англоязычных: перед нами снова пластическая аллегория общей идеи, портрет проблемы, а не личности. Но и сама проблема — защита плюрализма, персоналистской системы ценностей, — и соответствующее ей англоязычное выражение придает даже отвлеченным и умозрительным конструкциям Бродского оттенок самоиронии, граничащей с самоуничижением. Английский язык дарует ему невозможную на русском свободу самооценки, способность взглянуть со стороны на тот имидж великого и серьезного русского поэта-неоклассика, который культивировался им в течение десятилетий. Бродский словно бы увидел себя глазами Исией Берлина — и в этом взгляде симпатия неотделима от иронии, от старческой мудрой иронии, неизбежной при встрече с самоуверенностью молодости, при столкновении свободной мысли, не отягощенной профессиональными или идеологическими ярлыками, с эгоцентризмом, присущим любому крупному поэту.

«Нижеследующее — ... всего лишь дань простака вышестоящему уму, у которого он целые годы учился тонкости мысли, но, похоже, так и не выучился...». Пародийный тон этих слов отдает старческой горечью, словно мы слышим голос самого Берлина, но слышим его искаженным, переведенным из прямой речи в косвенную. Бродский здесь выступает как переводчик, сознательно идя на жертву, на самоограничение, на приглушение голосовых регистров, свойственных ему самому. Интересно, что при довольно-таки неуклюжем обратном переводе (Г. Дашевский) с английского на русский комизм этой фразы усиливается, канцеляризм простиупает рельефнее и вызывают недоумение. И еще: поражает, насколько устойчив в сознании Бродского синдром иерар-

хичности — любые либеральные декларации бледнеют рядом со словосочетанием «вышестоящему уму», заимствованным из обихода имперских канцелярий. Видимо, все-таки поэту невозможно до конца освободиться от синдрома иерархичности, в противном случае рухнет вся поэтическая система, не столько даже выстроенная, сколько выстраданная Бродским.

Эта иерархичность защищает от хаоса — как огромная, «из кожи и красного дерева раковина клубной библиотеки», куда шестидесятитрехлетний сэр Берлин пригласил только что приехавшего из России тридцатидвухлетнего поэта. И место встречи, и непреодолимое, почти неприличное различие в возрасте (а также общественном положении) собеседников для Бродского существенней, чем предмет их беседы, поскольку впервые, наверное, он ощутил физически уют староанглийского (и в более широком смысле — староевропейского) порядка, воплощенного в иерархическом строе книжных полок, в солидном возрасте и положении немногих завсегдаев этого традиционного британского клуба, чудом перенесенного в конец XX века со страниц диккенсовских романов.

Библиотека — вот самое надежное «место человека во вселенной», и вполне реальный Исайя Берлин материализуется здесь из книг, прочитанных Бродским еще в России, из устных преданий, бытовавших в кругу Ахматовой, где юный Иосиф впервые услышал о «британском Энее», чье появление в 1946 году в роли секретаря английского посольства роковым образом отразилось на литературной судьбе его «петербургской Дидоны». Так сплетня переходит в мифологию, а та, в свою очередь, становится литературой, книгами Исайи Берлина — «Четыре эссе о свободе», «Век Просвещения», «Еж и лиса» — чтобы под пером Бродского-эссеиста пережить новый виток трансформации и превратиться в портрет человека, черты которого заставляют вспомнить об анималистических аллегориях, столь распространенных в культуре эпохи Просвещения.

Скептическая философия этой эпохи отпечатлелась в облике Берлина даже физиогномически, по крайней мере так должно быть по логике, утверждающей превосходство книги, упорядоченного мира идей над хаосом чувственной, предметной реальности, — а именно такой логике подчиняется зрительный ряд, выстраиваемый Бродским: он видит только то, что надлежало бы видеть, если бы между человеком и книгой стоял знак тождества: «Теперь я смотрел в это лицо. В дешевом издании «Ежа и лисы», которое Ахматова как-то дала мне для передачи Надежде Мандельштам, не было портрета автора; что до «Четырех статей о свободе», они попали ко мне ...без обложки — предосторож-

ность, вызванная темой книги. Лицо было замечательное, помесь, мне показалось, тетерева и спаниэля с большими карими глазами, равно готовыми и к бегству, и к погоне... Оно было лицом потенциальной жертвы, и мне вдруг стало спокойно».

4.

На наших глазах портрет оборачивается автопортретом. Бродский стремится угадать черты собственной приближающейся старости и найти для нее подобающее место — среди книжных полок. Старость поэт понимает как особую, неотъемлемую от личности форму интеллектуального аристократизма, которая служит лучшей биологической защитой от превратностей «века сего». Опыт царственного, имперского старения Ахматовой, чья тень соединяет старика Берлина и юношу Бродского, вдруг блекнет перед лицом иного образа старости — аристократического дряхления человека, сознательно избравшего для жизни страну, где уважение к свободе личности обогатено уважением к традиции.

Есть в очерке о Берлине еще один скрытый автобиографический мотив — тема еврейства. Ведь сэр Исайя Берлин не англичанин по рождению и по крови. В Англии он иммигрант, еврей из Риги, воспитанный на русской культуре. Его лордство — следствие целенаправленной культурной работы, результат его интеллектуальной активности, а не родовой преемственности.

Перед Бродским — образец жизненного выбора, очень близкий его собственной экзистенциальной ситуации, и образец в чем-то недостижимый. Хотя бы в том, как естественно чувствует себя Берлин, окончивший Оксфорд, в пределах староевропейской культуры, как свободно владеет он неродным английским. Эта-то возможность изначально трагически упущена Бродским, и поэтому вожденная Англия Берлина закрыта для него навсегда: здесь он никогда не займет места, подобного тому, какое занимает Берлин.

Боль и обида на судьбу звучат в последнем эпизоде очерка — обида уже нескрываемая — метафизическая, специфически еврейская обида, которая, вероятно, и стала мощной движущей силой, заставившей Бродского, во-первых, избрать для жизни Америку, где оксфордская укорененность в элитарной среде и в традиционной европейской культуре не является гарантией успеха, и где высокая степень владения языком не рассматривается как неперемное условие аристократической принадлежности к культурной элите; а во-вторых, настолько глубоко внедриться в английский язык, что кто-то из моих скандинав-

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

ских знакомых, рассказывая о выступлении поэта, кажется, в Финляндии, обронил несколько раздраженную фразу: «...и тут Бродский, со своим оксфордским английским, вдруг заявляет...».

В заключение я хочу привести финальный абзац очерка о Берлине целиком. Мне кажется, он почти не нуждается в комментариях и служит великолепной иллюстрацией ко всему тому, о чем говорилось в этих фрагментарных и беглых заметках:

«Уистан (Oden) спросил: «Ну, как все прошло с Исайей?». И Стивен (Spender) сразу же сказал: «А что, он действительно хорошо говорит по-русски?». Я начал, вам **изуродованном** английском (*выделено В.К.*), долгий рассказ о благородстве **старопетербургского** произношения (*выделено В.К.*), о его сходстве с **оксфордским** самого Стивена (*выделено В.К.*), и что в словаре Исайи нет противных сращений советского периода, и что его речь совершенно индивидуальна, но тут Наташа Спендер прервала меня: «Да, но он говорит по-русски так же быстро, как по-английски?». Я посмотрел на лица этих трех людей, знавших Исайю Берлина дольше, чем я успел прожить, и засомневался, стоит ли продолжать мои рассуждения. Решил, что не стоит, и ответил: «Быстрее».

Для неспециалистов: особенностью старопетербургского произношения является четкость артикуляции в сочетании с плавным неторопливым темпом речи. Так говорила Ахматова.

ГРАНИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В октябре 1993 года редакцию «Вестника новой литературы» посетил гость из Соединенных Штатов Александр ГЕНИС, известный литературный критик, журналист «Радио Свобода», член жюри Букеровской премии. В разговоре о проблемах современной русской литературы, сокращенный вариант которого мы и предлагаем нашим читателям, приняли также участие писатель Михаил БЕРГ и критик Михаил ШЕЙНКЕР.

Михаил Берг. Как мне представляется, наиболее важной особенностью современной русской литературы является то, что это — литература со снятыми барьерами. Что я имею в виду? Еще 5-7 лет назад литература была совершенно отчетливо разделена на несколько подлитератур, и, определяя того или иного писателя, всегда следовала оговорка: это писатель эмигрантский, советский или неконформистский.

Сейчас положение принципиально изменилось. Старые границы исчезли, в одном и том же издании могут появляться произведения писателей, некогда принадлежавших к разным лагерям, но вместо политических и географических границ проступили границы эстетические, естественно, более размытые и трудно фиксируемые.

Существование литературы со снятыми барьерами напоминает мне ситуацию двадцатых годов нашего века, когда в одной квартире оказывались прописаны и водопроводчик, и бывший граф, и управдом. Как теперь обложка журнала, так и в 20-х годах коммунальная квартира объединила принципиально разные, порой враждебные культурные традиции и обнажила целый ряд проблем, важнейшими из которых стали: проблема идентификации и сосуществования.

В связи с этим я вспоминаю разговор, который состоялся у меня лет пятнадцать назад с Лидией Яковлевной Гинзбург. Говоря о стихах одного известного поэта, Лидия Яковлевна сказала: «Знаете, сейчас много пишут стихов, возможно они хорошие, но я не знаю, как к ним относиться». И уточнила: «В мое время сначала появлялся литературный манифест, представлявший собой ключ к критерию, а затем произведения, которые открывались с помощью этого ключа». Мне, уверенному как раз в обратном и несомневающемуся, что любой настоящий поэт всегда выше, шире и глубже школы, которую он представляет, трудно было с этим согласиться. Однако теперь я понимаю, насколько в переломные для литературы моменты важно уточнение понятий.

Перед нами сегодня совокупность текстов, написанных в совершенно разных традициях, которые печатаются в одних и тех же журналах. Современный литературный процесс похож на вещевой мешок (не чемодан, где все уложено аккуратно, а именно вещевой мешок), из которого вынимается то одно, то другое, всегда немножко помятое, всегда с ощущением того, что это уже было как-то использовано, всегда с подозрением, что это как бы с чужого плеча. Многое вызывает недоумение, растерянность и у литературной критики (которая оказалась абсолютно беспомощной определить как границы, на которые литература разделилась, так и критерии, которые нужно применять для оценки того или иного текста), и у читателя. И то, что широкий, массовый читатель отхлынул от литературы, связано, как я полагаю, не только с экономическими причинами и тем, что ему не до литературы как таковой, но и с тем, что он не знает точно, как к этому положению отнестись, а литературная критика помочь ему в этом не может.

Эту проблему — проблему существования в современном литературном процессе совершенно отчетливых, и в то же время — не выявленных на вербальном уровне границ и отсутствия критериев, которые позволили бы точнее представлять, с чем, собственно, мы имеем дело, — я и хотел бы предложить для разговора.

Александр Генис. Я с большим интересом выслушал ваше вступление, поскольку вы описали проблему примерно так, как я себе ее представляю и примерно так, как она меня интересует. Генеральная проблема современной отечественной не только литературы, а шире — культуры: это проблема границ. Она существенна не только для русской культуры, эта проблема, как мне кажется, — самая главная сейчас вообще. Дело в том, что с концом холодной войны исчезла граница как таковая. Раньше все знали, где проходит линия фронта, теперь ее нет. Теперь появилось сто пятьдесят с лишним стран и они продолжают дробиться. Таким образом, границы перемещаются, и их становится больше, они становятся подвижными, зыбкими. Вся наша культура (вся в целом — вся человеческая культура) становится культурой пограничной. Мы все живем на границе, гораздо ближе стали к фронтовой полосе. И мне представляется важным знать, как вести себя на границе. Очень важно нащупать границу, ее определить, ее найти, ее осознать.

Мне не кажется, что (вы говорили об этом) раньше культурные слои были четко отграничены между собой. Они были отграничены, но не по литературному или эстетическому принципу, а по социально-политическому и идеологическому. Как «холодная война» — в мировом масштабе, в геополитических соображениях, так и литературная борьба

(уже как чисто советский феномен) существовала в пределах границ социально-политических. Очень просто было определиться. Собственно говоря, кто «наш», а кто «не наш» знал каждый. Критерием служили чисто политические обстоятельства. Я думаю, что тоска по внятной «границе» даже в политической жизни все время проявляется. Вот, например, события последнего путча можно трактовать еще и так: это тоска по определенности, когда можно было разделить общество на две части; не на три, не на шесть, а именно на две. И оно послушно разделилось, дав таким образом возможность выбирать между добром и злом. Ужасно и печально, когда надо выбирать между двумя видами добра или двумя видами зла. Между добром и злом выбирать гораздо проще. Вот эта тоска реализовалась в кровавых событиях в Москве. Можно ведь и так понимать эти вещи. Поэтому культура шестидесятилетняя (а таковой я считаю всю культуру, существовавшую до конца Советского Союза) была исключительно политизированной. Вне зависимости даже от утверждений ее авторов. Поскольку чистая эстетика, эстетика ради эстетики, ради Бога, литература ради литературы — тоже осмыслялась как политическая позиция. Скажем, Бродский, человек, который был очень далек от политики, уже находился в оппозиции просто в силу своей аполитичности. Таким образом, границы, настоящей литературной границы, не было в те времена. Она появилась только сейчас. И, мне кажется, эти эстетические границы связаны с тем, что появилось новое поколение в литературе. Поколение постсоветское. Мне представляется самым важным рубежом — рубеж между советской и постсоветской литературой.

Что же это за граница — между двумя поколениями? Сейчас происходит очередная схватка между «отцами и детьми». Но на этот раз она протекает в особо запутанной ситуации, поскольку «отцы» существуют на культурной арене уже по крайней мере лет тридцать: это шестидесятники, которые шли к власти долго, мучительно, страдая, и поэтому им особенно трудно с ней расставаться. Беда в том, что шестидесятники как литературное поколение — одно из самых долгих за всю историю русской литературы. Оно определило всю эстетику на тридцать лет. И это, конечно, очень много. То есть, в принципе, шестидесятники — это шишковые, которые «засиделись». Трагедия шестидесятилетней культуры заключается в том, что она перезрела. И это, в частности, характеризуется картиной последней Букеровской премии, в которой я принимал участие. Та шестерка, которая была сформирована здесь, в Санкт-Петербурге, очень хорошо отражает ситуацию в литературе: она частью шестидесятилетняя... частью советская, например, роман Астафьева, частью — постсоветская. И та, советская ее часть, меня никак

не устраивает. Она мне кажется постскриптумом к советской литературе, а не эпилогом ее, и в качестве таковой она просто не нужна.

Где же проходит граница между советской и постсоветской культурой? Мне кажется, что советская литература — та, которая советскую власть воспринимала, как Васисуалий Лоханкин: она думала — то ли с ней жить, то ли с ней бороться, то ли жить без нее (это была постоянная проблема: принимать или не принимать советскую власть), — в общем, за этими проблемами, которые именно с Васисуалия Лоханкина начались и продолжались все эти годы, а теперь остались без советской власти, утрачен смысл всех этих споров. Постсоветская литература представляется мне той, которая глубоко укоренена именно в советской жизни. Советская жизнь осталась после советской власти и останется, потому что советская жизнь — это есть форма русской жизни. И поэтому эти литераторы не рассматривают советскую жизнь как проблематичную. Она не проблематична. А вопрос заключается в том, как эту укорененность в советской жизни перенести в постсоветскую эпоху.

Таким образом, на долю постсоветской культуры выпала тяжелейшая задача, а именно: срастить дореволюционную Россию с постсоветской Россией через советскую культуру. То есть восстановить распавшуюся связь времен. Мне кажется, что именно этим сейчас и занимаются самые талантливые авторы постсоветской литературы. Они ищут границу, где проходит «советское» и «не советское», где ощутима максимальная разница. И если шестидесятники эту границу понимали в самом прямом смысле как государственную (и я отношусь к этому же поколению), и именно поэтому столько шестидесятников осталось за границей, то представители постсоветской культуры рассматривают ее как единственно возможную для себя и крайне интересуются самой границей, ее возможностями: эстетическими, художественными, культурными, культурологическими и метафизическими.

Таким образом, возможно существование новой постсоветской культуры, которая откроет новую тему, а именно: метафизику «совка», психологию «совка», то есть, что-то такое, чего никогда не было. На этом можно построить новую культуру, которая будет иметь мировой резонанс в силу того, что она вносит некий новый вклад в современную постмодернистскую культуру в целом, ибо остраненная советская культура есть, несомненно, некий постмодернистский феномен, изучая который можно прийти в мировое культурное сообщество с другой (а именно — с восточной) стороны. То есть можно пятиться в «окно в Европу» и влезть в него задом.

Такие писатели уже есть, такая культура уже существует, создается. Я как критик ставлю на троих писателей, которые мне представляются

наиболее перспективными сегодня, которые работают именно в том направлении, о котором я говорил. А именно: это Владимир Сорокин, который занимается метафизикой «совка»; это Виктор Пелевин, который занимается богословием «совка»; и Дмитрий Галковский, который занимается психологией «совка». Вот это — три человека, которые, на мой взгляд, достойно представляют постсоветскую литературу и являются авангардом именно в этом смысле.

Тут вы еще затронули одну очень интересную тему о проблемах массовой культуры. Дело в том, что все эти писатели — как раз писатели глубоко массового характера. Это отнюдь не тот элитарный авангард, каковым он был в шестидесятые годы. Тот авангард заранее был задуман как «литература без читателя», жил в подполье и не рассчитывал на широкого читателя. Эта, постсоветская, литература появилась уже в других условиях, хотя читателей у нее по-прежнему немного (у Сорокина, скажем, не было вовсе), тем не менее потенциально — за ними будущее. Я уверен, что они завоюют широкого читателя, потому что они небезразличны к нему. И это делается не из страсти конъюнктуры, а исключительно из соображений поэтики, поскольку постмодернистская поэтика в основе своей построена на союзе с массовой культурой: она всегда будет нуждаться в массовой культуре, я написал, впрочем, отдельное исследование, доказывая этот тезис.

Мне кажется, что подтверждением его является все творчество Виктора Пелевина. Меня не удивит, если в ближайшее время будет снят фильм по его книгам. И думаю, что это можно было бы сделать весьма успешно. Ситуация мне представляется перспективной. Проблема в том, что мы живем в компромиссное время, время между прошлым и будущим; настоящего нет вовсе: настоящее — это сплошной компромисс, и этот компромисс — мучительный (привычный, но все равно мучительный). Вот мои соображения по этому поводу.

М.Б. Хотел бы с вами поспорить. Возьмем ситуацию с Виктором Астафьевым. Можно задаться парадоксальным вопросом: нужно ли изобретать велосипед? Или, применительно к нашим условиям: стоит ли усовершенствовать телегу, если есть автомобиль? Кажется, вроде бы, — нет. А если на этих телегах продолжают ездить? Если существуют местности, где можно проехать только на телегах? Тогда, оказывается, можно и нужно усовершенствовать и телегу. Мы живем действительно в невероятно странное время. И как всегда очень похожее на то, которое уже было. Вспомним опыты Бахтина, исследовавшего прозу Достоевского. Впоследствии они были обозначены Бахтиным как прием полифонии. Речь шла о существовании (и сосуществовании) в одном

произведении нескольких разных языков, принадлежащих одному и тому же корню, но по сути дела настолько различных, что порой говорящие на этих разных языках друг друга не понимают. Похожая ситуация присутствует сейчас в современной русской литературе. Перед нами разноречивые, порой непересекающиеся традиции, каждая из которых, на самом-то деле, имеет свою опору, свой фундамент в реальной жизни. Сейчас модно упрекать шестидесятников и поддерживающие их толстые журналы в том, что эти шестидесятники, захватив лидерство в центральных журналах, продвигают преимущественно шестидесятническую литературу. Но ведь это естественно.

Не только литература, но и читатели (реальные читатели реальной современной литературы) разделены барьерами и невидимыми границами, о которых я уже говорил. Существуют читатели, для которых литература представляется, прежде всего, правдоискательской, бытоописательной, социально обостренной, с искренностью и слезой в голосе и, как говорится, с болью в сердце. Литература, которая представляет из себя явно усовершенствованную телегу. Виктор Астафьев, какой-нибудь Рыбаков или Гроссман — это все, на самом деле, «модернизированная телега». Но она потому и пользуется успехом, эта литература, что на телегах еще очень многие ездят.

Другой разряд литературы — он может быть проиллюстрирован еще одним финалистом вашей Букеровской премии, Маканиным. Это — постшестидесятники, но уже иного покроя, скажем, шестидесятники, которые ездят на велосипедах. Мое сравнение вроде бы провоцирует на снисходительное осуждение: как можно ездить на велосипеде, когда «нормальные люди» давно уже освоили машину, да еще с передним приводом? Мол, все дело в том, что кто-то отстал и так и не научился управлять машиной. Ну, а если существуют дороги, по которым можно проехать только на велосипеде, то что можно противопоставить читателю, требующему, чтобы ему был предоставлен хороший усовершенствованный велосипед?

Правда, все было бы проще, если б дорожное движение в литературе было строго обозначено: скажем, есть дороги с грунтовым покрытием, по которым ездят телеги, есть велосипедные дорожки для велосипедистов, и скоростные магистрали, по которым летят современные лимузины. Свообразие нашей ситуации заключается в том, что все ездят по одной и той же дороге и, в некотором смысле, мешают друг другу, потому как отсутствует какая бы то ни было система опознавательных знаков. И вот здесь мы упираемся опять в тот вопрос, с которого я начал, и который кажется мне самым важным.

Как мне представляется, нельзя сводить вопрос границы к проблеме границы только между советской и постсоветской литературой. Как нельзя сводить проблему границы к проблеме границы между отцами и детьми или границы между шестидесятниками и восьмидесятниками. Может быть, имеет смысл говорить о вещах, более метафизически углубленных. И вернуться к разговору о самых простых (и как всегда — самых сложных) вещах: что, собственно говоря, представляет из себя произведение? Почему мы оцениваем одно произведение как современное, другое — как архаическое? Почему одно произведение оправдывает наши ожидания, другое — обманывает? Здесь я собираюсь опереться на одно известное высказывание Бориса Гройса, которое я полностью приводить не буду, но смысл его заключается в следующем: настоящая литература — это свидетельство. То есть любое произведение представляет собой некий окуляр, оптическую систему, в объективе которой находится либо реальность, либо мнимость. И вот тогда, если переформулировать или, точнее, переартикулировать эту проблему, оказывается, что мы имеем дело одновременно с литературами, которые предъявляют нам и реальность, и мнимость. Причем речь в данном случае идет не о результате, то есть о таланте (результат — это талант): талантливый писатель как раз может быть традиционным, а авангардист очень часто бывает бездарным, — но об инерции, заставляющей делать следующий шаг. О том, что называется «воздухом» литературы, ее литературном фоне. И должен сказать, что меня очень смущает ситуация «вещевого мешка», или коммунальной квартиры. Наша литература полна призраков, и почти никто не может толком объяснить, чем призрак, мнимость, отличается от реальности. Недаром еще одним весьма распространенным образом современной литературы (или, точнее, наших «толстых» журналов) — стала «братская могила». И потому отнюдь не празден вопрос: а, собственно говоря, жива ли та литература, живо ли то произведение, которое нам представляют как современное? И, в частности, современно ли оно? Да и что такое «современное произведение»? Почему мы бесконечно должны топтать по целине и впотьмах, все время все начиная сначала и как бы делая вид, что кроме нас никого нет, и, как следствие, никаких способов осмысления современной литературы не существует.

А.Г. Я отвечу. И постараюсь коротко. Что главное я выяснил из совпадения наших взглядов? Что нужнее всего литературному процессу критика. Это уже хорошо: мы как бы себя определили. Вы все время говорите про бакены, про дорожные правила... Я с вами совершенно согласен в том, что отчаянно отсутствует (постсоветская литература уже

есть, но нет постсоветской литературной критики) постсоветская литературная мысль. Это вещи, которые существуют отдельно, сами по себе. И этого страшно не хватает как раз толстым журналам, которые отнюдь не являются ретроградными и отсталыми: они, как вы правильно сказали, печатают все подряд, но при этом они не видят особой разницы. В связи с этим происходит чудовищное, я бы даже сказал, уголовные неприятности с критикой. Например, опубликован сборник рассказов Сорокина, аннотацией к которому служит такая фраза (издатели снабдили книгу аннотацией): «Сорокин описывает, казалось бы, сюрреальные ситуации, но на самом деле советская жизнь еще хуже». Издатель настолько уверен, что Сорокин – это Солженицын, что Сорокин продолжает Солженицына, что он даже не может представить себе другой литературы. Мы (критика как таковая, поэтому я и говорю «мы») чудовищно отстали от всего литературного процесса, и поэтому происходят подобные курьезы.

Что касается «усовершенствованной телеги», то я думаю, что судьба этих телег абсолютно незавидна. Им не выдержать конкуренции с западными бестселлерами, в массовом количестве переведенными сейчас в России. Супермаркетовая литература, которая сейчас лежит на каждом углу, – она ведь для того и написана, чтобы удовлетворить запросы читателя на телеге. Это – вагонное чтение, сделанное обычно (правда, говорят, здесь очень плохо переводят) на Западе на отменном уровне большими мастерами своего дела, гораздо большими, чем, скажем, Астафьев или Рыбаков, которые пишут, для начала, слишком толстые книги и плохо владеют фабулой, обязательно вставляют длинные описания природы, которые списывают друг у друга и все вместе – у Тургенева. Я специально сейчас смотрел, что в метро читают? Конечно же: «Джон заходит к Питу». В книгах нет ни одного русского имени. Нам не выдержать конкуренции с западом: нужно основывать традицию своего бестселлера. Я уверен, что она будет освоена, но уже не этими писателями, которые привыкли, борясь за свободу, к тому, что сам факт борьбы снабдит их читательским сочувствием. Так что, телега... – в ее будущее я не верю.

Что касается коммунальной квартиры... Братская могила и коммунальная квартира – разные вещи. Коммунальная квартира как таковая – весьма плодотворное поле для культуры именно в силу того, что она позволяет сочетать все и вся. Тут бы я напомнил одну интересную мысль Солженицына: ГУЛАГ позволил перемешать богатых и бедных, умных и глупых, образованных и необразованных так, как ничто другое. Коммунальная квартира – это и есть прообраз лагеря. И сам факт смешения, сам факт того, что в одной квартире живет гимназистка и

чекист, создает необычный культурный феномен. Это, собственно, и есть инструмент возникновения настоящего массового общества, к которому мы неизбежно все придем. Так что коммунальная квартира представляется мне с точки зрения культуры плодотворной и интересной величиной, которая любопытным образом освоена тем же Владимиром Сорокиным, являющим «коммунальную квартиру» стилям. Надо сказать, правда, что эти стили у него становятся «братской могилой», потому что каждый новый стиль убивает предыдущий.

Еще я хотел прокомментировать ваши слова о том, что писатель — свидетель... Гройс имеет в виду свидетеля как лингвистическую объективность. Он представляет себе, что язык, помимо воли создателя, отражает ситуацию. Но это — позиция историка. А мне кажется, что литературное произведение призвано выполнять совершенно иные функции.

Многие годы, столетия или, во всяком случае, весь девятнадцатый век, мы жили со знанием того, что есть реальность, которую нужно отражать или исказить. Двадцатый век уничтожил не объект, а субъект. Мы впервые узнали о себе — что субъект и объект весьма относительные понятия, поскольку субъект сам по себе разваливается, — что мы не знаем себя, мы не знаем, кто мы такие, что мы отражаем. И вот в ситуации развалившегося субъекта исчезло понятие реальности. Реальность провалилась, исчезла куда-то, затерялась. Как только мы поняли, что реальности нет и нам ее не видать, как своих ушей, изменилась ситуация в литературном творчестве. Уже бессмысленно говорить, что оно что-то отражает. Понятно, что оно ничего не отражает, потому что реальности нет. Мне кажется ключевым тут высказывание Набокова, которое определило постмодернистскую мысль на следующие пятьдесят лет. Он сказал, что реальности нет, но с каждым шагом мы идем к реальности. Это не значит, что мы ближе к ней, но хотя бы мы идем к ней. Ходьба — это и есть литература. Литература, книга, представляется мне машиной по освоению реальности. Каждый раз мы поднимаемся на другую ступень реальности. Хорошо, если поднимаемся, плохо, если опускаемся. В любом случае мы должны двигаться. Таким образом, литература не является удовлетворением читательского спроса, а является машиной. Так же, как машина, которая изготавливает электричество, помогала «освоить» молнию, книга помогает освоить реальность. В этом смысле литература, — даже если ее не будут читать, то сам процесс писания, — создает (воссоздает) эту ситуацию. Вот этим и занимается постмодернизм, который я понимаю в самой широкой трактовке, как комплекс концепций, выходящих за пределы отражения/искажения реальности.

Все, что было после реализма и модернизма, является постмодернизмом, и таковым оно будет на ближайшее обозримое будущее. Здесь, в стране, где с реальностью хуже всего, писательский опыт русской литературы необычайно полезен, важен по той простой причине, что Россия была там, куда идет мир (к идеократическому будущему). В мире искусственной реальности Россия была дольше всех; именно поэтому так интересен метафизический опыт советской жизни. В этом я вижу перспективы русской литературы.

Михаил Шейнкер. Формула Саши мне представляется удачной и, главное, находящейся в преемственности ко многим прежним определениям. Но если мы попытаемся свести то, о чем мы говорим, к условиям функционирования литературы в сознании сначала автора, то есть в предтексте, затем в самом тексте, то есть в книге или в произведении, будь то любой жанр литературы, и затем в читательском сознании, массовом или узком элитарном, — что нам, в общем-то говоря, прежде всего и интересно, — то мы должны будем, наверное, прийти к тому, что, по сути дела, меняется соотношение между формулами шифрующими и формулами дешифрующими, причем меняется на наших глазах.

За исключением крайних ситуаций, которые могут рассматриваться как некие сугубо индивидуальные порывы творческого духа в произведении. А нас в настоящем разговоре в большей степени интересуют не некие полярные и наиболее высокие или низкие проявления литературного процесса, а его продуктивная середина. И если вернуться к шестидесятникам, то следует сказать, что они были людьми, которые предъявили миру, культуре и нашему взору опыт того, как можно жить в реальности, не принимая ее и одновременно ее принимая. То есть — принимая реальность в сознании ее неприятия. Отсюда шестидесятническая литература с ее пресловутыми порывами правды, никогда не договоренной до конца; со столь же условными порывами искренности, откровенности и многими прочими проявлениями этой литературы. Она оказывается литературой, которая прежде всего была привлекательна для читателя потому, что свои несложные шифрующие формулы она в произведениях предъявляла как одновременно и формулы дешифрующие. Читатель, может быть, даже легче обнаруживал дешифрующие приемы шестидесятнической литературы, чем дешифрующие приемы, скажем, в произведениях классиков социалистического реализма.

Для читателя этого круга произведений все с самого начала было очевидным и ясным. Причем ясным до болезненного осознания своей сиюминутной или вечной соприродности с человеком, пишущим

данное произведение. У меня самого это ощущение — не личное ощущение читателя, а ощущение, что я переношусь в сотни, тысячи читателей, прочитывающих, скажем, ту или иную новую повесть Трифонова, — всегда во мне проявлялось содроганием (не моей личной, повторяю, потому что я никогда не читал Трифонова всерьез) соприродности произведения, сотням тысяч читателей, которые его прочтут, и которые мгновенно со сладостным облегчением, с оргастическим, я бы сказал, облегчением, расшифруют то, что он столь отчетливо, столь прилюдно, как некий иллюзионист, раскрывающий природу своего, казалось бы, таинственного фокуса, только что зашифровал и тут же расшифровал.

Эта сладостность шестидесятнической литературы — она, конечно же, держала очень многих читателей в плену своей привлекательности (на мой взгляд, точно так же, как держит в плену привлекательности хорошо сделанная массовая литература Запада): этой своей, на самом деле, предельной простотой результата, предельной простотой механизма, когда вы в отлаженных, хорошо смазанных шестеренках, как в хорошем, прогрессивном автомобиле, едете без всяких затруднений — он как бы едет сам за вас. Это литература, которая везла читателя, практически не требуя от него ни управления, ни изучения маршрута, ничего решительно. На смену этой литературе в наше время пришла литература, которую мы называем элитарной, которую мы называем литературой без читателя (как тот же Сорокин, например), которая не только не расшифровывает, не только не дешифрует свои коды, но, более того, она всеми силами стремится дезориентировать читателя даже и в попытке поиска этих дешифрующих приемов. Не то, что они совсем скрыты, не то, чтобы эта литература эзотерична до конца — вовсе нет. Она просто обманывает читателя: она указывает ему направление поиска совсем не там, где на самом деле эти ключи, эти кнопки находятся.

То есть можно себе представить стену, на которой нарисовано множество фальшивых дверей с абсолютной иллюзорной достоверностью, но, на самом деле, ни одна из них не работает, и реального входа просто нет или он спрятан где-то за торцом этой стены. И конечно же, в этом смысле функция литературной критики очень значительна, но еще значительнее, конечно, и функция самого времени. И я одновременно соглашаюсь и не соглашаюсь с Сашей в его оценке постсоветской литературы как литературы, обладающей этой пресловутой триадой физичности, психичности и духовности одновременно. Эта литература действительно приносит какой-то новый механизм затекстовой, текстовой и посттекстовой работы произведе-

ния. Но к тому времени, когда этот механизм будет окончательно расшифрован, ведь именно эта литература и может стать, по сути дела, массовой литературой, но уже не литературой, открывающей новые пространства понимания и видения мира.

Потом не надо забывать о том, насколько у нашего читателя – среднего и даже достаточно узкого читателя – затруднен путь трактовки литературы. В прошлом году у нас вышел «Улисс» – произведение, на котором, наверное, миллионы читателей просто учились читать, произведение, в котором шифровальная работа художественного, литературного произведения проявлена открыто, но просто в другой системе реалий. Если бы мы представили себе, что у нас существует литература, которая в нашей системе реалий предлагает нам такой опыт, и существует давно, то всего того, о чем мы говорим сейчас, вообще бы не существовало как проблемы. И, между прочим, эта возможность намечалась, скажем, в двадцатые годы, когда Тынянов анализирует неизданные произведения во многих своих маргинальных работах о современной прозе и современной поэзии; он анализирует роман «Мы», где-то мельком упоминает Булгакова (оказывается, он в конце 20-х годов был знаком с каким-то первым вариантом «Мастера и Маргариты»).

Эта ситуация снова возникает, когда Бахтин упоминает Венедикта Ерофеева. Это упоминание сразу более или менее подготовленного читателя ставит в ситуацию большего понимания того, что такое Венедикт Ерофеев (с внешней точки зрения, я имею в виду, потому что: если его Бахтин упомянул, значит это мениппея). Но отсутствие не только продуктивной критики, научной критики и серьезной критики, но какой бы то ни было вообще привело к чудовищному пробелу в развитии элементарного читательского механизма классификации. В других художественных культурах, в культурах других языков и других социальных систем естественно, что вместе с развитием литературы в ее массовых, элитарных, авангардных и всех остальных проявлениях этот механизм развивался естественно, потому что появлялась критика, появлялась рефлекслирующая мысль. У нас же читатель должен был, блуждая в потемках, идти, по сути дела, по пути индивидуального чувственного осмысления шестидесятилетней или подпольной литературы семидесятых годов, которую, скажем, наш журнал пытается представить прежде всего, и наконец, постсоветской литературы.

Все дело в том, что сейчас, казалось бы, существует возможность, этот механизм, до сих пор отсутствовавший или искусственно разрушенный, снова как-то сладить и выстроить. Но меня пугает то, что мы по-прежнему находимся в состоянии иногда комического, а иногда и очень серьезного глубинного противоборства, когда каждая критичес-

кая позиция является не позицией распутывания загадки литературы или загадки искусства (на том уровне, который ей доступен), а все равно продолжает оставаться доказательством того, что алгоритм распознавания образов литературы, которую представляет тот или иной критик, тот или иной журнал, та или иная критическая группировка, — он лучше, он несет на себе некие харизматические черты, в отличие от «бесовских», «бездарных», каких-то еще пятых и десятых проявлений литературы, чуждой тому или иному критику. Потому это происходит, что мы, войдя в область постсоветской (или постмодернистской — как угодно можно ее называть, можно просто сказать «новой») эстетики, совершенно еще не вошли, и даже еще близко не подоברались к тому пределу, за которым начинается новое бытование литературы. Это распространяется не только на массовое — как раз массовое сознание, именно в силу его массовости, может быть, скорее освоится с новыми классификациями, новой аксиологией, — тогда как сознание профессиональное, сознание людей, которые призваны этим заниматься, я думаю, будет еще долго, буксовать на этой грани, требующей, элементарно говоря, отрешиться от былых предубеждений.

М.Б. Я бы хотел прокомментировать тот ряд имен, который был выдвинут в качестве наиболее ярких представителей современной постсоветской литературы. Дело в том, что мы до сих пор (и это — еще одна особенность современной русской литературы) живем в разных временах. И эти времена, в частности, определяются вот каким обстоятельством. (Миша очень точно упомянул здесь факт публикации «Улисса»). Есть много вещей, с которыми люди начинают знакомиться уже тогда, когда явление перестает снимать с жизни стружку. Само явление не изменилось, но изменилась поверхность, с которой явление соприкасается, и по которой оно теперь только скользит. Однако именно в этот момент явление чаще всего замечается многими и приобретает очертания открытия. Как бы только что рождается. Да, читатели действительно поднимаются по некоторой лестнице, но они догоняют реальную литературу только во время ее кризиса. И здесь я бы считал уместным использовать формулу Мамардашвили, который говорил, что культура — это нечто, останавливающее хаос. Хаос находится везде, за исключением точки культуры; и произведение, может быть, не столько приближает реальность, сколько останавливает хаос.

Вернемся к Владимиру Сорокину — очень важному для нашего журнала автору. Дело в том, что, *открываемый* сегодня, он звучит совершенно иначе, нежели *перечитываемый* сегодня же, но после того, как был открыт пятнадцать лет назад. И вот если кто-то сейчас

открывает его как автора, наиболее точно выражающего интенции современной литературы, то, как мне кажется, совершает вольную или невольную подмену. И оказывает весьма медвежью услугу самому автору, возводя явление, находящееся в стадии *трансформации* (возможно, не менее интересной и поучительной), в разряд актуального события. А событие это историческое, и отрывать его от времени было бы неверно.

Принципиально иное у меня отношение к Пелевину, который, как мне кажется, просто адаптирует найденные некогда концептуальные приемы к ситуации сегодняшнего дня. Ибо им эксплуатируется поэтика, на самом-то деле в полный голос прозвучавшая более, чем десять лет назад. Но многие читатели открывают ее только сегодня, и естественно появление авторов, которые как бы перелицовывают старый материал на новый лад.

Я начинал говорить о том, что некогда были советские, эмигрантские и неконформистские писатели; а сейчас очень о многих хочется говорить: бывшие. «Бывшие» в том смысле, что литература – вся, в том числе и так называемая постсоветская, и постмодернистская, и неконформистская, – переживает невероятный кризис. И это нормальное явление для тех, кто воспринимал процесс синхронно его созреванию. И ненормальное для тех, кто не был знаком с развитием подпольной литературы, внутри которой и создалась эстетика Некрасова, Пригова, Сорокина и их эпигонов. Того же Пелевина, или, скажем, букеровского лауреата прошлого года – Марка Харитонова. Многое из того, что звучало в полный голос десять лет назад, сейчас звучит дезавуирующе по отношению к тому, что уже было создано.

Если мы говорим о критериях, которые должны быть найдены для правильной оценки литературы сегодняшнего дня, то эти критерии обязаны учитывать так называемую историческую поэтику: момент зарождения стиля, его становления и деградации. Ибо мы, на самом-то деле, сейчас находимся в ситуации, когда деградирующий стиль воспринимается как открытие. И это еще одна примета нашего времени. Тот самый эффект «вещевого мешка» или «коммунальной квартиры». Кто-то читает «Улисса», кто-то прочел его еще в юности, а кто-то сегодня открывает для себя Гроссмана как явление большого стиля. Мы до сих пор не преодолели последствия известных обстоятельств, в результате которых не только широкий читатель, но и критик по независимым от него причинам был отделен от реальной литературы. И просто опубликовать все запрещенные некогда произведения мало. Необходимо выработать критерии оценки и понимания текстов, существующих

сейчас, в 90-х годах, в независимости от того, когда ростки стиля появились впервые.

А.Г. Я должен сказать, что не согласен с вами по нескольким пунктам. Во-первых, я не считаю, что произведения Сорокина устарели (во всяком случае, его поздние романы, которые лежат у меня в рукописях); тем более Пелевина, который разрабатывает, по-моему, совершенно другую культуру и по-другому пишет; или взять Маканина, последнее букеровское сочинение которого, на мой взгляд, не имеет отношения к поэтике шестидесятников. Вы очень остроумно сказали, что он «ездит на велосипеде», но Маканин — не шестидесятник, Маканин — человек внепоколенческий, и в качестве такового он-то как раз необычным путем идет, и то, что он пишет как раз примыкает, скорее, к Сорокину и Пелевину в гораздо большей степени, чем к другим. Та вещь, которая попала к Букеру, и мне она очень нравится, как и весь Маканин вообще, в целом (не в целом, вернее, а поздний Маканин), — она мне представляется неким Евангелием от совка, это уже какое-то тайное вече, которое собирается судить самое себя. Стол, покрытый сукном и с графином посередине очень любопытная штука.

Это — литература по-настоящему новая и перспективная. Тот же Сорокин... В чем его идея? В том, что мифологическая потенция советской власти еще никоим образом не осознана. В чем суть Пелевина? Он говорит, что совок ближе к Богу, потому что у него ничего другого не было. В чем идея Галковского? Найти и описать все формы унижения от советской власти. Это бесконечное ковыряние в больном теле, это поиски унижения как основы своей личности: пока тебя унижают — ты жив. Вот что такое Галковский. Это персонаж из Достоевского. Все это, по-моему, ново. Но дело даже не в этом. Вы привели определение культуры Мамардашвили, с которым я категорически не согласен. Культура как остановленный хаос — это великолепная утопия, утопия другого века, когда культура, верила в то, что она — гармония. Но сейчас, буквально в данную минуту, происходит новое великое открытие в культуре, а именно — открытие хаоса. Начиная с работ Пригожина, с его потрясающих физических догадок, мы осваиваем новое представление о хаосе.

То есть мы представляем себе культуру как существующую не в поисках гармонии, а существующую внутри непредсказуемости. Хаос — это отсутствие причинной связи. Раз нет причинной связи, то не может быть ничего вообще, а именно: не может быть времени. Вы совершенно правильно сказали (мы об этом писали еще лет 15 назад: о том, что западная культура, попадая в Россию, ведет себя как хочет; современ-

никами становятся Аксенов и Кафка, как было в 60-е годы): сейчас «Улисс» становится современником Астафьева. Смешно, правда? Но в этом есть свой смысл, который открывается только сейчас: культура существует не во времени, а в пространстве, которое может быть названо пространством культуры; и это уже нечто отличное от пространства жизни. Если наша жизнь идет от молодости к старости неизбежно, и стрела времени направлена в сторону смерти, то в культуре имеет место хаос, он меняет принцип причинности, и возникает вневременная ситуация. При этом опять выясняется, что Россия уже была во вневременной ситуации, гораздо дольше, чем какая-нибудь другая страна.

Кто сейчас самый популярный писатель в России? По-моему, Борхес. И это массовое увлечение Борхесом построено на том, что Борхес давным-давно открыл это вневременное пространство. Борхес всегда категорически отказывался говорить, что было раньше, что было позже. В культуре это не имеет никакого значения, в культуре нет хронологии. Борхес создавал контурную карту того постмодернистского, постсоветского мира, в котором России предстоит сейчас жить (как и всему остальному миру, между прочим).

То, что вы говорите о временном отставании, мне не кажется принципиально важным. Потому что в этой каше, которую представляет собой культура, главное — не островок гармонии и классики (каким является, скажем, чудесный Петербург), а именно хаос, в котором фактор «раньше или позже» перестает играть какую-либо роль. Поэтому мы можем найти самого современного писателя и вдруг им неожиданно окажется классик. Как в свое время, Алексей Константинович Толстой (помните, как он всплыл, когда обэриутам вдруг показалось, что: вот оно где все было). Актуализировать можно кого угодно. Вот Веничка Ерофеев, например. Его хотели взять к себе шестидесятники; казалось, что это гимн шестидесятым. Но выяснилось, что это гимн совершенно другой эпохи. Не вошел.

Так что, ситуация мне кажется лучшей, чем она кажется вам. И я думаю, это не случайно. Некий нигилизм отечественной критики гораздо проще и легче сохранять здесь, чем там. Все-таки я на это смотрю издали, к тому же хочу напомнить, что главными нигилистами русской литературы были критики: Белинский, Писарев.

М.Ш. Про Писарева я как раз сейчас подумал. И именно в связи с Сорокиным. Ведь концептуально воображаемый новый нынешний Писарев обвиняет Сорокина в чем? Не в том, что Сорокин грязный и черный, а в том, что Сорокин — это чистая поэзия. Сорокин открыл

прием. Было очевидно, что, хотя в те времена он постулировал, что это открытие приема не является для него окончательным, что он будет развиваться дальше. То есть он предъявлял претензии к тому, чтобы быть тем, что я для себя называю не количественным, а качественным писателем. Я думаю, нет нужды комментировать это простейшее различие. Он, естественно, остался писателем количественным. Сейчас, мне кажется, он находится в том состоянии, когда количественное насыщение у него дошло до предела, потому что предел плотности всякой материи ограничен. Он действительно создал в своих последних вещах некоего «белого карлика».

Я по вкусовым своим предпочтениям тяготею вообще к качественной литературе. Хотя готов рассматривать количественную литературу как весьма интересную. И я полагаю, что писатели, о которых вы говорите — это, скорее, писатели качественные, в отличие от Сорокина, который, безусловно, количественен, так же, как его компания концептуалистов, к которой он многие годы принадлежал и принадлежит. Я говорю не просто об умножении текстов, а и об интенсификации одного приема.

А.Г. Я бы сказал, что компания-то количественная, а Сорокин, как раз-то нет:

М.Ш. Вообще, конечно, слабость нашего критического аппарата состоит в том, что мы понятием стиль (мы все, и Миша, потому что он только что использовал это понятие в своем речении) оперируем слишком вольно. Нельзя говорить о стиле Гроссмана и стиле Сорокина. У Сорокина нет стиля, есть операции над стилями, есть инструментарий, чисто орудийные функции и все. У Гроссмана есть претензии действительно на большой стиль, стиль как жизнь, стиль как дыхание. В этом смысле и различаются, может быть, количественное и качественное.

А.Г. Да. Есть стиль, и есть прием. Вы совершенно правы.

М.Ш. Но, действительно, мы сходимся в том, что дело будущего все-таки за тем, что я называю качественной литературой. Она может быть очень разнообразной.

А.Г. Но вы не называете фамилий при этом.

М.Ш. Нет, я готов назвать фамилии.

А.Г. Ну, назовите.

М.Ш. Ну, вот вы знаете, у меня есть любимый писатель (не в виде книжки Леонида Гиршовича «Обмененные головы», которую мы издали, а в виде его романа «Прайс», который, я надеюсь, будет оценен).

А.Г. А «Прайс» — это название романа, который у вас лежит?

М.Ш. «Прайс» — это роман, который мы сейчас издаем, который, я надеюсь, будет блистать.

А.Г. А «прайс» — это «цена»?

М.Ш. Прайс — это имя героя. Ну и что хотите еще: «прайс» это может быть и «цена», и «премия», а на самом деле здесь — это имя главного героя: Леонтий Прайс. «Обмененные головы» уже определяли как срединный западный роман. Но он, между прочим, так и писался. Для Гиршовича это была операция над стилистикой и над книжным рынком русской литературы на Западе. Его, кстати, наверняка и переведут в ближайшее время. И это удачная операция, которую автор запрограммировал.

И все-таки появление рядом с количественной литературой, которая в известной степени сосредоточила на себе внимание критики, опять нового явления качественной литературы, поиски новой большой поэтики, нового большого стиля не на пути операций над уже существующей стилистикой, а на пути тех же вечных, бесконечных соотношений между искусством и реальностью, между искусством, гармонией и хаосом, между истинной любовью, красотой и прочим, — мне кажется, что сейчас для этих вещей путь не заповедан, а, скорее, открыт. И опыты того же Сорокина здесь не являются, на мой взгляд, опытами, препятствующими этому. Наоборот, Сорокин — это тот узкий тоннель, в котором приобретается скорость выхода в новое художественное пространство, и в этом смысле он очень важен.

А.Г. Меня очень заинтересовал наш разговор. Я рад, что нас волнуют примерно одни и те же проблемы, хотя я нахожусь на другом берегу океана. Мне кажется, что эта проблема все-таки упирается в проблему поколения, проблему времени. Здесь не раз всплывал образ 20-х годов. Это любопытно, потому что нынешнее литературное поколение 90-х годов — третье, если считать 20-х — первым, 60-х — вторым. Три литературные ситуации: 20-х, 60-х, 90-х. Ситуация 20-х годов, при помощи Сталина ли, при помощи ли советской истории, при помощи чего бы то ни было, артикулирована, закончена и завершена: расстреляны, казнены, как угодно, — но она завершена. Ситуация 60-х годов

заканчивается буквально в наши дни; она заканчивается на баррикадах; и тоже, к сожалению, кровавым путем, но завершается.

Третья ситуация не осознана полностью. И тут, я вижу, мы все согласны с тем, что необходимо артикулировать эту ситуацию в профессиональных терминах. Как и все остальное, начиная от экономики, политики и кончая коммунальным бытом, она требует некоторого профессионального осмысления. Такового нет, некому за это взяться, потому что нет даже представления о том, кто по какую сторону границы находится: и поколений, и литературы, и взглядов. Если ситуация 20-х годов — это ситуация авангарда, если ситуация 60-х годов — это ситуация соцреализма (той или иной его версии; а я убежден, что шестидесятники — это и есть продолжение соцреализма, его квинтэссенция), то ситуация 90-х годов — это ситуация синтеза, за которым стоит будущее.

Это гегелевская триада должна к 2000 году быть каким-то образом разрешена. Мне кажется, что путем разрешения ее процесса является, в первую очередь, осмысление того, что такая проблема стоит перед нами. А для этого было бы совершенно замечательно провести международную конференцию, которая занялась бы именно этой проблемой: как свести 20-е, 60-е и 90-е годы вместе. И если когда-нибудь такая идея возникнет, я с удовольствием приму в ней участие.

Надо подумать, как созвать такую международную конференцию по современной литературе. Устройте у себя, на базе вашего журнала в Петербурге. Возьмите и разверните это дело — это очень интересно. Запросто можно найти западные авторитеты в этой области.

Я сейчас еду на Гавайи на конференцию с докладом именно по этой теме — о постмодернизме и соцреализме. Есть несколько крупных исследователей: есть Катерина Кларк, которая написала книгу о соцреалистическом романе, есть Синявский, М.Эпштейн, Лев Лосев, М.Ямпольский, в Москве — М.Рыклин, В.Подорога и вся его группа, в Германии — Б.Гройс и Е.Барабанов, в Австрии — С.Владив-Гловер, в Израиле много авторов, ну, например, М.Каганская, и масса других славистов, которые приняли бы участие. Устроить бы такую грандиозную конференцию. И почему бы не сделать ее в Петербурге на основе вашего удостоенного Букеровской премии издания. Сделать это можно очень скромно: не надо обязательно в гостинице «Европейская», а где-нибудь в университете.

М.Б. Боюсь, что все упрутся в спонсоров, в деньги. Без подключения западных спонсоров нам это не осилить. Но идея конференции давно витает в воздухе, и, возможно, стоит попробовать.

ГРАНИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

А.Г. Хорошо, чтобы она именно так и называлась: «Авангард, соцреализм, постмодернизм» или «20-е, 60-е, 90-е». Организовать все как следует. Доклады должны быть написаны, потом изданы, пусть тиражом в 1000 экземпляров – вполне достаточно для славистской конференции. Пригласить «Новое Литературное Обозрение» – пусть они сделают номер, посвященный этой конференции.

М.Ш. Ну что ж – давайте попробуем.

«Вестник новой литературы» и Ассоциация «Новая лигература» предполагают провести международную конференцию с условным названием «Границы в современной русской литературе» летом 1995 года в Санкт-Петербурге.

Адрес редакции для тех, кто желает принять участие в конференции, а также способствовать ее организации:

С.-Петербург, 191011, ГПТЦ, наб. Фонтанки 41, к. 46,
«Вестник новой литературы»,
тел. (812) 110-4725, факс. (812) 110-4723.

Сведения об авторах

Олег Охупкин (1944) – поэт. В 70-е годы входил в редколлегия религиозно-философского журнала «Община». Опубликовал две книги «Стихи» (Париж, 1989) и «Пылающая купина» (Ленинград, 1990). Стихи печатались в журналах «Знамя», «Звезда», «Нева», «Согласие», «Аврора», «Эхо», «Грани», «Время и мы» и альманахах «Апполон-77» и «Каталог Шемякина».

Живет в С.-Петербурге.

Светлана Васильева (1950) – прозаик, драматург. Кандидат искусствоведения. В 1991 опубликовала книгу пьес «Пир в Замоскворечьи» (Свердловск), три рассказа в антологии «Непомнящая зла». Печатались в журналах «Стрелец», «Знамя», «Золотой век».

Живет в Москве.

Сергей Рыженков (1959) – прозаик, поэт, литературный критик. Закончил филфак Саратовского университета. Публиковался в журналах и альманахах «Волга», «Русский курьер», «Контрапункт», «Последний экземпляр», «Митин журнал».

Живет в Саратове.

Наум Брод (1939) – прозаик, драматург. Единственная до сих пор публикация фрагменты прозы в журнале «Столица» (1992). Пьесы ставились в различных театрах. Одна из пьес в настоящее время готовится к отдельному изданию, другая публикуется в журнале «Современная драматургия».

Живет в Москве.

Михаил Кононов (1948) – прозаик, критик. Закончил литературный факультет Педагогического института им. Герцена в 1976. Автор двух книг прозы «Счастливый Мурашкин» («Детгиз», 1983) и «Это совсем близко» («Сов. писатель», 1988). Печатались в журналах «Аврора», «Нева», «Звезда», а также в журналах для детей и сборниках «Дружба», «Молодой Ленинград», «Сказки без подсказки».

Живет в С.-Петербурге.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

1. Э. ХАНСЕЛК, И. СЕВЕРИН. Момемуры (Пер. с англ. М. Берга)	3
2. О. ОХАПКИН. Неоклассические стансы начала 70-х	67
3. Б. КУДРЯКОВ. Друг детства	76
4. Л. РУБИНШТЕЙН. Меланхолический альбом	112
5. С. ВАСИЛЬЕВА. Дневник неизвестной	120
6. С. РЫЖЕНКОВ. Из цикла “Речи бормочущего”	137
7. Н. БРОД. Наум Брод	141

ПУБЛИКАЦИИ

8. М. СОКОВНИН. “Суповый набор” (Публ. и пред. В. Кулакова)	150
9. Ш. АГНОН. Во цвете лет. (Пер. и прим. И. Шамира)	156

КРИТИКА, ЭССЕИСТИКА

10. В. КУРИЦЫН. Недержание имиджа	199
11. В. ЛИНЕЦКИЙ. Набоков и Горький	214
12. М. КОНОНОВ. Отречение	221
13. В. КРИВУЛИН. Литературные портреты в эссеистике И.Бродского	241
14. Границы в современной литературе. Беседа с А. Генисом ..	250
Сведения об авторах	270

«Вестник новой литературы» № 7

Обложка художника В.Т.Левченко
Технический редактор В.И.Петрухин
Корректор А.Б.Васильева

Подписано в печать 25.06.94.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. п. л. 17.
Зак. 272 Тираж 2000 экз.

Издательство Ассоциации «Новая литература».
191011, С.-Петербург, Фонтанка, 41, оф. 38, тел. 110-47-25
для писем: 198005, С.-Петербург, а/я 237

Санкт-Петербургская картографическая фабрика ВСЕГЕИ
199178, С.-Петербург, Средний пр. В. О., 72

ВЕСТНИК НОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
